

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

6

НОЯБРЬ — ДЕКАБРЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА — 1978

СОДЕРЖАНИЕ

Горшков А. И. (Москва). О предмете истории русского литературного языка	3
---	---

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Трубачев О. Н. (Москва). Из работы над русским Фасмером	15
Гельгардт Р. Р. (Калинин). Теоретические принципы разработки исторического словаря русского языка	25
Герценберг Л. Г. (Ленинград). Реконструкция индоевропейских слоговых акцентов	36
Абаев В. И. (Москва). <i>Agnepo-ossetica</i>	45
Баскаков Н. А. (Москва). Механизм агглютинации и процессы грамматикализации самостоятельных слов в тюркских языках	52
Брагина А. А. (Москва). Синонимы и их истолкование	63

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Веденина Л. Г. (Москва). Функциональное направление в современном зарубежном языкознании	74
Безбородько Н. И. (Винница). Ученая латынь на Украине	85
Виноградова В. Л. (Москва). О методе лексикологического изучения текста «Слова о полку Игореве»	93
Никонов В. А. (Москва). Длина слова	104

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

Земская Е. А., Кубрякова Е. С. (Москва). Проблемы словообразования на современном этапе	112
---	-----

Рецензии

Швейцер А. Д. (Москва). «Социальная и функциональная дифференциация литературных языков»	124
Шубик С. А. (Ленинград). «Satzstruktur und Genus 'verbi»	127
Верещагин Е. М., Толстой Н. И. (Москва). <i>Жуковская Л. П.</i> Текстология и язык древнейших славянских памятников	130
Кумахов М. А. (Москва), Чадава Л. П. (Тбилиси). <i>К. В. Ломтатидзе.</i> Историко-сравнительный анализ абхазского и абазинского языков.	135
Указатель статей, опубликованных в 1978 г.	140

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

О. С. Азманова, Ф. М. Березин, Р. А. Будагов, Ю. Д. Дешериев, А. И. Домашнев,
Ю. Н. Караулов, Г. А. Климов (отв. секретарь редакции),
В. З. Панфилов (зам. главного редактора), В. М. Солнцева (зам. главного редактора),
О. Н. Трубачев, Ф. П. Филин (главный редактор), В. Н. Ярцева

Адрес редакции: 121019, Москва Г-19, Волхонка 18/2,
Институт русского языка, редакция журнала «Вопросы языкознания». Тел. 202-92-04

Зав. редакцией *И. В. Соболева*

ГОРШКОВ А. И.

О ПРЕДМЕТЕ ИСТОРИИ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

Создание истории русского литературного языка как особой отрасли языкознания и учебной дисциплины является большим достижением советской лингвистики. Актуальность и широта проблематики, богатство и разнообразие фактического материала привлекали и привлекают к этой области исследований многих ученых. Создано немало значительных и интересных трудов, но далеко не все вопросы истории русского литературного языка можно считать полностью решенными.

До сих пор остается не вполне проясненным и предмет истории русского литературного языка. В работах В. В. Виноградова 30-х годов, имевших определяющее значение для формирования и дальнейшего развития изучения истории русского литературного языка, содержание этой области научных исследований и учебной дисциплины связывалось, с одной стороны, с исторической фонетикой, исторической грамматикой и исторической лексикологией русского литературного языка, а с другой — с историей литературных стилей, с историей языка художественной литературы, публицистики и науки¹. Г. О. Винокур в 1946 г. определил историю русского литературного языка как «историческую стилистику»², т. е. как дисциплину, изучающую употребление языка и в этом смысле противопоставленную фонетике, грамматике и семасиологии, изучающим с т р о й языка. Для стилистики исключалось «внутреннее разделение на фонетику, грамматику и семасиологию», так как «построение стилистики по отдельным членам языковой структуры уничтожило бы собственный предмет стилистики, состоящий из соединения отдельных членов языковой структуры в одно и качественно новое целое»³. Однако относящийся к 1947 г. план «Лекций по истории русского литературного языка» свидетельствует о том, что Г. О. Винокур предполагал в каждом отделе курса дать описание орфографии, фонетики, грамматики (морфологии и синтаксиса) и лексики русского литературного языка соответствующих исторических периодов⁴.

Свойственная взглядам В. В. Виноградова и Г. О. Винокура двуплановость в понимании предмета истории русского литературного языка в последующем с той или иной степенью очевидности отразилась в работах многих авторов, но отразилась не как сознательно реализуемая теоретическая и методическая установка на создание двух параллельных (или каким-либо образом переплетающихся) дисциплин — «исторической грамматики (+ исторической фонетики и лексикологии) русского литературного языка» и «исторической стилистики русского литературного языка», — а скорее лишь как неразличение вопросов изучения строя языка и употребления языка.

¹ См.: В. В. Виноградов, *Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX вв.*, М., 1938, стр. 3.

² Г. О. Винокур, *Избр. работы по русскому языку*, М., 1959, стр. 233.

³ Там же, стр. 224.

⁴ С. [Г.] Бархударов, Г. О. Винокур, в кн.: Г. О. Винокур, *Избр. работы по русскому языку*, стр. 8.

Б. А. Ларин писал: «Едва ли ошибусь, если скажу, что расщепление истории русского языка на две самостоятельные дисциплины (историческая грамматика и история русского литературного языка) было обусловлено педагогической деятельностью акад. В. В. Виноградова и проф. Г. О. Винокура, много занимавшихся вопросами языка письменных памятников и отдельных писателей»⁵. В этом высказывании справедливо отмечены не только выдающиеся заслуги двух советских ученых, но и то примечательное обстоятельство, что история русского литературного языка оформлялась и развивалась преимущественно в практике вузовского преподавания. А в этой сфере «расщепление истории русского языка на две самостоятельные дисциплины» требовало одноплановости, внутреннего единства каждой из них. В истории русского литературного языка уже при самом ее зарождении в качестве господствующего плана исследования явственно обозначился план функциональный, план употребления языка. Несмотря на двуплановость теоретического подхода, на практике оказался безусловно преобладающим функциональный план и в трудах В. В. Виноградова и Г. О. Винокура.

На путях разработки этого плана исследования история русского литературного языка развивалась как отрасль языкознания определенно выраженного социалингвистического направления и в то же время не порывала связей с «интралингвистикой», поскольку имела целью разработку конкретного языкового материала. В. В. Виноградов писал: «Понимание и толкование литературного текста — основа филологии и вместе с тем основа исследования духовной, а отчасти и материальной культуры. В связи с обострением интереса к образованию национальных культур и формированию новых наций, национальных письменностей и национальных языков в пределах Советского Союза осуществляется новый синтез на основе философии марксизма-ленинизма таких областей общественных наук, как история, языкознание и литературоведение. Именно на почве такого взаимодействия и объединения быстро вырастает и плодотворно развивается такая отрасль лингвистики, как история литературных языков»⁶.

Взгляд на историю русского литературного языка как дисциплину, изучающую развитие русского литературного языка прежде всего в историко-функциональном плане, в плане языкового употребления, получил широкое распространение и был закреплен в учебных программах и учебниках⁷. Такое понимание предмета истории русского литературного языка сейчас как будто не оспаривается теми лингвистами, которые работают в этой области исследований, как не оспаривается и положение, что «при всем различии в понимании этого явления — литературный язык общепризнанно считается не подлежащей никакому сомнению языковой реальностью»⁸.

Однако совпадение взглядов по этим вопросам не приводит к единству взглядов на предмет истории русского литературного языка, поскольку нет единства в понимании собственно лингвистического (не экстралингвистического) изучения употребления языка в отличие от употребления

⁵ Б. А. Л а р и н, Лекции по истории русского литературного языка (X — середина XVIII в.), М., 1975, стр. 7.

⁶ В. В. В и н о г р а д о в, Проблемы литературных языков и закономерностей их образования и развития, М., 1967, стр. 130.

⁷ См.: А. И. Е ф и м о в, История русского литературного языка, М., 1967, стр. 14—15; А. И. Г о р ш к о в, История русского литературного языка, М., 1969, стр. 17—20.

⁸ В. В. В и н о г р а д о в, Проблемы литературных языков..., стр. 100.

языковых единиц⁹, нет единства в понимании сущности стилей языка (некоторые лингвисты, вслед за В. В. Виноградовым, говорят о «стилях языка» и «стилях речи») и задач стилистики. Вряд ли единообразны и представления исследователей о том, в чем же конкретно выражается «не подлежащая никакому сомнению реальность» литературного языка?

В связи с этим необходимо сделать оговорку: когда в дальнейшем пишется, что «история русского литературного языка изучает такие-то явления», «история русского литературного языка рассматривает такие-то вопросы» и т. п., — имеется в виду не столько реальное содержание тех или иных конкретных работ, сколько реальное направление общих тенденций в развитии истории русского литературного языка, в уяснении особенностей этой дисциплины, отличающих ее от других лингвистических дисциплин.

Для определения специфики истории русского литературного языка первостепенным представляется вопрос о понимании и толковании реальности, объективности существования литературного языка.

Ответ на этот вопрос можно начать с констатации общеизвестного факта: язык как объект непосредственных наблюдений представлен в текстах — письменных и устных. Тексты, данные нам как объективно существующая реальность, являются единственным источником всех лингвистических наблюдений и обобщений. Отсюда можно сделать естественный вывод, что как языковая реальность литературный язык представлен в литературных текстах и самая сущность литературного языка связана с его употреблением в литературе — не только художественной, но и публицистической, научной, официально-деловой и т. д. Ф. П. Филин так пишет о связи понятия «литературный язык» с понятием «литература»: «Если мы признаем существование в донациональное время письменно оформленных литератур (художественных, деловых, религиозных и иных произведений), язык которых не тождествен необработанной обиходно-бытовой речи, мы должны признать и наличие особых средств их выражения — литературных языков»¹⁰.

Опираясь на положение, что язык как реальность, как объект непосредственного наблюдения представлен в текстах, и исходя из того, что лингвистика рассматривает не только строй языка, но и употребление языка (и что такой подход позволяет не обращаться к антиномии «язык — речь»), можно наметить три уровня лингвистических исследований: уровень языковых единиц, уровень текста и уровень языка как системы подсистем.

Принятое в данной статье понимание «текста» и отношений между языковыми единицами и текстами опирается на следующее высказывание Л. В. Щербы: «... все языковые величины, с которыми мы оперируем в словаре и грамматике, будучи концептами, в непосредственном опыте (ни в психологическом, ни в физиологическом) нам вовсе не даны, а могут выводиться нами лишь из процессов говорения и понимания, которые я называю в такой их функции „языковым материалом“... Под этим последним я понимаю, следовательно, не деятельность отдельных индивидов, а совокупность всего говоримого и понимаемого в определенной конкретной обстановке в ту или другую эпоху жизни данной общественной группы. На

⁹ Об этом см., например: В. А. Аврорин, Проблемы изучения функциональной стороны языка, Л., 1975, стр. 29, 33.

¹⁰ Ф. П. Филин, Литературный язык как историческая категория, «Всесоюзная научная конференция по теоретическим вопросам языкознания (11—16 ноября 1974 г.)». Тезисы докладов и сообщений пленарных заседаний, М., 1974, стр. 138—139.

языке лингвистов это „тексты“...; в представлении старого филолога это „литература, рукописи, книги“¹¹.

При изучении строения языка тексты выступают как «языковой материал», от которого абстрагируются, или, по выражению Л. В. Щербы, из которого «выводятся» языковые единицы, выступающие в качестве объекта исследования. При этом языковые единицы распределяются по соответствующим «ярусам» и осмысливаются в их внутренних взаимоотношениях в пределах каждого «яруса». Таким образом описываются «фонологическая система», «лексическая система» и т. д., т. е. описываются системы единиц одного какого-либо «яруса». Это — уровень языковых единиц.

При изучении употребления языка отношения между языковыми единицами и текстами рассматриваются в ином плане. Тексты выступают не как «языковой материал», из которого «выводятся» языковые единицы, а как самостоятельный объект исследования. Текст понимается как феномен языкового употребления, т. е. как данный нам в непосредственном опыте феномен языковой реальности, который представляет собой определенным образом организованную последовательность языковых единиц разных «ярусов». Иными словами, текст понимается в аспекте «соединения отдельных членов языковой структуры в одно и качественно новое целое». Это — уровень текста.

Исследование на уровне текста не следует понимать как лингвистический анализ только какого-либо конкретного текста. Этот последний может выступать как самостоятельный вид научных разысканий (например, лингвистический анализ какого-либо стихотворения Пушкина, какого-либо рассказа Чехова и т. п.), но может служить также и отправным пунктом для обобщения отдельных лингвистических свойств или совокупности всех типичных лингвистических свойств определенных групп текстов, т. е. для установления типологии текстов. На основе типологии текстов могут быть выявлены и описаны социально и функционально распределенные разновидности (подсистемы, формы существования, стили) языка. Переходя от изучения тех или иных разновидностей языка, выявленных на основе типологии текстов, к изучению системы этих разновидностей, лингвистическое исследование выходит на уровень языка как системы подсистем.

История русского литературного языка (как и теория и история литературных языков вообще) «работает» на уровнях текста и языка как системы подсистем, т. е. имеет своим объектом литературные тексты и литературный язык в целом как систему типологических совокупностей литературных текстов. Языковые единицы рассматриваются лишь как компоненты текста¹². В этом — специфика теории и истории литературных языков, отличающая эти дисциплины от других лингвистических дисциплин, «работающих» на уровне языковых единиц, т. е. имеющих своим объектом языковые единицы в их «внутриязыковых» взаимоотношениях. При этом теория и история литературных языков, само собой разумеется, опирается на эти дисциплины, использует их наблюдения и обобщения. Таким образом, предмет истории русского литературного языка не следует смешивать с кругом возможных частных наблюдений, а тем более с объемом знаний, необходимых исследователю, занимающемуся историей русского литературного языка.

¹¹ Л. В. Щерба, *Языковая система и речевая деятельность*, Л., 1974, стр. 26.

¹² Ср. важное замечание Г. О. Винокура, что «звук речи как стилистический факт не существует без соотнесенных с ним фактов грамматических и семасиологических» («Избр. работы по русскому языку», стр. 224).

В соответствии со сказанным выше история русского литературного языка имеет целью не выявление особенностей употребления языка в каждом конкретном тексте, а выявление типичных особенностей, позволяющих определенным образом сгруппировать тексты и на этой основе описать соответствующие разновидности литературного языка и — шире — литературный язык как систему разновидностей (подсистем). При этом русский литературный язык и его стили на каждом историческом этапе рассматривают не в статике, а в динамике, т. е. на любом историческом участке выясняется не только то, что литературный язык собой представляет, но и то, что в литературном языке происходит.

Употребление языка, как известно, всегда осуществляется в определенных социальных условиях, в определенных общественных средах и сферах. Эти факторы всегда были в поле зрения истории русского литературного языка, которая уже при самом своем возникновении строилась как дисциплина, изучающая употребление языка в связи с историей народа, в связи с политическим и экономическим развитием общества, в связи с развитием просвещения, культуры и литературы. Иными словами, история русского литературного языка издавна рассматривала и рассматривает весь тот круг вопросов, который в современной социолингвистике связывается с изучением языковой ситуации.

В одноязычной языковой ситуации определяющим моментом является соотношение «литературной и «нелитературной» разновидностей этнического языка или, как чаще говорят и пишут, литературного языка и «нелитературного» языка. История литературного языка, разумеется, сосредоточивает внимание именно на литературном языке и его разновидностях, но (хотя бы в самом общем плане) рассматривает и соотношение литературного и «нелитературного» языка.

Изучение этого соотношения в его историческом развитии и современном состоянии очень важно для постижения самого понятия «литературный язык». Как известно, Л. В. Щерба считал, что «всякое понятие лучше всего выясняется из противоположений», и раскрывал понятие «литературный язык» через «противоположение литературного и разговорного языков», подчеркивая, что «в основе литературного языка лежит монолог, рассказ, противопоставляемый диалогу — разговорной речи... Диалог — это в сущности цепь реплик. Монолог — это уже организованная система облеченных в словесную форму мыслей, отнюдь не являющаяся репликой, а преднамеренным воздействием на окружающих. Всякий монолог есть литературное произведение в зачатке»¹³. В наши дни это противоположение непопулярно, как непопулярен и взгляд на литературный язык как на явление, тесно связанное с литературой, хотя связь литературного языка с литературой живо ощущалась и всегда подчеркивалась многими авторитетными филологами¹⁴. Сейчас принято определять литературный язык набором равного рода признаков, из которых на первое место обычно ставится нормированность. Правда, поскольку наличие норм признается и в диалектах, и в «разговорной речи», признак этот оказывается, в сущности, весьма выбким. Для его подкрепления приходится говорить или о «различном характере» норм литературного языка, с одной стороны, и диалектов и «разговорной речи» — с другой, или о кодифицированности/некодифицированности норм. Но большая или меньшая «жесткость» норм — разли-

¹³ Л. В. Щерба, Избр. работы по русскому языку, М., 1957, стр. 115.

¹⁴ См.: Д. Н. Ушаков, Краткое введение в науку о языке, 9-е изд., М., 1929, стр. 119—120; Л. В. Щерба, Избр. работы по русскому языку, стр. 122, 134; Л. П. Якубинский, История древнерусского языка, М., 1953, стр. 277; Г. О. Винокур, Избр. работы по русскому языку, стр. 44, 49; В. В. Виноградов, Проблемы литературных языков..., стр. 37—38, 74—75, 100—101 и др.

чие количественное, не качественное. А кодифицированность или некодифицированность норм, строго говоря, вообще не может быть отнесена к признакам самого языка и его разновидностей.

«И все же, — пишет Ф. П. Филин, — несмотря на бесконечные споры о том, какое из определений является правильным, никто не сомневается в существовании современных литературных языков, как никто не сомневается в наличии в языке слова или предложения. Национальный литературный язык (или литературный язык нации) — факт бесспорный, не зависящая от нашего сознания объективная действительность»¹⁵. Конечно, литературный язык существует как объективная действительность, как реальность, но не со всех точек зрения он такой реальностью выглядит. Так, чрезмерное внимание именно к «литературным нормам», а не к самому литературному языку может привести к потере представления о литературном языке как объективной действительности, к потере представления о реальности объекта исследования теории и истории литературных языков. Такая опасность возникает, например, если исследователь стремится представить литературный язык той или иной поры лишь как «систему норм» (лексических, грамматических, иногда и произносительных), целиком подчиняет литературный язык норме. Подобное «желание ввести литературные языки в рамки „железной нормы“, не допускающей многообразных форм бытования этих языков»¹⁶, ведет к неправомерной подмене описания литературного языка во всей сложности этого реального явления описанием некоей умозрительной незыблемой «системы норм». «В угоду неверному принципу — если система, то непременно жесткая и стандартная, — неверно освещается не только состояние современных литературных языков, но и их история и теория», — пишет Р. А. Будагов¹⁷. В частности, на этой почве возникает и отрыв понятия «литературный язык» от понятия «литература», проявляется тенденция к неправомерной замене филологического термина «литературный язык» термином «стандартный язык»¹⁸.

Особо следует отметить, что когда говорят о «системе норм», то нередко имеют в виду по существу не систему, а просто сумму норм лексических, грамматических, орфоэпических. Тем более иллюзорно представление, будто бы описание этих норм адекватно описанию самого литературного языка той или иной эпохи. Языковые нормы могут и должны рассматриваться не только на уровне языковых единиц, но и на уровнях текста и языка как системы подсистем¹⁹. Но главное, — в процессе научного исследования и описания не литературный язык должен «выводиться» из «литературной нормы», а наоборот, «литературная норма» должна «выводиться» из литературного языка. «Было бы ошибочным представлять себе норму литературного языка, — пишет Б. Гавранек, — вне действительно существующего литературного языка данной эпохи»²⁰.

Из сказанного вытекает, что подвергать сомнению принадлежность некоторых текстов к числу памятников литературного языка только на том

¹⁵ Ф. П. Ф и л и н, О свойствах и границах литературного языка, ВЯ, 1975, 6, стр. 6.

¹⁶ Р. А. Б у д а г о в, Что такое развитие и совершенствование языка?, М., 1977, стр. 177.

¹⁷ Там же.

¹⁸ Там же. Ранее критические замечания в адрес термина «стандартный язык» высказывались в статье: Ф. П. Ф и л и н, О структуре современного русского литературного языка, ВЯ, 1973, 2, стр. 3.

¹⁹ Подробнее об этом см.: А. И. Г о р ш к о в, Литературный язык и норма (на материале истории русского литературного языка), «Проблемы нормы в славянских литературных языках в синхронном и диахронном аспектах», М., 1976, стр. 198—199.

²⁰ Б. Г а в р а н е к, Задачи литературного языка и его культура, «Пражский лингвистический кружок. Сборник статей», М., 1967, стр. 340.

основании, что они широко отражают народно-разговорную речь (как это еще иногда делается), — значит ставить вопрос односторонне. Р. А. Будагов справедливо замечает, что «количество определенных „единиц“ языка само по себе еще мало о чем говорит»²¹.

Существующее мнение, будто употребление в тексте какого-то количества, скажем, «просторечия» делает текст «ненормативным», а следовательно, и «нелитературным», основано, во-первых, на узком понимании норм как явления только уровня языковых единиц, а во-вторых — на недооценке функциональной стороны языка, на пренебрежении решающим в данном случае обстоятельством: является рассматриваемый текст явлением литературы или нет. В. В. Виноградов, критикуя взгляды Б. В. Томашевского и А. В. Исаченко на литературный язык как категорию, ограниченную рамками национального развития, писал: «Исторические противоречия в таком ограничительном употреблении термина „литературный язык“ очевидны, так как получается, что донациональная литература (например, русская литература XI—XVII вв., английская литература дошекспировского периода и т. д.) не пользовалась литературным языком или — вернее — написана на нелитературном языке»²².

Следовательно, вопрос о правомерности отнесения тех или иных текстов «к числу памятников литературного языка» решается прежде всего тем, является ли данный памятник памятником литературы. Невозможно считать язык, например, демократических повестей XVII в., «Жития» Аввакума и т. п. «нелитературным» только потому, что он насыщен просторечием. Реальные процессы развития русского литературного языка сложны и многообразны и не могут быть насильственно втиснуты в рамки заранее избранной концепции. Прийти к правильным выводам можно только отшвырнувшись от языковой реальности, а не от какой-либо умозрительной схемы. Для расширения и углубления наших знаний в области истории русского литературного языка необходимо внимательно разобраться в лингвистических свойствах, качествах литературных текстов каждого исторического периода, обратив особое внимание на особенности о р г а н и з а ц и и языковых единиц в пределах текста. Д. Н. Шмелев справедливо подчеркивает, что каждая из разновидностей литературного языка «характеризуется прежде всего особой, специфичной о р г а н и з а ц и е й общеязыковых средств, обусловленной ее функциональной направленностью, и уже затем некоторым специфическим набором языковых средств»²³.

В связи с вопросом о лингвистических свойствах разновидностей литературного языка возникает вопрос о реальности или «абстрактности» языковых стилей. Вполне логично, принимая положение о реальности литературного языка, принять и положение о реальности его разновидностей. Но реальность последних у многих ученых вызывает сомнения. Например, Д. Н. Шмелев пишет, что «функционально-речевой стиль — ... это все-таки не непосредственная данность, а научная абстракция... Это не значит, что функционально-речевые стили выделяются произвольно, но, конечно, их выделение условно. Оно условно в том смысле, что предполагает о п р е д е л е н и е, на основании которого и могут быть выделены соответствующие единицы. Другое дело, что всегда сохраняется требование оправданности языковой реальностью самого определения, его соответствия тому, что наблюдается в речевой практике, его соответствия, наконец,

²¹ Р. А. Будагов, указ. соч., стр. 5.

²² В. В. Виноградов, Основные проблемы изучения образования и развития древнерусского литературного языка, М., 1958, стр. 27.

²³ Д. Н. Шмелев, Русский язык в его функциональных разновидностях (к постановке проблемы), М., 1977, стр. 81—82.

задачам исследования»²⁴. Несколько ниже говорится: закреплённость стилизованных «вариаций» литературно-языковой нормы в текстах «не значит, что все тексты прямо и непосредственно отражают нормы того или иного „стиля“, той или иной функционально определяемой разновидности языка. Однако „абстрактность“ понятия „стиль языка“ вряд ли было бы оправданно интерпретировать как независимость этого понятия от конкретной речевой действительности»²⁵. Думается, что отношения конкретного и абстрактного определены здесь вполне правильно и весь вопрос в том, что именно мы условимся называть стилем: «научную абстракцию» или ту конкретную языковую действительность, на основе обобщения которой эта абстракция создается. Представляется, что логичнее и естественнее все-таки второе.

Для многих лингвистов препятствием к признанию стиля реальностью служит, очевидно, то, что в каждом конкретном тексте много такого, что не укладывается в некую идеальную схему стиля. Но при этом забывают, что адекватно отражающая языковую действительность схема стиля возникает на основе обобщения реально существующих свойств реально существующих текстов, а не существует изначально. Не случайно в многочисленных и очень различных перечнях стилей современного русского литературного языка неизменно фигурируют стили публицистический, научный, официально-деловой и художественный (последнему многие отказывают в статусе стиля и квалифицируют как особую разновидность литературного языка, что несколько не меняет существа дела). Очевидно, что именно тексты публицистические, научные, официально-деловые и художественные обладают наиболее определенно выраженными специфическими языковыми свойствами, которые не только выделяются и описываются (правда, пока еще очень несовершенно и неполно) учеными, но и живо ощущаются всеми носителями языка.

В истории русского литературного языка выделение и описание его разновидностей на том или ином историческом этапе развития — дело очень сложное. Здесь особенно сильна опасность оказаться в плену заранее заданной схемы, спутать подлинное научное обобщение фактов языковой реальности и чисто умозрительно построенное заключение. Решающее значение приобретает четкое различение литературного языка как «не подлежащей никакому сомнению языковой реальности» и тех или иных научных интерпретаций этого феномена. В этой связи представляется справедливым и своевременным такое суждение Д. Н. Шмелева: «... наблюдения над „текстами“, корректируемые собственной интуицией исследователя, дают возможность иметь дело с самим „естественным языком“, а язык-схема, язык-конструкт — это уже результат научного познания первого, его отображения в лингвистическом описании».

Всякое описание (в общем чего бы то ни было) является в известном смысле абстракцией, так как предполагает отвлечение от некоторых свойств описываемого предмета или явления с целью выявления наиболее существенных признаков. Но вряд ли уместно считать, что науки исследуют описание своих объектов, а не самые объекты. Было бы печально, если бы лингвистике принадлежала совершенно особая в этом отношении роль»²⁶. Исследовать описание объектов вместо самих объектов тем более бесперспективно, что описания могут быть неполными, односторонними и даже ошибочными.

К сожалению, в трудах по истории русского литературного языка исследование объектов и «исследование» описаний объектов не всегда

²⁴ Там же, стр. 29.

²⁵ Там же, стр. 48.

²⁶ Там же, стр. 49.

различаются достаточно четко. Особенно это относится к периодам, богатым не только отдельными высказываниями современников о языке, но и целыми филологическими теориями и концепциями.

Так, действительное состояние русского литературного языка середины XVIII в. обычно отождествляется с постулатами «теории трех стилей». Стало общим местом всех специальных работ положение, что «средний стиль лег в основу дальнейшего развития русского литературного языка». Но «средний стиль» филологами XVIII в. выделялся не столько на основе языковой реальности, сколько на основе общего теоретического принципа трихотомического деления понятия. В современных исследованиях он также чаще выступает не как реально существовавший «корпус» текстов, а как некая идеальная «средняя норма». Общеизвестно, что развитие языка может происходить только в процессе его функционирования, употребления. Употребление языка представлено в текстах. Чтобы говорить об одной из разновидностей литературного языка того или иного периода как «основе его дальнейшего развития», надо выявить эту разновидность в ее языковой реальности, в достаточно «весомой» совокупности общественно авторитетных литературных текстов. Уморительных построений для этого недостаточно.

Роль карамазинского «нового слога» в истории русского литературного языка нередко оценивается путем рассуждений по поводу рассуждений же самого Карамзина, Шишкова, Дмитриева, Вяземского и других участников тогдашних жарких дискуссий «о старом и новом слоге российского языка». А поскольку дискуссии шли главным образом о «славянизмах» и «галлицизмах», все выводы замыкаются на уровне языковых единиц.

На этом же уровне обычно строятся и исследования языка Карамзина²⁷. Несомненно, что в «новом слоге» устранялись архаические элементы лексического и грамматического «ярусом», появлялись удачные лексические новообразования, совершенствовались синтаксические конструкции. Но этого еще недостаточно для оценки «карамзинских преобразований» как предпосылки и основы пушкинской языковой реформы, — оценки, которая была дана Я. К. Гротом в известной работе «Карамзин в истории русского литературного языка»²⁸ и затем многократно повторялась и до сих пор повторяется, хотя остается неподтвержденной достаточно обширным и достаточно убедительно истолкованным фактическим материалом.

Даже самый предварительный анализ русского литературного языка конца XVIII — начала XIX в. на уровне текста и уровне языка как систем подсистем показывает, что вопросы принятия или непринятия лексических «славянизмов» и лексических и синтаксических «галлицизмов» отнюдь не были самыми важными вопросами истории русского литературного языка.

Действительно важнейшей проблемой того времени была проблема народных источников русского литературного языка, которая являлась средоточием всей литературно-языковой реформы Пушкина и была решена на основе реализации принципа исторической народности, ясно осознанного и воплощенного в литературно-языковой практике великого писателя.

²⁷ Показательны в этом отношении такие, например, работы: А. П. Б а б и ч е в а, Синтаксические новшества Н. М. Карамзина. (Некоторые типы бессоюзных сложных предложений и их отражение в современном русском языке). АКД, Куйбышев, 1966; М. А. К у с т а р е в а, Юридическая лексика в четвертом томе «Истории Государства Российского» Н. М. Карамзина, «Уч. зап. Смоленск. пед. ин-та», 22, 1970; В. И. О с т а п е н к о, Расположение определений по отношению к определяемому слову в «Письмах русского путешественника» Н. М. Карамзина. АКД, М., 1966.

²⁸ Я. К. Г р о т, Труды, II, СПб., 1899, стр. 86. Заметим, кстати, что из 40 страниц этой работы о языке Карамзина 33 страницы занимают общие рассуждения и лишь семь страниц — беглые замечания о строении фразы и лексико-фразеологическом составе.

Далее можно назвать комплекс проблем, связанных с принципами языковой организации литературного текста. «Соразмерность и сообразность», «благородная простота», «искренность и точность выражения» — сформулированные и претворенные в реальность Пушкиным принципы, которые тем самым превратились из принципов в реально существующие качества литературного текста, — не были свойственны «новому слогу», но намечались в прозе писателей демократического направления, особенно Фонвизина и Крылова. «Новый слог» был так же риторичен, как и «высокий стиль» классицизма, хотя набор языковых единиц, с помощью которых риторика создавалась, естественно, изменился. Это, конечно, отразилось и на характере самой риторики, но все же риторика оставалась риторикой. Хорошо сказал по этому поводу К. С. Аксаков: «Карамзин двинулся на новый путь и увлек все за собою; на какой же путь, народный? Нет, он переменил ходули на ходули...; отвлеченность классическую переменил он на отвлеченность романтическую...». И далее: «Простоты Карамзин дать не мог; он дал только пустую легкость и текучесть; свойства чисто внешние и легко обрабатываемые во зло»²⁹.

В «новом слоге» тип текста остался старым — отвлеченно-риторическим, не была преодолена экстенсивность выражения³⁰, не была достигнута универсальность употребления (т. е. возможность использования в различных сферах общения). Пушкинский интеллектуально-логический тип текста оказался по важнейшим качествам противопоставленным карамзинскому «новому слогу»³¹.

Может возникнуть вопрос: относится ли рассмотрение названных выше качеств литературного текста к компетенции истории русского литературного языка, или эти качества являются предметом изучения «языка художественной литературы», и более того — могут ли эти качества вообще быть предметом лингвистического исследования? Однако если лингвистическое исследование не представляется исследованием лишь на уровне языковых единиц и история русского литературного языка последовательно рассматривается как дисциплина, изучающая употребление литературного языка на уровнях текста и языка как системы подсистем, а язык художественной литературы не противопоставляется литературному языку, — такой вопрос оказывается неправомерным.

Какой бы статус ни придавался языку художественной литературы — функционального стиля или разновидности языка иного порядка, — какие бы особенности в нем ни отмечались, язык художественной литературы включается в систему литературного языка как одна из его подсистем. История русского литературного языка не может быть оторвана от истории языка русской художественной литературы (разумеется, речь идет о тех этапах, когда художественная литература достаточно четко отделяется от массы всех литературных произведений, для этапов более ранних вопрос этот не стоит). Что литературный язык нельзя смешивать с языком художественной литературы, — общеизвестно, «тем не менее, — пишет Р. А. Будагов, — нельзя забывать и другого — на фоне богатой и разнообразной художественной литературы, представленной выдающимися писателями, литературный язык становится богаче, выразительнее и разнообразнее. В этом смысле между литературным языком и языком художественной ли-

²⁹ К. С. Аксаков, О Карамзине. Речь, написанная для произнесения пред симбирским дворянством [см.: «Неопубликованная речь К. С. Аксакова (публикация В. А. Кошелева)», «Русская литература», 1977, 3, стр. 106.

³⁰ См.: Д. Д. Благой, Пушкин — родоначальник новой русской литературы, сб. «Пушкин — родоначальник новой русской литературы», М.—Л., 1941, стр. 58.

³¹ Подробнее об этом см.: А. И. Горшков, О становлении норм современного русского литературного языка на уровне текста, «Славистична ревija», 1977, 4.

тературы существует постоянное и непрерывное взаимодействие»³². Критикуя тезис Г. О. Винокура, что «история русского языка в течение XIX и XX вв. — это в значительной мере раздельная история общерусского национального языка и языка русской художественной литературы»³³, Р. А. Будагов подчеркивает: «Подобная постановка вопроса представляется мне не только неверной, но и бесперспективной. Если принять такую концепцию, то становится неясным, как же следует изучать язык писателей XIX—XX вв. без учета постоянного взаимодействия общего (литературный язык) и индивидуального (язык больших мастеров слова)?»³⁴.

Отличия исследований в области истории русского литературного языка и исследований в области языка русской художественной литературы заключаются не столько в «языковом материале» и уровнях исследования, сколько в направлении и целях исследования. Есть моменты, которые включают анализ языка художественных произведений в аспект истории литературного языка, но есть и такие моменты, которые анализ языка «нехудожественных» (например, публицистических, научных) произведений выключают из этого аспекта.

Как известно, В. В. Виноградов наметил два пути анализа литературно-художественного произведения. «С одной стороны, выступает задача уяснения и раскрытия системы речевых средств, избранных и отобранных писателем из общенародной языковой сокровищницы... Можно сказать, что такой анализ осуществляется на основе соотношения и сопоставления состава литературно-художественного произведения с формами и элементами общенационального языка и его стилей, а также с внелитературными средствами речевого общения»³⁵. Совершенно очевидно, что такого рода анализ полностью может быть направлен в русло истории литературного языка и что в этом же направлении может быть проанализировано не только художественное, но и всякое вообще литературное произведение.

«Но есть и иной путь лингвистического исследования стиля литературного произведения как целостного словесно-художественного единства, как особого типа эстетической, стилиевой словесной структуры. Этот путь — от сложного единства к его расчленению». На этом пути «... элементы или члены литературного произведения рассматриваются и осмыслиются в их соотношениях в контексте целого»³⁶. Такого рода анализ может строиться и без выхода в историю литературного языка. При этом ясно, что и этот способ анализа может быть применен не только к художественному, но и всякому вообще литературному произведению. (Ясно и то, что разделение указанных двух путей анализа условно и не абсолютно.)

Как исследования в области истории литературного языка, так и исследования в области языка художественной литературы есть исследования на уровнях текста и языка как системы подсистем. Это их сближает. От конкретных целей и задач исследования зависит, как интерпретировать факты, наблюдаемые в языке литературно-художественного произведения — в плане «языка художественной литературы» или в плане «истории литературного языка», в плане «функционально-имманентном» или «ретроспективно-проекционным»³⁷.

Обусловленность функционирования и развития языка «экстралингвистическими», общественными, социальными факторами на уровнях

³² Р. А. Будагов, *Литературные языки и языковые стили*, М., 1967, стр. 20—21.

³³ Г. О. Винокур, *Избр. работы...*, стр. 100.

³⁴ Р. А. Будагов, *Что такое развитие и совершенствование языка?*, стр. 131.

³⁵ В. В. Виноградов, *О языке художественной литературы*, М., 1959, стр. 226.

³⁶ Там же, стр. 227, 228.

³⁷ В. В. Виноградов, *О художественной прозе*, М.—Л., 1930, стр. 65.

текста и языка как системы подсистем проявляется сильнее и прослеживается отчетливее, чем на уровне языковых единиц. Исследование текста как феномена употребления языка показывает установившуюся на определенном историческом этапе в той или иной общественной среде и в той или иной сфере общения традицию отбора и, главное, организации языковых единиц «в одно и качественно новое целое». Выделить и описать социально и функционально распределенные разновидности языка можно, отталкиваясь одновременно и от «внутренних» лингвистических свойств текстов (типология текстов), и от «экстралингвистических» факторов (среды и сферы общения). «Самостоятельность, независимость языка от внешних условий относительна, — пишет Ф. П. Филин, — поэтому и различие между „внутренней“ и „внешней“ лингвистикой условно»³⁸.

Как вытекает из всего сказанного выше, тексты в истории русского литературного языка рассматриваются в ином плане, нежели в той отрасли языкознания, которая получила название «лингвистики текста». Но вопрос о тексте как объекте теории и истории литературных языков заслуживает специального подробного обсуждения.

³⁸ Ф. П. Ф и л и н, К проблеме социальной обусловленности языка, сб. «Язык и общество», М., 1968, стр. 20.

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

ТРУБАЧЕВ О. Н.

ИЗ РАБОТЫ НАД РУССКИМ ФАСМЕРОМ

К вопросам теории и практики перевода

Как известно, Русский этимологический словарь Макса Фасмера был выпущен издательством «Карл Винтер» в Гейдельберге в 1950—1958 гг., т. е. добрых двадцать лет тому назад. По словам проф. В. Кипарского, рукопись была «уже почти готова» в 1949 г.¹ С того времени прошло почти тридцать лет, возраст целого поколения людей. Этимологические словари имеют свою судьбу, они стареют, как люди, которые их пишут, они тоже не бессмертны. Их благополучие и продолжительность жизни зависят от того, как с ними обращаются и хорошо ли их «питают» — я имею в виду издания и дополнения. При этом, естественно, ни одно новое издание, ни одно дополнение не вправе считаться совершенным и полным, наиболее естественный ход вещей — это когда за хорошим следует лучшее (не будем сейчас говорить о возможности обратного). Лично я с нетерпением жду дополнения к словарю Фасмера («Nachtrag»), над которым, насколько мне известно, в течение ряда лет работает проф. В. Кипарский. Прежде чем рассказать о своем опыте, я хотел бы отметить касательно собственного перевода и дополнений к словарю Фасмера, что полностью отдаю себе отчет в тех или иных недостатках или неровностях этой работы. Сейчас, наверное, я сделал бы кое-что иначе, объяснил бы еще некоторые случаи, остававшиеся тогда неясными; но многое я и сегодня оставил бы как есть, и это, конечно, приносит удовлетворение и сознание правильности выбора или решения.

Этимологические словари, этимологическая лексикография — это большая, самостоятельная проблемная область науки, подчиненная автономным законам. Это тема для особого разговора. На сегодня достаточно несколько слов о главном инструменте этих специальных словарей — об **э т и м о л о г и**. Раздаются нередко голоса (я имею в виду главным образом зарубежную печать), что современная наука предпочитает повертываться спиной к проблемам истории, что структуральные идеи постепенно пронизывали современную науку; интересуются как бы только самим зданием, как оно устроено с **е й ч а с** и как им пользоваться в настоящее время. Трудный вопрос, каким же образом оно, собственно, сложилось, кажется, может быть, непрактичным в свете задач нынешнего дня, хотя именно способ образования, история и ее истолкование одновременно скрывает в себе углубленное познание современного употребления, а также зародыш

¹ V. K i p a r s k y, «Max Vasmer zum Gedenken. Akademische Gedenkfeier der Fr. Universität Berlin für Max Vasmer am 6. Februar 1963 im Osteuropa-Institut. Veröffentlichung des Osteuropa-Instituts an der Fr. Universität Berlin», стр. 19.

дальнейшего развития. Все сказанное относится полностью к этимологии. Ей было нелегко среди современных бумажных методов исследования сохранить репутацию серьезной науки, но это ей удалось². Конечно, из этого спора она не вышла совсем незатронутой и неизменной. Можно сказать, она стоит сейчас перед нами обогащенная всем действительно хорошим и более привлекательная, чем когда-либо.

Что я подразумеваю под обогащением? Прежде всего типологию всякого рода. Типологическая направленность науки современности получила выражение и в этимологической литературе. До недавнего времени вряд ли можно было встретить такие теоретические исследования, как, например, «Опыт типологии этимологических словарей»³, при всем том, что его автор, известный этимолог и исследователь романских языков Яков Малькель имеет за своими плечами уже несколько десятилетий успешной научной деятельности. Из его полезной книги можно много узнать о многих этимологических словарях старого и нового времени, об их принципах и даже о «дифференциальных признаках» («distinctive features») их структуры («time depth», «direction of change», «range», «grand strategy: the total organization of the corpus», «the structure of the individual entry: tactical preferences», «breadth», «scope», «purpose and level of tone»).

Далее, мы узнаем из этой книги, сколь часто переводились и переводились ли вообще этимологические словари на другие языки. Результат получается поучительный и тоже интересный типологически. А именно констатируется, что перевод этимологического словаря вообще редкость. А те немногие примеры, когда перевод этимологического словаря считался необходимым, всегда были одновременно доказательством признания его высоких научных достоинств. Имеется, собственно говоря, всего три примера: норвежско-датский этимологический словарь Фалька и Торпа (немецкий перевод 1910—1911 г. с норвежского оригинала), английский перевод 4-го издания этимологического словаря немецкого языка Клюге⁴ и, наконец, перевод с немецкого на русский язык Русского этимологического словаря Фасмера. Последний из названных трех переводов, будучи единственным переводом на соответствующий национальный язык, представляет собой исключительный случай в этимологической лексикографии, говоря словами Малькеля, «... a kind of crowning achievement»⁵ покойного корифея немецкой славистики.

Это действительно так. Не случайно поэтому, когда на заседании западноберлинского университета, посвященном памяти Макса Фасмера, 6 февраля 1963 г. вспоминали о его многочисленных отличиях (членство в академиях и т. д.), «не в последнюю очередь» было упомянуто «также извещение советского государственного издательства от октября 1962 г. о русском переводе его Этимологического словаря русского языка».

Но в 1962 г. этот русский перевод уже год как лежал готовый в рукописи. Инициатива издания русского Фасмера в стране русского языка находит свое начало если не в самих предложениях московского съезда славистов (IV Международный съезд славистов 1958 г.), то во всяком случае в том прекрасном духе этого съезда и последующего за ним времени. Семидесятидвухлетний профессор западноберлинского университета Макс Фасмер прибыл в Москву (уже во второй раз после войны, первый раз был

² Ср.: Y. Malkiel, *Etymology and modern linguistics*, «Lingua», 36, 2/3, 1975, стр. 101 и сл.

³ Y. Malkiel, *Etymological dictionaries. A tentative typology*, Chicago — London, 1976.

⁴ Там же, стр. 18—19.

⁵ Там же.

в 1956 г. в связи с Международным комитетом славистов), принял участие в конгрессе, был глубоко потрясен теплым приемом. У нас все еще помнят его трогательную речь в актовом зале Московского университета.

Короче говоря, вскоре затем возникла идея русского перевода его словаря. Издательство иностранной литературы обратилось ко мне с таким предложением, в январе 1959 г. был заключен договор, и я принялся с воодушевлением за дело. В апреле 1961 г. работа была окончена, и рукопись в 3200 машинописных страниц, примерно 160 авторских листов (оригинальный текст плюс этимологические и литературные поправки и дополнения переводчика) была передана редакции языкознания издательства. Те два года были для меня, молодого кандидата филологических наук, отличной школой, но и огромной работой без конца и без отдыха. Предстояло преодолеть многие трудности не только научного свойства. Вначале был назначен ответственный редактор — проф. Б. А. Ларин. Этого талантливого ученого больше отличало богатство идей, чем способность к терпеливому их осуществлению. Я имел случай убедиться в этом сам. Его стиль работы также шел вразрез с моими представлениями на сей счет. Ему ничего не стоило вычеркнуть одну за другой две-три строки оригинального авторского текста, как будто это была сырая рукопись, а не первоклассный уже печатный научный труд. Естественно, я протестовал. В качестве ответственного редактора Б. А. Ларин написал также короткое предисловие к русскому изданию. Не считая одного-двух верных критических замечаний об этимологических и материале Фасмера, это предисловие было достаточно банально, его небрежный тон был явно недостойн большого труда, словом, далеко не лучшее из того, что вышло из-под пера Ларина. Я протестовал и на этот раз, и редакция позволила мне отредактировать предисловие в более достойных тонах. Впрочем, Ларин быстро охладел к редактированию переведенного мной текста, так никогда и не перешагнув первые сто страниц. Вскоре он умер. С того времени редакция возымела ко мне больше доверия, и я работал совершенно самостоятельно. Думаю, что при этом я никогда не забывал о пиетете в отношении покойного автора. Это не мешало объективно трезвому взгляду на вещи, которому можно было поучиться у самого Фасмера и который так хорошо отличает его труды, в том числе и его этимологический словарь. Я дополнял и исправлял все, что считал нужным, и гордился этим.

Определенная подготовка к этому у меня была. Несколько лет уже были посвящены этимологическим исследованиям; близкое знакомство с только что опубликованным Русским этимологическим словарем Фасмера позволило мне выступить с докладом на обсуждении этого словаря на специальном заседании в Академии наук СССР в 1959 г. (см. «Вопросы языкознания», 1960, 3, стр. 60 и сл.). Своевременность выхода словаря Фасмера в свет, высокий научный уровень труда, богатый словник (диалектная лексика, включение украинских и белорусских слов, для которых еще отсутствовали собственные этимологические словари, серия статей по ономастике, особенно украсивших этот словарь, богатая библиография, трезвый этимологический анализ, непредвзятость) — таков был тогдашний вывод. Правда, не все удовлетворяло, например, отдельные пропуски в словнике; толкования слов были сработаны по-младограмматически надежно, но не всегда гибко, ср. прямо противоположное у Вацлава Махека. В словаре Фасмера мы напрасно бы искали ссылки на такие имена, как Курилович или Бенвенист, труд последнего об именном словообразовании в индоевропейском был, видимо, для Фасмера из числа тех новых теорий, к которым он относился сдержанно, несмотря на то, что работа Бенвениста 1954 г. «Problèmes sémantiques de la reconstruction» и заключительные мысли Фасмера о важности исследования значений были почти одновременны и

отражали общие искания нашей науки. В реконструкциях Фасмера мы не найдем намека на ларингальную теорию.

Дополнить все это и сделать по-другому я, конечно, был не в состоянии да и не стремился к этому. В противном случае получился бы другой, не фасмеровский словарь, вещь невозможная, кстати, за столь короткий срок! Задача моя была скромнее: перевод с дополнениями. За непродолжительное время я составил картотеку дополнений из современной литературы и рецензий, среди них имелись и новые этимологии. Мой рецензент Клаус Мюллер, проследивший критическим оком за всей моей работой над русским Фасмером⁶, упрекнул меня вначале, что я упустил возможность капитально переработать и расширить словарь. Оставляю открытым вопрос об этической стороне и вообще о реальности подобного замысла. Не следует забывать также о чувстве меры. И, тем не менее, дополненный материал оказался столь значительным по объему, что уважаемый рецензент, похоже, в конце концов совсем забыл о своем упреке и писал в рецензии на последний (4-й) том русского издания следующее: «Объем при переводе по сравнению с немецким оригиналом вырос благодаря дополнениям Трубачева⁷ более чем на одну треть»⁷.

Доставляло истинное удовольствие переодевать труд Фасмера по-русски. Помимо сказанного выше, задача понималась так, что нужно было не только перевести немецкие партии текста, но и привести все целое в соответствие с современным русским советским культурным и литературным увусом (культурно-языковой контекст, к которому мы еще вернемся), будь то названия языков (*казахский* вм. нем. *kirgisisch* и *киргизский* — там, где нем. *karakirgisisch*) или географические названия. Последнее — совершенно особая проблема, которую полезно затронуть далее в теоретическом плане. Пока один пример. В одном солидном современном русском переводе с итальянского можно ветретить город *Монако*, вместо правильного *Мюнхен*, как место издания книги Германа Хирта «*Etymologie der neuhochdeutschen Sprache*». Словарь Фасмера явно нуждался в определенной графической модернизации, нужно было заменить в новом издании все устаревшие знаки в балтийских, литовских примерах, как, например, акут над буквой *ú* без принятого сейчас знака долготы (*ú: bútas*), греч. *ε* вместо современного *ε̂* в албанском и многое другое, к чему привыкло то поколение языковедов.

Существенную часть работы над словарем Фасмера составили, естественно, дополнения и поправки. Первые из них носили следующий характер: 1) дополнения из новой (впрочем, не только новой) литературы; 2) собственные новые этимологии и 3) новые словарные статьи. Они довольно многочисленны, и здесь нет возможности приводить все примеры. Уместно поэтому ограничиться немногими. Так, в немецком оригинале при слове *вурдалак* «*Wergwolf*» дается только отсылка «s. *волколак*». В русском издании сюда добавлено довольно много: «Форма *вурдалак*, появившаяся в русск. художественной литер. в 20—30 гг. XIX в. (ср. Виноградов, Докл. и сообщ. Ин. яз. 6, 1954, стр. 9 и сл.), обязана своим происхождением, по-видимому, Пушкину и представляет собой искаженную передачу форм типа *волколак*, *вурколак*; эта целиком книжная форма получила известную популярность в последующий период; ср. ранний рассказ А. К. Толстого „*La famille du vourdalak*“ (RES 26, 1950, 15 и сл.). В свете изложенного следует отвергнуть объяснение Дмитриева (Лексикогр. сб.,

⁶ К. Müller, ZfS, 11, 1966, стр. 287—292; ZfS, 14, 1969, стр. 273—274; ZfS, 18, 1973, стр. 895—896; ZfS, 21, 1976, стр. 256—258.

⁷ К. Müller, ZfS, 21, 1976, стр. 257.

3, 1958, стр. 40) из тюрк. *обур* „обжора“. Это пример литературного дополнения, частично с попыткой этимологизации. Из тех своих собственных новых тогдашних этимологий, которые и сейчас не кажутся мне неудачными, назову пару примеров из 1 и 2 томов русского издания. Это разного рода заимствования, излюбленный разряд лексики у Фасмера. Тем не менее, как известно, многие из таких слов остались для него неясными или нуждаются в лучшей этимологии. Например, слово *апорт* «сорт яблок» возводится в немецком издании вслед за Преображенским к названию португальского города *Oporto*. В русском издании читаем: «...скорее всего, *апорт*, укр. *япорт* заимств. через польск. *jarprt* из ср.-в.-нем. *apfalter* „яблоня“». Дialeктное слово *едукарь* «дока, смысленный человек» названо в немецком издании неясным. Русское издание гласит: «Следует объяснять как заимств. из иранской формы, восходящей к ир. **yādu-kara-* „волшебник“, ср. авест. *yādu-* „волшебник, колдун“ и сложения типа *zīrah-kara-* Ир. **yādu-kara-* продолжается в нов.-перс. *jādūgar*, но русск. слово отражает более древнюю ир. форму». Это русское слово не учтено должным образом в иранистической литературе, его нет, например, в статье Х.-Д. Поля «Слова иранского происхождения в русском языке» («*Russian linguistics*» 1975, 2), хотя автор постоянно ссылается на русское издание Фасмера. Тот же ученый интересовался также древнеиранскими словами со вторым компонентом *-kara* и собрал соответствующий материал, ср. его «*Rückläufiges Wörterbuch des Altpersischen*», — «*Klagenfurter Beiträge für Sprachwissenschaft*», 1975, 1, стр. 14—15, где есть слова, облик которых не древнее, чем у иран. **yādu-kara-* (или **yātu-kara-*?), лежащего в основе русского слова.

Как пример новой словарной статьи приведу *дикобраз*, слово, чья этимологическая судьба, возможно, не так уж запутана [обратное производное от прилагательного *дикообразный*, т. е. «(зверь) дикого образа»], но и оно не должно отсутствовать в русском этимологиконе. Известно, что пропуски слов в словаре Фасмера носят подчас совершенно случайный характер.

Нужно было также исправить ряд языковых ошибок у Фасмера. Их было сравнительно немного, но среди них попадались и серьезные случаи. Например, если у Фасмера русск. *запороток*, *запороток* переведено по-немецки «*faules Ei, Schwätzer*», то при этом допущена ошибка, возможно, на почве толкования значения слова *запорток* в Толковом словаре Даля: *запорток* — болтун, ... гнилое яйцо. Объясняющее слово *болтун* [произведено от глагола *болтать*, с основным значением «болтать, трести, раскачивать» и переносным — «болтать языком»; общепринятое слово *болтун* — обычное имя действия, производное с переносным значением, и так наверняка понял его здесь Фасмер. Но в данном случае это не подходило, потому что здесь у Даля производное *болтун* отнесено к основному значению глагола и обозначало не болтливую личность, а «болтающееся яйцо». Толкования русских диалектных слов в словаре Фасмера нередко оказывались ошибочными или неточными. Проверять и править их по разнообразным источникам было делом очень трудоемким, для которого у меня самого уже не оставалось времени. Редакция привлекла для этого (правда, не сразу) нескольких помощников под наблюдением М. А. Обориной, редактора издательства, с которой я работал все эти годы над окончательной редакцией русского текста. Не так давно я прочел в одном западноевропейском журнале сообщение о завершённой публикации четырехтомного русского издания Русского этимологического словаря Фасмера «под руководством» (*unter der Leitung*) О. Н. Трубачева. Корреспондент был, конечно, не очень хорошо осведомлен, потому что я сделал перевод «в высшей степени собственноручно». Я позволю себе

использовать здесь это выражение, употребленное Кипарским о манере работы Фасмера над словарем⁸.

О манере работы я вспомнил не случайно; труд лексикографа и условия этого труда — это понятия, тесно связанные с человеком. В интересной книге Малькеля об этимологических словарях нельзя читать без улыбки то место, где рассказывается о романисте Диде, «который жил во времена относительного досуга (*relative leisure*) и писал свой *Etymologisches Wörterbuch der romanischen Sprachen...*»⁹. *Leisure*, *Muße*, *dosuga* представляются мне как бы словами из пассивного лексического запаса. Взамен них более привычны постоянная нехватка времени и напряженный труд. Так обстоит дело сейчас, когда надо работать над новым Этимологическим словарем славянских языков, не говоря о других проблемах, так было тогда. Время не проводилось в праздности. Коллеги говорят, что я работаю быстро. Может быть, это отчасти так и есть, но я знаю, как много надо сделать и чувствую, что надо работать еще быстрее. Это еще и потому, что лексикография — медленное дело. Молодому бывает нужно поверить в себя и проверить или, как сейчас говорят, «выразить» себя и не бояться перегрузок, даже когда старшие товарищи и учителя сомневаются в успехе. В те годы я работал младшим научным сотрудником в Институте славяноведения АН СССР. Когда мой руководитель проф. С. Б. Бернштейн услышал о проекте издания Фасмера на русском языке, он сразу сказал мне, что эту работу над переводом в план мне не включают. Это меня не утратило, да и мой институтский план не пострадал от нового замысла, как того опасался С. Б. Бернштейн. «Это вам на всю жизнь», — сказал он мне тогда и ошибся. Как я уже сказал, весь перевод был закончен за два года. «За это время, — говорил мне далее С. Б. Бернштейн, — вы могли бы написать книгу». Я написал две. Кроме работы над переводом Фасмера, я выпустил книгу «Происхождение названий домашних животных в славянских языках» и другую книгу — в соавторстве с В. Н. Топоровым — «Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья». В 1960 г. мой обычный рабочий день был довольно напряженным: с утра до пяти часов — перевод Фасмера, с пяти до одиннадцати вечера — работа с Топоровым над «Лингвистическим анализом гидронимов Верхнего Поднепровья». И так — ежедневно, кроме присутственных дней в институте.

Родоначальники нынешних переводчиков с иностранного на русский — первоучители славян Кирилл и Мефодий — работали, правда, еще бы-

стрее. Как сказано в житии Мефодия (гл. XV), «...^т оученикъ своихъ посажъ дѣва поповъ скорописьца зѣло, прѣложѣ въ брѣзѣ всѧ книги испълнь,

развѣ Макавѣи, ^т грѣчьска языка въ словѣньскъ, шестию мѣ, начьнь

^т марѣа мѣа, до дѣвоюдеслатоу и шестию днѣ. ^т октября мѣа» «он посадил из своих учеников двух попов скорописцев „зело“ (и) перевел быстро все книги (=Библию) полностью, кроме Макавейских, с греческого языка на славянский за шесть месяцев, начав с марта месяца, до двадцать шестого октября». Итак, Библию — за полгода! Правда, переводили втроем и притом переводили буквально, что при определенном навыке не так трудно, тем более «для трех аскетов IX века», говоря словами акад. П. А. Лаврова¹⁰. И при всем том успели к 7 октября, а только к 26 октября...

⁸ V. K i p a r s k y, «Max Vasmer zum Gedenken», стр. 19.

⁹ Y. M a l k i e l, *Etymological dictionaries*, стр. 69.

¹⁰ П. Л а в р о в, Кирило та Методій в давньо-слов'янському письменстві, Київ, 1928, стр. 80. Возможные уточнения см.: Т. А. И в а н о в а, У истоков славянской письменности (К переводческой деятельности Мефодия), сб. «Культурное наследие древней Руси», М., 1976, стр. 24 и сл.

С окончанием перевода словаря Фасмера трудности не кончились. Скорее наоборот. Перевод мог бы выйти из печати значительно раньше, на самом же деле публикация длилась 8—9 лет (1964—1973). Дело оказалось новым и не совсем обычным, издательские планы, как всегда, были перегружены, русский Фасмер нуждался в специальной печати, требовалась академическая типография.

От издательства «Карл Винтер» пришел мне запрос (переданный устно проф. Гертой Хютль-Ворт), действительно ли мы планируем у себя русское издание словаря Фасмера. В противном случае в Федеративной Республике Германии намеревались предпринять второе издание. Немецкое издание Фасмера насчитывало 2000 экземпляров, если не ошибаюсь. Наше русское издание было в десять раз больше, из них 5000 экземпляров пошли за границу. Говорят, фактическое количество заявок было в два раза больше тиража. Хочется надеяться, что наше русское издание, встреченное в целом положительно, стало не только «Фасмером для русских», но явилось новым исправленным и дополненным изданием для всех изучающих и исследующих русский язык. К сожалению, сам Фасмер не дожил до этого. Но еще перед своей смертью в 1962 г. он узнал о намерении издать его словарь на русском языке. Несколько озабоченный этим, он написал акад. В. В. Виноградову, тогдашнему академику-секретарю Отделения литературы и языка АН СССР. Хотя я познакомился с Фасмером лично еще в 1956 г., переписки между нами не было. Но как только я узнал о его опасениях, я послал ему образец своего перевода с примерными дополнениями в квадратных скобках. Полагаю, что его успокоил бережный характер перевода и дополнений (вряд ли он остался бы доволен, если бы узнал, как его собирался редактировать Б. А. Ларин).

Заменило ли русское издание немецкое? Да, почти, но не совсем. Наше издание обогащено новыми словарными статьями, точное количество которых я сейчас не назову, но Клаус Мюллер все, конечно, подсчитал. Назову одну цифру, представляющую известный интерес с точки зрения лексикологии, а именно количество словарных статей (позиций) в русском издании: 18 246. Мы даем несколько больше материала, чем немецкое издание, за исключением одного-двух слов, которые пришлось снять. Это так называемые непристойные слова, лексика половой сферы. Эти слова весьма интересны в плане этимологии, истории языка, развития значений. Основные слова здесь восходят еще к праславянскому периоду и имеют различные балтийские и некоторые другие индоевропейские соответствия, один глагол имеет несомненное праиндоевропейское происхождение. Специальная литература по этому вопросу обширна, как это видно в соответствующих статьях словаря Фасмера. Будучи словарем академического типа, наше издание, конечно, вправе было претендовать на соответствующую лицензию. Но наша общепринятая культура речи и языка принципиально исключает неприличную лексику. Понять это можно. Слова, ничего не говорящие немецкому читателю, лишены каких-либо социальных и чисто человеческих акцентов, толкуемые и этимологизируемые по-немецки, немедленно приобретали маркированный характер, как только попадали в русский литературный контекст да еще двадцатитысячным тиражом. Наш читатель к этому не привык, и, может быть, не нужно его легкомысленно эпатировать. До этого и не дошло, хотя вначале я предпринял усилия, чтобы убедить редакцию и дирекцию и не сокращать то, что в принципе дополнялось. Чистота русского литературного языка одержала верх. Негативный заряд этих слов и понятий был слишком велик. Вопрос этот отнюдь не только научный, он связан с традициями культуры и этики. Комично звучит поэтому оправдание этих купюр редакцией (зав. В. А. Звегинцев): «... редакция, имея в виду достаточно широкий кон-

тингент читателей, сочла необходимым снять несколько словарных статей, которые могут быть предметом рассмотрения лишь узких научных кругов» (От редакции, — т. I, стр. 6). Таким образом, наши «узкие научные круги» по этому вопросу будут и далее обращаться к немецкому изданию Фасмера. Это получило отклик в западноевропейской литературе. Проф. В. Кипарский, говоря в своей книге «Russische historische Grammatik», Bd. III. Entwicklung des Wortschatzes (Heidelberg, 1975, стр. 17: Einleitung) о богатстве современного русского языка во всех областях человеческой культуры, одновременно указывает на существующее у нас табу половой сферы. Он приводит даже примеры, которые выпущены в русском переводе словаря Фасмера, в остальном, заключает он, русский язык по своей выразительности не уступает большим романским и германским языкам. «Неприличность» — понятие общечеловеческое, но только его объем, его понятийное поле различны в разных культурах и языках. Возможно, мы, русские, лучше чувствуем чрезвычайную «выразительность» таких слов, которые знаменуют, так сказать, антикультуру и особенно строго изгоняются из литературного языка и культурной жизни в эпоху массовой книжной продукции. Культурное разнообразие, конечно, этим не исчерпывается. Вспомним о фаллических культурах вневропейских культур и культур древности: там предписывается то, что просто невозможно в стандартной европейской культуре и ее языке. На этом кончим о типологии. Что касается главной мысли всего сказанного выше, так это мысль о том, что оба издания словаря Фасмера — немецкое и русское — оказываются нужными друг другу, и в этом мимолетно отразилось глубоко серьезное представление об отношениях наших культур и наук друг к другу.

Теперь уместно перейти к некоторым обобщениям. Хотя наша литература не испытывает недостатка в солидных пособиях по теории и практике перевода¹¹, а автор этих строк не считает себя теоретиком в этой области, тем не менее, любой личный опыт — как авторский, так и читательский, — может оказаться полезным для такой преимущественно эмпирической дисциплины. Отнюдь не из склонности к парадоксам, а наоборот, из самых серьезных побуждений я хотел бы обратить внимание на то, что при переводе не переводится. Но вначале — краткое замечание самого общего характера, отчасти уже прозвучавшее выше и созвучное, я думаю, дальнейшим рассуждениям. Я имею в виду положение о важности контекста, любого — от грамматического до культурного. Думаю, что недостаточный учет или даже игнорирование контекста встречаются и в переводах, выполненных высококвалифицированными специалистами. Один пример нарушения грамматического контекста. В переводе книги «Общеславянский язык» А. Мейе (перевод и примечания проф. П. С. Кузнецова под ред. С. Б. Бернштейна, М., 1951) на стр. 112 упоминается древнесловенское (Фрейзингенские отрывки) дат. п. мн. ч. *crilatcem* «alatis» в соответствии с др.-чеш. *křidlatec* «быть крылатым». Франц. *être ailé* можно перевести на русский двумя разными лексико-грамматическими способами: 1) инфинитивный «быть крылатым» и 2) субстантивный «крылатое существо», но выбор определяется контекстом (толкуется имя, а не глагол, рядом как ближайшее соответствие переводится также имя), а контекст допускал здесь только второй перевод.

Кроме этого единственного примера из апеллативной лексики, т. е. того разряда слов, которые главным образом переводятся при переводе, я, как уже сказал выше, хотел бы остановиться на том, что пере-

¹¹ См., например: Л. С. Бархударов, Язык и перевод. Вопросы общей и частной теории перевода, М., 1975.

воду в обычном смысле не подлежит, — на именах собственных. Правила передачи имен собственных при переводе в общем тоже существуют или должны существовать, однако как раз с собственными именами при этом случается всякое. Курьезный и, видимо, общеизвестный пример исчезновения собственного имени при переводе. Одна из пьес О. Уайльда носит у нас русское название «Как важно быть серьезным», хотя было бы точнее (а может быть, и смешнее) перевести английское название этой комедии «The importance of being Earnest» по-русски именно «Как важно быть Эрнстом». В английском оригинале имеет место великолепное каламбурное совпадение чистой знаковости личного имени собственного и лексической полизначности аппеллативного его субстрата — прилагательного *earnest* «серьезный». Я не случайно упомянул о чистой знаковости имени собственного: эта тема стоит того, чтобы ее развить дальше. Кажется, ни в зарубежной, ни в нашей литературе по имени собственному¹² не обращалось должного внимания на эту важную сущность имени. Знаковый характер языка и любого его слова доказан со времен Соссюра, но если это верно о полнозначном нарицательном слове, то в отношении имен собственных это справедливо вдвойне. Утрированная знаковость и тенденция к ее усилению всеми средствами (в произношении, ударении, на письме) — главная отличительная особенность имени собственного. Именно эта тенденция объясняет известное всем отталкивание (в произношении, ударении, на письме) имен собственных от этимологически тождественных аппеллативов. Отличие собственных имен от нарицательных обычно видят в том, что собственные называют, а нарицательные обозначают (Курилович). Здесь, кажется, и кроется один из подводных камней перевода, потому что переводить надо как будто только то, что обозначает и имеет лексическое значение, собственные же имена надо транслитерировать или переводить в отдельных случаях то, что в них лексически переводимо¹³. Что происходит иногда при исправной транслитерации, мы уже видели на примере с *Монако* (кстати, пример вполне заслуживает того, чтобы стать хрестоматийным). Если мы транслитерируем итал. *Mónaco* русскими буквами, то получится, конечно, известное всем *Монако*, но если в книге В. Пизани «Этимология» город *Mónaco* дважды упомянут как место издания немецких книг — 1) Benfey, *Geschichte der Sprachwissenschaft und orientalischen Philologie in Deutschland*, Mónaco, 1869; 2) Н. Hirt, *Etymologie der neuhochdeutschen Sprache*, Mónaco, 1921, — то речь, конечно, идет только о *Мюнхене*, по-итальянски — тоже *Mónaco* или *Mónaco di Baviera*. Переводчик книги Пизани Д. Э. Розенталь прибег к буквальной транслитерации (см. стр. 171 и 173 раздела «Библиография» указ. книги), и *Монако* по недосмотру превратился в довольно крупный центр исследований по сравнительному и германскому языкознанию. Ни транслитерация, ни перевод здесь не годятся (хотя перевод здесь в принципе возможен, так как эквивалентные *München* = *Monachium* = *Mnichov* = *Mónaco* значат «монашій»). Здесь требуется знание эквивалентной передачи, очень важной для правильного отражения культурного контекста и, кстати, очень плохо обеспеченной словарями.

¹² Ср.: Е. Курилович, Положение имени собственного в языке, в его кн.: «Очерки по лингвистике», М., 1962; А. В. Суперанская, Общая теория имени собственного, М., 1973; е е же, Ударение в собственных именах в современном русском языке, М., 1966.

¹³ А. В. Федоров, Введение в теорию перевода (Лингвистические проблемы), 2-е перераб. изд., М., 1958, стр. 165 и сл.

Мне кажется, хороший, образованный переводчик обнаруживает себя не только и не столько в том, что он тонко переводит и чувствует апеллативную семантику, фразеологизмы или не даст себя провести пресловутым «друзьям переводчика» опять же из нарицательной лексики, сколько в том, что, переводя, например, немецкий текст, где упомянут город *Odenburg* на западе Венгрии, он не позволит себе «перевести» *Эдинбург* (с чем я однажды столкнулся в одной книге по археологии), а напишет правильно: *Шопрон* (нынешнее венгерское название города, принятое и у нас). Думаю, что хороший переводчик, переводя с чешского, позаботится о точной адекватной передаче также всей нечешской ономастики. В противном случае получится то, что получилось при переводе книги Л. Нидерле «Славянские древности» (М., 1956). Переводческая пара, трудившаяся над ее русским текстом, породила никогда не существовавшего парижского профессора Эрнста Дениса (стр. 17 книги), в котором можно угадать известного Эрнста Дени. Точно так же славяне Мезии помещены были ими между нижним Дунаем и не существующим горным хребтом Гаеом (стр. 86 книги); так неверно было прочтено по-чешски «*mezi dolním Dunajem a Naemem*», что значит по-русски «между нижним Дунаем и Балканами» (лат. *Naemus* — одно из названий Балкан). Подобная практика способна привести к появлению того, что можно назвать «ghost-names», имена-призраки, аналогично существующему в филологии понятию «ghost-words», слова-призраки, порожденные описками, ошибками, плохой информацией. Хорошо, если «имя-призрак» рождается мертвым, как в описанных только что случаях. Если же неточный вариант, плод исправной, так сказать, транслитерации, возникнув, довольно долго живет вроде того «Доброго человека из С е з у а н а» Бертольта Брехта, который на самом деле — «Добрый человек из С ы ч у а н и», то не следует удивляться, если рядовой читатель, слышавший, что в Китае есть Сычуань, а с театральных подмостков говорят о местности Сезуан в той же стране, — если этот читатель и зритель начнет думать о Сычуани и Сезуане (нем. *Seziuan* = *Сычуань*!) как о р а з н ы х о б ъ е к т а х.

Так нарушается старое доброе правило — *entia non sunt multiplicanda* «не следует умножать сущностей». Опасность этого рода всегда есть и была при переводах и пересчетах знаков одной культуры знаками другой. Не всегда легко знать, что имя китайского лингвиста, известное в англоязычном звучании *Yuen Ren Chao*, по-русски должно передаваться как *Чжао Юань-жень*. Но именно этой адекватной передаче таких с е р х з н а к о в, как имена, мы должны ждать и требовать от хорошего перевода.

ГЕЛЬГАРДТ Р. Р.

**ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ
ИСТОРИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ РУССКОГО ЯЗЫКА**

(по поводу «Проекта словаря русского языка XVIII века»¹)

1. Деятельность лексикографа подразделяется по меньшей мере на два этапа. Первый — когда возникает необходимость определить задачи будущего словаря, установить его жанровую специфику, связанную с избранным объектом изучения в пределах намеченных хронологических границ, разработать методику и технику словарного препарирования отобранных фактов. Лексикограф составляет словник, определяет его объем и контингент отбираемых лексических единиц², указывает на должное размещение вариантных форм, на приемы истолкования значений слов и фразеологизмов (описательный, синонимический, иллюстративно-текстовый)³, включая виды лексической сочетаемости. Он намечает принципы построения словарной статьи и ассортимент помет, с помощью которых будет дана функционально-стилистическая характеристика слов и указаны их эмоционально-экспрессивные окраски, а также их положение в словарном составе языка как «сильных» или «слабых» элементов, имеющих тенденцию к выходу за пределы фонда лексики данного исторического периода, и проч.

1.1. Второй этап — это реализация намеченной программы, причем некоторые детали первоначального плана, если он сводится к своего рода методической разработке, могут уже в самом процессе работы несколько видоизменяться. Случается это тогда, когда языковой материал выдвигает перед лексикографом новые вопросы, требует уточнения приемов препарирования фактов, заставляет заниматься тем, что не было предусмотрено предварительно составленной программой. И это естественно: ведь исполнение не всегда и не во всем непременно должно совпадать с замыслом. Различение же двух этапов или стадий в деятельности лексикографа следует считать условным и даже искусственным, потому что инструкции, проекты или проспекты нормально разрабатываются апостериорно — в результате частично уже проведенного лексикографического опыта. Его выборочно демонстрируют в пробных словарных статьях⁴.

2. Рассматриваемый труд совмещает «обычные признаки инструкции по составлению Словаря и отдельные элементы теоретического рассуждения». Это, как заявляют авторы, создает «смешанный жанр Проекта» (стр. 4). Свод правил построения словарных статей разработан с таким

¹ «Словарь русского языка XVIII века. Проект», М., 1977. Авторы глав и разделов Проекта: Ю. С. Сорокин, Э. М. Петрова, Л. Л. Кутина, Е. Э. Биржакова, И. М. Мальцева, А. И. Молотков, Л. А. Войнова. Отв. ред. Ю. С. Сорокин.

² «Словник... зависит от того потребителя, для которого словарь предназначен» (Л. В. Щербач, Опыт общей теории лексикографии, «Избр. работы по языковедению и фонетике», I, Л., 1958, стр. 76).

³ Иногда допускаются определения энциклопедического типа.

⁴ См.: «Словарь русского языка XVIII века. Проект», стр. 145—154.

лексикографическим мастерством, что научная критика едва ли сможет внести в инструкцию сколько-нибудь существенные коррективы. Указания же приемов, способов описания и трактовки словарных материалов обоснованы тем, что составители скромно называют «отдельными элементами теоретических рассуждений», но что в действительности является стройной научной концепцией развития русского языка на протяжении XVIII в. И здесь критику трудно выступить в роли оппонента: высокий академический уровень изложенной системы взглядов, убедительная аргументация выдвигаемых положений не дают достаточных поводов для полемики. Но в данном Проекте обсуждаются и некоторые принципиальные вопросы лексикографии, причастные к сфере общего языковедения. Они-то и дают главные стимулы филологу для его теоретических размышлений, связанных с жанровой спецификой словаря.

3. Можно по-разному решать вопрос о месте лексикографии среди лингвистических дисциплин и о статусе ее как науки суверенной, автономной или прикладной⁶. Несомненно только, что, например, типологическая характеристика словарей не включается в компетенцию лексикологии и что лексикографическая деятельность основывается на прочных знаниях всего, чем занята микролингвистика, и многого из того, что входит в область общего языковедения. Впрочем, лексикография охватывает равные области филологии и занимает в науке настолько почетное место, что не нуждается в доказательствах ее академического престижа. И он вычуть не снижается Х. Касаресом, который квалифицировал лексикографию как искусство составления словарей, что — полагал этот автор — должно обособить ее от таких наук, как лексикология и семасиология. Однако фундаментальный труд Х. Касареса, озаглавленный «Введение в современную лексикографию», доказывает нечто противоположное: он демонстрирует весьма широкие и разносторонние контакты между разработкой словарей, стоящей на должном научном уровне, с одной стороны, и лексикологией, семантикой, грамматикой и многими теоретическими проблемами науки о языке — с другой⁶.

3.1. По насыщенности текста общелингвистическими идеями и обстоятельности обсуждаемых вопросов лексикологии, лексической семантики, стилистики к «Введению в современную лексикографию» Х. Касареса приближается сравнительно небольшой Проект словаря русского языка XVIII в.

4. Как писал Л. В. Щерба, «историческим в полном смысле этого термина был бы такой словарь, который давал бы историю всех слов на протяжении определенного отрезка времени, начиная с той или иной определенной даты или эпохи, причем указывалось бы не только возникновение новых слов и новых значений, но и их отмирание, а также их видоизменение». По мнению этого исследователя, «такого словаря до сих пор еще нет, и самый тип его еще должен быть выработан»⁷.

4.1. Отрицая наличие в лексикографической литературе словаря, который был бы «историческим в полном смысле этого термина», Л. В. Щерба все же указывал на словарь немецкого языка Г. Пауля как на «наиболее исторический» и сейчас же оговаривался, что упомянутый лексикон, отрывающийся от современного языка, «не может быть на-

⁶ Не в смысле, который придает Г. Коллиц термину «applied linguistics».

⁶ В частности, например, семасиология, использующая в качестве сырья для своих исследований те данные, которые лексикограф собирает и систематизирует, сама обслуживает потребности лексикографии, играет по отношению к ней подчиненную, служебную роль (Х. К а с а р е с, Введение в современную лексикографию, М., 1958, стр. 63).

⁷ Л. В. Щ е р б а, Опыт общей теории лексикографии, в кн.: «Избр. работы по языковедению и фонетике», I, стр. 90—91.

зван „историческим“ и что сам Г. Пауль таковым его не считал. «В высшей степени „историческим“ представлялся Л. В. Щербе «Glossaire des patois de la Suisse romande» Л. Гоша, Ж. Жанжаке и Э. Тапполе (I, 1924—1933), и наконец «вполне историческим» назван «Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots» А. Эрну и А. Мейе (2-е изд. — 1932).

4.2. Импрессионистичность этих оценочных суждений о словарных трудах вызывает у читателя ряд недоуменных вопросов. Если в лексикографической литературе еще нет словаря «исторического в полном смысле этого термина», то почему упомянут «в высшей степени исторический» словарь Л. Гоша, Ж. Жанжаке, Э. Тапполе (I, 1924—1933), а также «вполне исторический» «Dictionnaire étymologique de la langue latine»? Различаются ли в лексиконах градации историчности? И почему словари, оцениваемые как «вполне» или «в высшей степени исторические», не являются «историческими в полном смысле этого термина»?

5. По-видимому, в той же связи уместно было бы сослаться не только на элементарное словарное пособие, призванное содействовать пониманию текстов французской классической литературы XVII в., каким является книга Г. Куару «Le français classique. Lexique de la langue du dix — septième siècle expliquant, d'après les dictionnaires du temps et les remarques des grammairiens le sens et l'usage des mots aujourd'hui vieillis ou différemment employés» (1937), но (с большим основанием) упомянуть монументальный исторический словарь Ш. Л. Ливэ, построенный на фактах языка Мольера в сопоставлении с языком писателей его времени. — «Lexique de la langue de Molière, comparée à celle des écrivains de son temps avec des commentaires de philologie historique et grammaticale» (I—III, Paris, 1895—1897). Также и некоторые другие словари языка писателей имеют историческую ориентацию. Иногда она отражена в их названии. Ср., например: P. Fischer, Goethe Wortschatz. Ein sprachgeschichtliches Wörterbuch zu Goethes sämtlichen Werken (Leipzig, 1929). Здесь же упоминается и E. Huguet, Dictionnaire de la langue française du seizième siècle (I, Paris, 1925, II, 1932, III, 1946; см. и том IV); или: Guérin de Cuer Ch., Le lexique du XVII-e siècle, Le lexique du XVIII-e siècle⁸.

5.1. Перечисленные работы интересны для нас прежде всего потому, что авторы Проекта указывают на охват ими «лексических материалов относительно ограниченного периода времени» как на особенность будущего труда, отличающую его «от ряда других исторических словарей» (стр. 5).

6. Жанр исторического словаря создается, во-первых, отобранными для него фактами языка более или менее отдаленного прошлого (в данном случае XVIII в.) и, во-вторых, — показом «динамики форм языкового выражения», как она засвидетельствована памятниками художественной литературы и письменности в пределах намеченных хронологических границ.

7. Периодизация истории языка никогда не была для филолога делом простым и не вызывающим сомнений. Задача эта так или иначе решалась лишь при строгом учете событий исторической жизни народа и обстоятельств развития его культуры. В частности, некоторые филологи-романисты полагают, что было бы рискованным постулировать понятие французского языка, функционирующего в пределах, например, XVII, XVIII или XIX вв., потому что это повлекло бы за собой отрыв от подлинной языковой действительности. Такой скептицизм оправдывается отраженными в литературных памятниках многочисленными региональными раз-

⁸ Ср. еще: W. Bartsch, Der Wortschatz des öffentlichen Lebens in Frankreich Ludwigs XI. These de Leipzig, I, 1937.

новидностями французского языка, которые сложились в обособленных культурных центрах и которые остаются заметными вплоть до нашей современности, когда Париж стал единственным очагом всей французской литературы. Известно, например, что в районах на севере Луары существует столько же языков, сколько однородных групп населения, дифференцированных географически или социально⁹.

7.1. Бряд ли кто-либо из историков-языковедов предавался иллюзии по поводу возможности строго определенного, четкого отграничения одного периода исторического развития языка от другого¹⁰. Непрерывное движение языка во времени затрудняет и лексикографа, пытающегося с целью периодизации установить «верхние» и «нижние» границы датировки привлекаемых документальных источников. Принимается в расчет, что язык есть феномен не только «активный», развивающийся по внутренним законам, но и «реактивный» — подверженный изменениям под воздействием внеязыковой действительности.

7.2. Составители Словаря наметили следующие хронологические границы, в пределах которых отбираются письменные источники для извлечения из них фактов лексики и фразеологии. Это 1695 г., ознаменованный началом самостоятельного правления Петра I, изменениями разных сторон культурной жизни и языковой политикой, которая отразилась на речевом узусе «нового поколения общественных деятелей», в произведениях разных жанров литературы, а особенно — в деловой письменности. Такая точность датировки не должна показаться научной критике слишком категорической, а поэтому сомнительной: авторы указывают, что линии, которые очерчивают «временные контуры» изучаемого лингвистического объекта, следует считать условными, поскольку в первой трети XVIII в. сохранялся «особый книжно-славянский тип языка» (стр. 9)¹¹, унаследованный от предшествующего времени (от XVII в.). И «верхний рубеж» захватывает несколько первых годов XIX в. (1803—1805) — время, когда развернулась полемика между сторонниками старого и нового слога (стр. 10).

7.2.1. Обоснованное расширение круга источников, отбираемых по датам их написания, наблюдается и в других исторических словарях. Можно было бы припомнить «Словарь датского языка» («Ordbog over Danske Sprog»), привлекавший факты, начиная с XVIII в., но не отказавшийся от иллюстраций из произведений авторов, литературная деятельность которых началась только в конце этого века. Тот же лексикон использует цитаты из «Danske Lov» — памятника 1683 г. И «Словарь голландского языка» («Woordenboek der Nederlandsche Taal»), нижняя граница источников которого датируется 1620 г., допускает в свой состав лексику, почерпнутую из более ранних текстов. Если же отыскивать аналогии к принципам установления хронологических границ, принятым составителями Проекта, то уместно было бы сослаться хотя бы на «Словарь

⁹ См.: R.-L. W a g n e r, Introduction à la linguistique française, Deuxième tirage, Genève — Lille, 1955, стр. 80—81. Из разных территориальных и социально-групповых лингвистических образований, функционирующих в данный исторический период, можно выделить общие для них черты как французские в самом широком смысле слова. Однако они встречаются гораздо реже и в меньшем количестве, чем это обычно думают (там же, стр. 8).

¹⁰ В. В. Виноградов утверждал, что границы современного русского литературного языка, обозначенные ясным описанием, а также определением соответствующей языковой системы и реализующей ее языковой нормы, вырисовываются не с определенной даты, а приблизительно «с 90-х годов XIX в. — с начала XX в. вплоть до современности» (В. В. В и н о г р а д о в, Семнадцатитомный академический «Словарь современного русского литературного языка», ВЯ, 1966, 6, стр. 20).

¹¹ На стр. 10 эта датировка варьируется. Здесь сказано, что в конце 20-х годов книжно-славянский тип языка прекратил свое существование.

шведского языка» («Ordbok öfver Svenska Språket»), изданный Шведской академией. Авторы этого труда также обращались к внеязыковой действительности, указывая на дату приобретения Швецией политической независимости и окончание перевода библии на шведский язык как на время, с которого они начинали обработку своих источников. Но, в отличие от проектируемого русского словаря, решение вопроса «с каких пор» было перечисленными иностранными лексиконами «подчинено не столько лингвистическим задачам, сколько соображениям исторического порядка, связанным с появлением национального самосознания и политической независимости у соответствующих языковых общностей»¹².

7.3. Вообще же периодизация затрудняет составителей исторического словаря едва ли больше, чем лексикографа, занятого описанием словарного состава с о в р е м е н н о г о литературного языка. Теперь уже редко кто сохраняет убеждение в том, что собственно современным надлежит называть русский литературный язык от Пушкина до наших дней. Строго говоря, нельзя безоговорочно рассматривать словарный фонд литературного языка с 90-х годов и начала XX в. вплоть до нашей современности как одно синхронное состояние и, руководствуясь этими ориентирами, разрабатывать словарь того типа, какой Л. В. Щерба назвал «академическим, или нормативным» — таким, который основывается на «едином (реальном) языковом сознании определенного человеческого коллектива в определенный момент времени»¹³ и к которому обращаются, чтобы узнать, «можно ли в том или другом случае употреблять то или другое уже известное слово»¹⁴.

7.4. «Определенный момент времени», о котором писал Л. В. Щерба, не может быть и таким большим, как его наметил В. В. Виноградов, — охватывающим семь-восемь десятилетий. И нам трудно согласиться с тем, что в этот исторический период отразилось «единое (реальное) языковое сознание определенного человеческого коллектива». Между прочим, даже в течение короткого срока, отделяющего Словарь Ушакова от четырехтомного Словаря русского языка (изд. АН СССР), как показывают сопоставления, изменился состав актуальной лексики, произошли заметные сдвиги в нормах словоупотребления, литературного ударения, сместились коннотации многих слов — их стилистические окраски, эмоционально-экспрессивные тона и положение относительно исторической перспективы. Вот почему при обсуждении семнадцатитомного «Словаря русского литературного языка» Ю. С. Сорокин выразил сомнение в реальности существования единой нормы литературного словоупотребления даже в пределах советской эпохи. Думается, что лексико-семантические изменения за весь предоктябрьский период, далекая граница которого восходит к Пушкину, были не более значительными, чем изменения словарного фонда литературного языка за время перестройки советского общества. (Нормативные, толковые словари строго не выдерживают принципа синхронной экспозиции. Отражая актуальный лексический репертуар, они приводят и некоторое количество некодифицированных слов и словоформ с пометами, предостерегающими от их употребления, а также включают в свой состав лексику устарелую, архаичную, наиболее часто встречающуюся в произведениях классической литературы, что содействует пониманию старинных текстов, которые входят в круг чтения литературно образованных людей.) Большая подвижность лексемного уровня структуры языка весьма суживает временные рамки собственно синхронного изучения словарного состава и его лексикографического описания.

¹² Х. К а с а р е с, указ. соч., стр. 276.

¹³ Л. В. Щ е р б а, указ. соч., стр. 55.

¹⁴ Там же.

8. Естественно, что столь обширному лексикографическому предпринятию — составлению «Словаря русского языка XVIII века» предшествовала серьезная подготовительная работа в виде «ряда специальных историко-лексикологических исследований языка» данного периода, проведенных большинством членов авторского коллектива. Работы эти перечислены в «Предисловии» к Проекту Словаря. Вероятно, были учтены и другие лингвистические труды, посвященные изучению того же объекта, и не только отечественные, но и зарубежные¹⁵.

9. Некоторые из теоретических положений, выдвинутых в Проекте и нацеленных на обобщение результатов или обоснование приемов лексикографической практики, можно назвать «дискуссионными». Но, по-видимому, предметом дискуссии будут не столько принципиальные расхождения в интерпретациях научных проблем, сколько формулировки отдельных лингвистических понятий.

9.1. Многочисленные в рассматриваемом труде научные обобщения построены на эмпирических свидетельствах и подсказаны отличным знанием языковой действительности XVIII в. Трудности же лексикографического описания этого объекта объясняются прежде всего сосуществованием в данное время двух генетически различных типов языков, их взаимодействием и взаимопроникновением, проявляющихся в разножанровых письменных и литературных источниках, в речевой деятельности разных социальных групп и литературных школ. Это был сложный, противоречивый, насыщенный столкновениями различных нормализаторских тенденций, и довольно длительный период становления литературно-языковых норм.

9.2. Проектом поставлена задача с наибольшей полнотой показать в Словаре «реально воспроизводимые единицы лексического состава языка, чтобы отразить объективно его с и с т е м н о с т ь» (разрядка наша. — Р. Г.) (стр. 28), представить в рамках намеченного периода «типические отношения отдельных элементов лексической системы» (стр. 5), определить «явления, характеризующие систему русского языка... в целом» (разрядка наша. — Р. Г.) (стр. 9). Вместе с тем указывается на «неоднозначность» понятия языковой системы XVIII в. «по отношению к разным типам, жанрам, стилям языка этого времени...» (стр. 93—94).

9.2.1. Всякая система есть упорядоченная организация множества элементов, образующих определенную целостность. Но не всякая целостность является системой; истории науки известно суммативное понимание целостности (Ф. Бэкон, Дж. Локк). Спрашивается, будут ли плодотворными поиски «явлений, характеризующих систему русского языка в целом», если становление его норм было не только длительным, но и насыщенным столкновениями, контаминациями генетически различных языковых источников и если в пределах одного изучаемого периода существовали разные стадии или этапы его исторического развития? Имеется в виду сохранение в первой трети XVIII в. унаследованных от XVII в. «характерных особенностей двуязычия», расхождения между народно-разговорной и письменной речью, две различные письменные традиции — два типа письменно-литературного языка — книжно-словенского и русского, а также «множественность узусов словоупотребления».

¹⁵ См., например: W. Cristiani, Über das Eindringen von Fremdwörtern in die russische Schriftsprache des XVII—XVIII Jahrhunderts, Berlin, 1906; или: G. Hüttl-Worth, Die Bereicherung des russischen Wortschatzes im XVIII Jahrhundert, Wien, 1956; также некоторые другие работы в области лексикологии, перечисленные Б. Унбегауном (B. Unbegaun, A Bibliographical guide to the Russian language, Oxford, 1953).

9.2.2. Знаменательно, что составители словаря, вероятно, предвидя вопросы научной критики, отводят возникающие у нее сомнения по поводу единства «состояния» и системного характера русского литературного языка этого переходного периода и предлагают условную, исторически конкретизированную трактовку рассматриваемых лингвистических феноменов. В Проекте утверждается, что «язык русской литературы и письменности XVIII в. ... не может быть признан языковой системой, вполне подобной той, которая отчетливо выявляется в период окончательного сложения национальной нормы литературного языка» (стр. 8). Язык этого столетия характеризуется как «некоторая условная языковая общность... результат совмещения различных языковых образований...» (стр. 50, см. также стр. 9). Он даже не заслуживает названия «литературного языка в современном его понимании» из-за отсутствия «строго регламентированной совокупности норм» (стр. 7) и «надежных оснований для оценки сочетания в отношении его нормативности — ненормативности» (стр. 94), а прежде всего потому, что на протяжении века, как уже отмечалось выше, существовали разные типы языка, стили (система «трех пгилей») — в 40—70-е годы, слог (старый и новый) — в 80—90-е годы (стр. 66).

9.2.3. К бурным процессам, протекавшим в русском языке XVIII в., хорошо приложимо сделанное А. Сеше сравнение лексики с полем битвы. Но борьба, столкновения, конкуренция, победы и поражения не замыкались пределами лексики, а охватывали в тот же отрезок времени другие структурные уровни языка и целые «письменно-языковые типы», формируя «новые стили языкового выражения» (стр. 5—6) и проч. И здесь в плане полемическом было бы важно подчеркнуть, что «недостаточное внутреннее единство системы», отмеченное авторами Проекта как отличительный признак языка XVIII в., этой «условной языковой общности», и уяснимое при сопоставлении языка начала с языком конца того же столетия, дает повод не к утверждению реальности существования единой языковой системы, а, скорее, к отрицанию ее бытия. Близкую мысль высказывал Б. А. Лария, заявлявший в «Проекте древнерусского словаря» о намерении составителей показать в этом лексиконе, «что русский язык XV—XVIII вв. не представлял единой системы одного языка» и что в действительности функционировали «несколько типов литературного языка и ряд разговорных диалектов...»¹⁶.

9.2.4. Мне думается, что можно характеризовать процесс становления в XVIII в. литературно-языковой нормы не как напряженное динамическое «состояние» «системы», лишенной «внутреннего единства», а как процесс превращения своего рода конгломерата разнородных лингвистических образований в системную организацию с присущими ей отношениями взаимосвязи и взаимообусловленности всех компонентов целостной структуры литературного языка с его кодифицированными нормами.

9.3. Никто не сомневается, что словарь, построенный по алфавитному принципу, который иногда называют «организованным беспорядком» (Х. Касарес), не приспособлен для демонстрации системной упорядоченности элементов лексического уровня, пребывающих в отношениях контактов и оппозиций. «Азбучный порядок» необходим, по мнению Я. Грота, для справочного пособия только потому, что он содействует легкости отыскания каждого слова. Но, разумеется, он не моделирует лексическую систему¹⁷. Словник же, расположенный в алфавитной последовательно-

¹⁶ Б. А. Л а р и я, Проект древнерусского словаря (Принципы, инструкции, источники), М.—Л., 1936, стр. 13.

¹⁷ К. В а л д и н г е р, Die Gestaltung des wissenschaftlichen Wörterbuchs. Historische Betrachtungen zum neuen Begriffssystem von Hallig und Wartburg..., «Romanisches Jahrbuch», 5, 1952. Предполагается, что «спуск слова в алфавитном словаре моде-

сти, позволяет создать лишь самое общее представление о словарном репертуаре, зарегистрированном письменными источниками на протяжении XVIII в. Чрезвычайно большая лабильность этого объекта лексикографической обработки серьезно препятствует собственно синхроническому его описанию. «Моментальный снимок» отразит всего лишь одну из кратчайших стадий или фаз исторического развития лексики: диахронно можно трактовать как последовательную смену синхронных состояний.

9.3.1. Общие для языка XVIII в. явления, вызванные факторами внутриязыковыми и экстралингвистическими, не дают достаточных оснований для того, чтобы синхронический метод описания рекомендовать как направляющий лексикографическую практику авторского коллектива: черты общности установимы и при наблюдениях над данным языком на протяжении многих столетий, что к идее синхронии не имеет никакого отношения.

9.3.2. Мне не кажется убедительной формулировка, в которой декларированы принципы составления исторического словаря как «совмещение... принципов синхронного с элементами диахронического описания» (стр. 27). Первый представлен основным, а второй — дополнительным. Но как раз диахроническое описание создает жанровую специфику исторического словаря. И оно превосходно применяется авторами в их же опыте подбора и компоновки материала «пробных словарных статей», построенных по гнездовому методу. Здесь рассматривается динамика употребительности слова — отмечается время появления слова, варианта (ранняя фиксация), нарастание, сокращение его употребительности и выхода слова (варианта) из состава актуальной лексики, а также изменения стилистической окраски, социально-территориального ареала и проч.

9.3.3. В историческом словаре ценны хронологически документированные указания на сочетательные возможности слова с «набором распространителей». Одни сохранились до нашего времени, другие остались достоянием языка XVII в. (ср. *натуральная гора, ров, фонтан, камень* и др.; распространители — синонимы типа: *тень бросать, отбрасывать, кидать, метать*; строки сочетаний с распространителями, относящимися к одной теме, типа: *тень густая, длинная, мрачная*, и др.)¹⁸.

9.3.4. Таким образом, некоторые фрагменты системной организации лексики (синонимические связи слов, антонимические параллели, разные виды варьирования слов, парадигматические формы, синтагматические отношения) найдет отражение в словарных статьях.

Если лексикология имеет дело с более или менее исчерпывающей совокупностью фактического материала из фонологической, морфологической и стилистической областей языка¹⁹ (Б. Тринка), то лексикография (в чем легко убедиться при просмотре Проекта словаря языка XVIII века), лексикографический труд может охватывать, кроме того, и некоторые области прикладной лингвистики (см., например, гл. IX Проекта). Но во всяком случае лексикон не претендует на реалистический показ лексической системы in concreto. Поэтому нельзя наивно-прямолинейно осмыслять высказы-

лирует поиск его в памяти при восприятии текста» (А. Е. Супрун, Лекции по языковедению, Минск, 1971, стр. 52).

¹⁸ О пользе лексикона, в котором приводятся слова со всеми возможными их сочетаниями (*пчела — летает, собирает мед, порхает с цветка на цветок, летает над цветущей долиной* и проч.), упоминал ученик Гастона Париса Реми де Гурмон как о труде, выделенном на борьбу с клише и на развитие чувства красоты языка (R. de Sointon, Esthétique de la langue française, Paris, 1899, стр. 288—289).

¹⁹ См.: Б. Тринка и др., К дискуссии по вопросам структурализма, ВЯ, 1957, 3. См. также: S. Jäger, Sprachnorm und Schülersprache, «Sprache der Gegenwart...», стр. 216.

зывают Ф. де Соссюра, утверждавшего, что графические средства объективации языкового материала дают возможность «фиксировать» явления языка, позволяют «сделать словарь и грамматику верным изображением его»²⁰.

9.4. «Состояние» русского языка создается не только «общностью характеристик и внутренних связей между отдельными его элементами» (стр. 8), но в границах века уясняется из тех интенсивных изменений — перестроек, смещений и трансформаций, приобретений и утрат, о которых в разных главах Проекта пишут его составители. Кажется, в понятие «состояние» здесь вложен смысл, несколько отличающийся от значения, какое имеет термин «языковое состояние»: обычно он служит не для обозначения динамики, движения во времени, а связывается со статичностью, условно постулируемой, поскольку реально существует динамическая синхрония. При синхроническом методе изучения языка она дает о себе знать не в таких бурно протекающих процессах, о которых здесь шла речь, а всего лишь в тенденциях к изменениям — усилении активности некоторыми компонентами или в снижении употребительности — симптоме предстоящего их выхода за пределы данного синхронного состояния.

9.5. Речевая употребительность слова понимается как его функционирование, ограниченное «кругом определенных контекстов и конституций, отражаемых в определенной совокупности текстов данного времени», причем такая связность или ограниченность, как утверждают, «зависит не только от собственного значения слова, но и от его коннотативных свойств» (стр. 107). В термин «коннотативный» вложен не обычный смысл — «обозначающий отличительные признаки предмета в самом его названии, наименовании», но он употреблен как идентичный термину «коннотация» («коннотационный»). Вопрос же о том, какие элементарные семантические единицы следует считать денотативными, а какие причислять к коннотациям, решается в зависимости от проведения демаркационных линий между категориями «предметно-логическими и коннотационно-стилистическими»²¹.

9.6. Основные и дополнительные «пометы стилистического плана» разработаны с большой полнотой и тщательностью. Мне хотелось бы сделать одно замечание о пометах, указывающих «на характер экспрессивно-эмоциональной оценки предметов и явлений, содержащейся в слове» (стр. 114). Некоторые из «экспрессивно-оценочных» ремарок бывают излишними, ничего не прибавляющими к определению значения лексической единицы. Так ли уж необходима помета «ласкательное» при слове *голубчик*? И почему бы не включить значение ласкательности в истолкование его семантики и ситуации, в которых слово употребляется? Тогда семантическое описание приобрело бы такой вид: «Голубчик. Прост. В ласкательном обращении к мужчине». Или помета «уничтожительное» (имеющее оттенок презрительности, пренебрежительности) в словарной статье «Подстега — развратная женщина» указывает на отрицательно-оценочное отношение к объекту номинации, как будто одобрительная социально-значимая (коллективная, массовая) его оценка представляется сколько-нибудь вероятной.

10. Информационная насыщенность Словаря, отражающего язык периода становления общелитературной нормы, когда происходила напряженная борьба за выработку образцовых средств речевого выражения, увеличилась бы, если бы «справочные отделы» словарных статей включа-

²⁰ Ф. де Соссюр, Курс общей лингвистики, в кн.: «Труды по языкознанию», М., 1977, стр. 53.

²¹ Ю. М. Скребянев, Очерк теории стилистики, Горький, 1975, стр. 24.

ли в свой состав сведения о том, как оценивались слова, словоформы, грамматические конструкции, произносительные варианты самими современниками — видными писателями, публицистами, общественными и научными деятелями²². Даже те оценочные суждения, которые отражают их субъективные вкусы²³, имеют немалый интерес для лингвиста, не игнорирующего вопросы прагматики и убежденного в том, что содержание ценностных представлений социально-исторически детерминировано.

11. Строгая критика текстов направляла отбор литературно-письменных памятников для лексикографической их обработки. В частности, елизаветинская библия исключается из круга привлекаемых источников как сохраняющая «в основном формы языка старшего периода» (стр. 12). Оценка этого памятника несколько расходится с той, которую давал ему М. И. Сухомлинов, писавший, что «внимательное изучение славянского перевода библии было весьма хорошею школою для знакомства со многими особенностями языка и слога, общепринятого тогда в нашей литературе»²⁴.

12. Из будущего лексикона исключаются иностранные слова, встречающиеся только в образцах макаронической речи, характерной для отдельных лиц и жаргонов отдельных социальных групп, как в прямом отражении этих жаргонов, так и в их пародийном воспроизведении...» (стр. 23). Многие из иностранных слов, широко бытовавших в книжной и разговорной речи, не стали достоянием лексики русского языка. Но это едва ли может служить веским аргументом в пользу исключения их из словника. Макароническая речь не замыкалась пределами индивидуального употребления и функционированием в среде той социальной группы, которая была носителем светского жаргона, но отражала общие процессы, происходящие в разговорном языке, в официальном, канцелярском слоге. Это было явление, не связанное с историей книжно-литературного языка, но едва ли не узурпаторское (до крайней мере, в петровскую эпоху) и находившее свое место среди «сосуществовавших социально-групповых узусов». Впрочем, светский жаргон в двух его вариантах — с русской и французской основой — был одним из каналов, через который шло усвоение иноязычной лексики, ассимилировавшейся на почве русского языка. Негативная же сторона этого явления и его немалая социальная значимость отчетливо осознавались прогрессивной русской публицистикой и художественной литературой, объявившими борьбу с жаргоном петиметров и сделавшими его предметом пародирования и сатирического изображения. Внимание к этому источнику было бы оправдано тем, что, как писал В. В. Виноградов, «русская сатирическая и комедийная традиция XVIII в. очень ярко, хотя и криво, отражает это смешение языков. С особенной охотой она рисует искаженные профили салонных стилей, русско-французский жаргон щеголей и щеголих. Но этот язык обеднен в литературных пародиях, и новиковский „Опыт модного словаря щегольского наречия“ содержит лишь комические обрывки щегольской лексики и фразеологии. На самом же деле, к более полным и содержательным проявлениям этой светской русско-французской речи нередко был близок складывавшийся литературный язык ев-

²² Ср.: Б. С. Шварцкопф, Проблема индивидуальных и общественно-групповых оценок речи, в кн.: «Актуальные проблемы культуры речи», М., 1970.

²³ Ср., например, многие высказывания Сумарокова, направленные против «подлых» явлений речи (А. П. Сумароков, Полн. собр. соч. в стихах и прозе, X, М., 1787, стр. 86 и др.).

²⁴ М. И. Сухомлинов, История Российской Академии. Выпуск первый, сб. ОРЯС, XI, 2, 1874, стр. 58.

ропейизирующейся интеллигенции» (разрядка наша. — Р. Г.)²⁵.

«Словарная работа, — писал Л. В. Щерба, — ...требует особо тонкого восприятия языка, ...совершенно особого дарования...»²⁶. Эти требования, предъявляемые к лексикографам, продемонстрированы составителями «Проекта „Словаря русского языка XVIII в.“». Лексикографию иногда называют «искусством». И мы охотно принимаем это определение, осмысляя «искусство» как высокий уровень профессионального умения, опыта и подлинного мастерства.

²⁵ В. В. Виноградов, Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX вв., М., 1938, стр. 150.

²⁶ Л. В. Щерба, указ. соч., стр. 76.

ГЕРЦЕНБЕРГ Л. Г.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ИНДООЕВРОПЕЙСКИХ СЛОГОВЫХ АКЦЕНТОВ

1. Для восстановления индоевропейской праязыковой просодики большое значение имеет теория Ф. Ф. Фортунатова. Согласно его учению, как показал С. Д. Кацнельсон¹, в праязыке различались слоги-морфемы, закрытые долгим сонантом или согласным, и слоги-морфемы, не имевшие подобной долгой финали. Долгота могла переходить и на слогиобразующий гласный; она сохранялась во всех чередовательных ступенях; иначе говоря, эта долгота характеризовала слог в целом, была супрасегментной. В балто-славянских языках данное просодическое свойство отражалось как акут, в древнеиндийском и в древнегреческом его проявлением при сонантах являлось так называемое *schwa indogermanicum*.

Из примеров ясно, что Ф. Ф. Фортунатов исходил из балто-славянского типа, де Соссюр же ориентировал свою реконструкцию на древнеиндийские (и древнегреческие) факты². Популярность концепции де Соссюра объясняется не только значительно меньшей доступностью балто-славянского материала, но и тем, что в этих языках чередования гласных и сонантов претерпели серьезные изменения³. Редкость и пережиточность примеров, подобных приведенным (см. табл. 1), указывает на их большую древность; поэтому де Соссюр, высоко оценивший наблюдения Ф. Ф. Фортунатова, был неправ, отмечая невероятность фортуноватовской реконструкции⁴. Ясно, что просодический подход объясняет сохранение долгот в древнеиндийском, ср. будущее время *juāsyāti* и причастие *jītā-* от глагола «подавлять»; сокращение долготы в IX классе (*jināti* — 3 л. ед. ч., *jini-mah* — 1 л. мн. ч. и т. п.) подобно сокращению в первых членах композитов.

Рассматриваемая концепция, естественно, оказывается альтернативой ларингальной гипотезы, основывающейся на теории де Соссюра, и имеет перед ней ряд преимуществ. В антропофоническом отношении неясно, от чего ларингал-щелевой выпадал, после того как содержавшие его сочетания согласных облегчались путем вставки *ə⁵; возникновение анаптиксы после просодически утяжеленного слога находит аналогию при скандировании стихов по правилам арабско-персидского аруза⁶. Просодическая теория может быть соотнесена и с древнегреческими данными: имеется в виду объяснение Ф. Е. Корша — И. М. Тронского о том, что во внешне сходных последних слогах с дифтонгами циркумфлекс латентный (οἶχοι) или явный (Ἰσφχοῖ) восходят к простым праязыковым дифтонгам, в то время как акут латентный (οἶχοι) или явный (ἀγαθοῖ), где последний слог

¹ С. Д. Кацнельсон, Теория сонантов Ф. Ф. Фортунатова и ее значение в свете современных данных, ВЯ, 1954, 6.

² Ф. де Соссюр, Мемуар о первоначальной системе гласных в индоевропейских языках, в его кн.: «Труды по языковедению», М., 1977, стр. 302—562.

³ Ch r. S. S t a n g, Vergleichende Grammatik der baltischen Sprachen, Oslo, 1966, стр. 120—125.

⁴ Ф. де Соссюр, К вопросу о литовской акцентуации, в его кн.: «Труды по языковедению», стр. 605.

⁵ A. C u n y, Indo-européen et sémitique, «Revue de phonétique», 2, 1912, стр. 199—220; O. S z e m e r é n y i, La théorie des laryngales de Saussure à Kurylowicz et à Benveniste. Essai de réévaluation, BSLP, 68, fasc. 1, 1973.

⁶ См., например: П. Н. Х а н л а р и, Тахтиге энтегади дар арузе фарси, Тегеран, 1327 г. с.х. (1948).

Таблица 1

Реконструкция Ф. Ф. Фортунатова и С. Д. Кацнельсона		Долготные корни		Краткостные корни		
		полная ступень °eL	ступень редукции °L̄ °L̄	полная ступень °eL	ступень редукции °L̄ °L̄	
примеры корней	1	в балтийском	литов. <i>dėlna</i> «ладовь»	литов. <i>dīle</i> «пацильняк»	литов. <i>smėlis</i> «песок»	литов. <i>smīlys</i> «песок»
		в древнеиндийском	др.-инд. <i>darīman-</i> «разрушение»	др.-инд. <i>dīrná-</i> «расщепленный»	др.-инд. <i>malvá-</i> «глупец»	др.-инд. <i>mṛdhāti</i> «оставлять»
	2	в балтийском	латыш. <i>svēlme</i> «зной»	латыш. <i>svīlis</i> «жар»	литов. <i>švāly</i> «ловкий»	литов. <i>izvīlas</i> «косой»
		в древнеиндийском	др.-инд. <i>svarīta-</i> «звучащий»	др.-инд. <i>sūrya-</i> «солнце»	др.-инд. <i>hvārate</i> «гнется»	др.-инд. <i>hvṛtā-</i> «согнутый»
	3	в балтийском	латыш. <i>peļdēt</i> «купаться»	литов. <i>pūnas</i> «голый»	литов. <i>įtelžti</i> «вливать»	литов. <i>tuļžti</i> «отсыревать»
		в древнеиндийском	др.-инд. <i>pūrītán-</i> «полнота»	др.-инд. <i>pūrṇá-</i> «полный»	др.-инд. <i>tatarha</i> «разбросал»	др.-инд. <i>tṛṣhā-</i> «разбросанный»
Реконструкция де Соссюра		°eLə	°L̄ < °Lə	°eL	°L̄	
		долготные корни		краткостные корни		

трактуются как краткий, одноморный, восходят к сильноконечным дифтонгам, в которых глайд подвергся консонантизации под влиянием сильного акцента⁷.

Фонологически фортуноватский подход тоже предпочтительнее ларингалстического. На то, что различие двух типов слогов было признаковым, а не измерялось целой фонемой, указывают нейтрализации. Одна из слабых позиций — положение перед гласным: здесь — сходное отражение, например, в др.-инд. *prathah* «широкий» (корень **pleth-*) и др.-греч. ἐχών «говорящий» (корень **çek-*) при различии в сильной позиции перед согласным, др.-инд. *prathiman-* (корень **pleth-* или **plét-*) и *vásmi* «говорю» (корень **çek-*). Если нейтрализация перед гласным являлась выражением тенденции к консолидации слова, то эту же функцию еще более отчетливо

⁷ И. М. Тронский, Древнегреческое ударение, М. — Л., 1962, стр. 55, 135; ср.: P. K i r a g s k y, The Inflectional accent in Indo-European, «Language», 49, 1973, стр. 804—805.

воплощала нейтрализация в композитах⁹: ср. др.-инд. *sūti-* «роды» или *kīrti-* «слава», но *sūsi-* «легкие роды» и *carḥṭi-* «слава».

Различие между просодическим подходом Ф. Ф. Фортунатова — С. Д. Кацнельсона и ларингальной гипотезой не столь велико, если учитывать напоминовение Бенвениста о том, что «ларингалы», в сущности, являются лишь «алгебраическими» единицами⁹. На просодическую природу ларингала указывала в свое время Э. Майрхофер-Пасслер¹⁰; вывод Т. В. Гамкрелидзе о фарингальном характере тоже согласуется с данной концепцией¹¹. Фонетическая реализация ларингального признака лежала в диапазоне от фарингализации слога до гортанной смычки.

2. Среди не нашедших общепризнанного фонетического объяснения явлений в индоевропейских языках — чередования звонких и звонких придыхательных согласных¹²; эти чередования делятся на два разряда. Во-первых, не имеющие закономерного распределения по группам языков, засвидетельствованные иногда для одного и того же языка:

- **gh* (др.-инд. *mahant-*) // **g* (др.-инд. *majman-*, др.-гр. μέγας),
- **gh-* (др.-инд. *hanu-*) // **g-* (др.-греч. γένος, гот. *kinpus*).
- **gh^h* (др.-греч. νάρδος) // **g^h* (др.-греч. ἀήν, лат. *inguen*),
- **dh* (др.-греч. θύρα) // **d* (др.-инд. *dvār-*, *dur-*),
- **bh* (др.-инд. *ambhas-*) // **b* (др.-инд. *ambu-*, арм. *amp*).

Во-вторых, совпадение звонких со звонкими придыхательными в р я д е в е т в е й, например, в балто-славянском и в албанском. Если учесть ларингалистические теории, объяснявшие факты первого разряда чередований¹³, и следовать вытекающей из концепции Фортунатова — Кацнельсона необходимости рассматривать ларингальность как исконный просодический признак, то напрашивается сопоставление слоговых акцентов, например, в балто-славянском, не знающем придыхательности, с придыхательностью, характерной, например, для консонантизма в древнеиндийском, где, напротив, нет фонологических слоговых интонаций. Историческая связь придыхательности с тонами хорошо прослеживается в индоарийских языках. Наиболее известны пенджабские факты¹⁴: др.-инд. # *DHV* > пендж. # *ṬV* и др.-инд. ... *VDH* > пендж... *ṂD*. Переходный

⁹ F. V. J. Kuiper, Zur kompositionellen Kürzung im Sanskrit, «Die Sprache», III, 1961.

⁹ E. Benveniste, Hittite et indo-européen, Paris, 1962, стр. 10.

¹⁰ E. Mayrhofer-Passler, Der indogermanische Ablaut als funktionelles Element, «Revue des études indoeuropéennes», IV, 1947; в е ж е, Der Quantitäts-Ablaut in den idg. Sprachen, в кн.: «Studien zur idg. Grundsprache», Wien, 1952, стр. 15—22.

¹¹ Т. В. Гамкрелидзе, Хеттский язык и ларингальная теория, «Труды Ин-та языкознания Грузинской ССР», III, Тбилиси, 1960, стр. 86. Хетт. -h- можно рассматривать как орализацию признака, h- в начале слова как смещенный для прикрытия слога орализованный признак (ср.: В я ч. В. И в а н о в, Общепросодическая, праславянская и анатолийская языковые системы, М., 1965, стр. 11—13). Особенно важно соответствие хетт. *hulana-* ~ др.-инд. *áṛnā* (и.е. **h^hrnā*).

¹² К. В г у г ш а н н, Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen, I, Strassburg, 1897, стр. 633—634; М. B a r t o l i, Le sonore aspirate e le sonore assordite dell'ario-europeo e l'accordo loro col ritmo, «Archivio glottologico italiano», XXII—XXIII, 1929.

¹³ A. E r h a r t, Zum IE. Wechsel «Media: Media aspirata», «Sborník prací filosofické fakulty Brněnské university», ročn. 5, č. 4, R (A), 1954. Для относительной хронологии важны гетероклитические чередования по второму закону Петерсона (**nēgh^h-g^h*: **g^h-nes*), указывающие также на связь данных альтернатив со слоговой позицией; см.: Н. P e t e r s s o n, Studien über die indogermanische Heteroklise, Lund, 1921, стр. 15—16.

¹⁴ J. B l o c h, L'intonation en Penjabi. Une variante asiatique de la loi de Verner, «Mélanges Vendryes», Paris, 1925, стр. 57—67; С а н д у Б а л б и р С и н г, Фонетика языка пенджаби. АДД, Л., 1971.

характер имеют гуджратские слоги, в которых придыхательность близка к просодическому признаку¹⁵. Чрезвычайно интересны восточноебенгальские диалекты, где «утрачена» корреляция придыхательности, вместо которой наблюдается гортанная смычка¹⁶. Если исходить из традиционной модели древнеиндийского с придыхательными согласными и восстанавливать для индоевропейского сохраняющиеся в балто-славянском слоговые акценты, то развитие от общеиндоевропейского к древнеиндийскому должно было протекать в направлении, противоположном развитию от древнеиндийского, например, к пенджабскому. В действительности исторические судьбы рассматриваемого признака не были столь просты; возрастающие сведения о древнеиндийском диалектном многообразии ставят вопрос о существенных различиях известных форм древнеиндийского и требующего реконструкции праиндоарийского, — пенджабские или восточноебенгальские явления могут быть более древними, чем сопоставимые с ними факты в хинди и в санскрите¹⁷.

Окончательному распределению ларингального признака на слоговой (балто-славянская ветвь, сохраняющая по теории Фортунатова — Кацнельсона праязыковые отношения) и консонантный (древнеиндийская инновация) уровни, т. е. формированию новых языковых типов предшествовали колебания, возможно, говорные, в самом праязыке. Они и отражаются в реконструируемых чередованиях звонких и звонких придыхательных. Примечательно, что в целом ряде случаев в эти чередования вовлечена долгота гласного:

* *uredh-* (др.-греч. ῥέθος «тело») // **urād-* (др.-греч. ῥᾶδιξ «корень»),

* *stegh-* (στέγνυτες ... τὰ ἄκρα τῶν ὀνύχων) // **dhāg-* (θηγύν' οἱ δε δέξο ...),

* *jagh-* (др.-в.-нем. jagōn «охотиться») // **jēg^h* (др.-греч. ἡβη «мужественность»).

Эти примеры, где «долгота» = «ларингальность» (фарингальность) = акутированность (и даже — наличие толчка), могут служить для внутренней реконструкции и отнесения просодического качества к более архаическому слою, консонантной же придыхательности — к более позднему; так подтверждается восстановление слоговых акцентов для праязыкового состояния, столь древнего, что оказались утраченными, например, элементарные соответствия древнеиндийских придыхательных и балто-славянских акутов; сохранилось лишь соответствие двух фонологических систем, могут быть найдены примеры реликтовых чередований.

Реконструкция акцентной оппозиции и лишь двух рядов взрывных (звонких и глухих) для праязыка требует объяснения фактов древнегреческого языка с тремя рядами взрывных (в том числе, с придыхательными) и одновременно со слоговыми акцентами. Прежде всего важно, что в греческом ограничено как распределение придыхательных в слове (по закону Грассмана), так и размещение «ударений» (три последних слога в слове). В поисках точных закономерностей следует обратиться к выделенному Е. Куриловичем и И. М. Тронским в греческом слове конечному ансамблю¹⁸ и противопоставить ему предшествующую часть слова — начальный ансамбль. Тогда выясняется, что в конечном ансамбле ларингальный признак сохраняется на просодическом уровне, образуя слоговые акценты, и не делает придыхательным закрывающий согласный. Бла-

¹⁵ Г. А. Зограф, Индоарийские языки, в кн.: «Языки Азии и Африки», М., 1976, стр. 154, 173—174; Т. Я. Елизаренкова, Исследования по диахронической фонологии индоарийских языков, М., 1974, стр. 180.

¹⁶ Г. А. Зограф, укав. соч., стр. 154—155.

¹⁷ Идея Б. С. Сауду, высказанная в личной беседе.

¹⁸ И. М. Тронский, Древнегреческое ударение, стр. 52—56.

годаря этому в конце слова сохраняется [s], не переходящее в [h]. В начальном ансамбле, напротив, слоговых акцентов нет, закрывающий его согласный может быть придыхательным, [s] > [h]. Положение, противоположное древнегреческому, в древнеиранском: нет ни слоговых акцентов, ни придыхательных согласных. Хотя древнеиранские материалы ограничены и интерпретация письма представляет серьезную филологическую проблему¹⁹, можно полагать, что ларингальный признак здесь сместился к гласным, что привело и к отсутствию schwa и к усилению спонтанных долгот: др.-инд. *dádhati:-dhítáh* «ставить» соответствует авест. *dadaiti: aíta-* (ср. литов. *dėtas*). Параллель такому развитию находим в сингальском²⁰, где при отсутствии придыхательных известно тотальное противопоставление гласных по долготе, в то время как в других новоиндоарийских языках ряд гласных выпадает из этой оппозиции, различающиеся же по долготе гласные одновременно обладают заметными качественными различиями.

Предложение видеть в звонких придыхательных сместившийся с супрасегментного уровня ларингальный признак требует рассмотрения звонких придыхательных и в начале слога-морфемы, в начале корня. В составленном Девото списке основных индоевропейских корней²¹ только два простых (по Бенвенисту, без сонанта между взрывными и т. п.) корня имеют по два придыхательных: **dhegh^h*- и **ghebh-*. Два звонких придыхательных реконструировались здесь лишь на основании германского: новооткрытые С. Д. Кацнельсоном чередования согласных в германском²² отменяют обязательность такой реконструкции. Тогда можно считать, что присоединение ларингального согласного к начальному или конечному согласному определялось комбинаторно. В тех языках, где ларингальность в сочетании с согласными образовывала придыхательные согласные, с сонантами она давала schwa; существенно, что нет корней с двумя schwa, это — косвенное подтверждение того, что ларингальность первоначально была только различительным признаком, как это следует из теории Ф. Ф. Фортунатова.

3. Наряду с признаком ларингальности в настоящее время для языка необходимо восстанавливать еще один просодический признак. Этого требуют согласующиеся между собой исследования С. Д. Кацнельсона в области германской акцентологии и работы В. А. Дыбо, исследовавшего генезис балто-славянских акцентов²³. Восстановив для прагерманского одновершинный и двухвершинный слоговые акценты (а также — резкий и плавный), С. Д. Кацнельсон делает важное открытие о том, что закон Вернера — лишь фрагмент древних чередований согласных в за-

¹ K. Hoffmann, *Altiranisch*, в его кн.: «Aufsätze zur Indoiranistik», Wiesbaden, 1975; его же, *Zum Zeicheninventar der Avesta-Schrift*, там же; его же, *Zur altpersischen Schrift*, там же.

²⁰ Т. Я. Елизарикова, указ. соч., стр. 177, 266. Иранские параллели позволяют и в сингальском видеть следствие внутреннего системного развития, а не тамильского влияния. В. В. Выхухолов, по-видимому, опираясь на письмо, приводит среди фонем и придыхательные, хотя в примерах они реально не встречаются («Сингальский язык», в кн.: «Языки Азии и Африки», М., 1976, стр. 271—282). На отсутствие придыхательных согласных в сингальском указывал уже Р. Тэрнер (R. L. Turner, *Gujarati phonology*, в его кн.: «Collected papers», London, 1975, стр. 118; первое издание этой работы вышло в 1921 г.).

²¹ G. Devoto, *Origini indoeuropee*, Firenze, 1962, стр. 515—521.

²² С. Д. Кацнельсон, *Сравнительная акцентология германских языков*, М.—Л., 1966.

²³ В. А. Дыбо, *Акцентология и словообразование в славянском*, «Славянское языкознание. VI Международный съезд славистов. Доклады советской делегации», М., 1968, стр. 148—224; его же, *Балто-славянская акцентная система с типологической точки зрения и проблема реконструкции индоевропейского акцента*, «Кузнецовские чтения», М., 1973, стр. 8—10.

висимости от чередований слоговых акцентов»²⁴. Чередование щелевых в гот. *þarf* «я нуждаюсь», мн. ч. *þairbit* отражает различие периферийной и центральной акцентуации. Сильный вариант щелевого соответствует усилению третьей моры под воздействием периферийного акцента, а слабый вариант — ослаблению той же моры под воздействием центрального акцента. Такое толкование делает излишним предположение о длительном существовании индоевропейского подвижного ударения в протогерманском. В. А. Дыбо выделяет для балто-славянского доминирующие («притягивающие» ударение) и рецессивные («отталкивающие» ударение налево) морфемы, определяет правило, согласно которому «ударение ставится в начале первой последовательности морфем высшей валентности», т. е. «соединения морфем одинаковой „валентности“ получают ударение на первой доминирующей морфеме»²⁵. Очень значительна мысль В. А. Дыбо о том, что «системе морфонологических просодических типов предшествовала система фонологических просодических типов, то есть система тонов». Напротив, пытаться возводить «нередуцированные» парадигматические акцентные системы к «редуцированным» типа ведийской вряд ли целесообразно, тем более, что В. А. Дыбо высказал блестящую мысль о происхождении ведийско-греческой окситонезы из балто-славянской подвижности путем окситонирования энклиноменов²⁶, чрезвычайно правдоподобного процесса, объяснимого одновременно внутрипарадигматическим акцентным выравниванием и межпарадигматической поляризацией акцентных колонн.

Реконструкции С. Д. Кацнельсона и В. А. Дыбо конгруэнтны. Морфемы-слоги с двухвершинным акцентом соответствуют доминирующим морфемам, морфемы-слоги с одновершинным акцентом — рецессивным. На этом основании для праязыка следует восстановить сильный (Ш) и слабый (Л) акценты, различавшиеся, как можно предполагать, признаком напряженности. Тогда, с одной стороны, опираясь на предложенное С. Д. Кацнельсоном толкование закона Вернера, можно объяснить происхождение германских согласных, а с другой стороны, исходя из открытой В. А. Дыбо акцентной иерархии морфем, вывести балто-славянскую акцентуацию. Праязыковой сильный (двухвершинный, доминирующий) акцент первого слога объясняет глухой согласный в конце первого слога в гот. *swistar*, др.-англ. *swestor*, равно как и баритонезу ст.-литов. *sėsuo* (с переходом в славянскую окситонезу: русск. *сестра*). Для индоевропейского следует реконструировать **swēsōr*. Так же объясняется, например, отношение литовских слов *ašvā* «лошадь», *vietà* «место», *rātas* «колесо» (слова 2-й акцентной парадигмы), *gūltas* «место отдыха животных», *rāišas* «искривленный» (1-я акцентная парадигма) к герм. **ehwas* > др.-англ. *eah*, **waiþō* > др.-англ. *wāþ*, **raþa* > др.-в.-нем. *rad*, **kulþaz* > др.-швед. *kolder*, **wraihaz* > др.-англ. *wrāh*.

С другой стороны, исходный слабый (одновершинный, рецессивный) акцент закономерно связывает озвоченный -s- и в др.-англ. *sēar* «сухой» с подвижностью акцентной парадигмы русск. *сух*, *пóсуху*, *сухá* или литов.

²⁴ К толкованию закона Вернера, выдвинутому С. Д. Кацнельсоном, весьма положительно отнеслись Г. Лерхнер (G. L e r c h n e r, Zur II Lautverschiebung im Rheinisch-Westmitteldeutschen, «Diachronische und diatopische Untersuchungen», Halle/Saale, 1971, стр. 103—119) и Э. Рот (E. R o t h, Das Vernersche Gesetz in Forschung und Lehre, Lund, 1974, стр. 76—78, 118—120).

²⁵ В. А. Дыбо, Балто-славянская акцентная система, стр. 9—10. К очень близким выводам пришел П. Кипарский (P. K i p a r s k y, указ. соч., примеч. 7) путем анализа акцентных парадигм древнеиндийского, древнегреческого и литовского глагола и имени.

²⁶ В. А. Дыбо, Балто-славянская акцентная система, стр. 10.

saūsas (4-я акцентная парадигма); здесь необходимо восстанавливать и.-е. **sōysōs*. Так же соотносятся, например, литов. *lentā* «доска», *tautā* «назад», *sakā* «сказание», *gaupai* «оспа» (все они относятся к 4-й акцентной парадигме) или слав. **gāxъ* «движение» (ср. чеш. *guch*) и **dāxъ* «дыхание» (ср. серб.-хорв. *dāh*; оба слова — подвижной акцентной парадигмы) с герм. **lindō* «липа» > др.-англ. *lind*, **þeudā* > др.-англ. *þeod*, **sa3-ō* > др.-англ. *saġō*, **rauhaz* > др.-в.-нем. *roub*, **rauzaz* > др.-сканд. *geygt* «куча (каменной)», **þeuzza* > др.-англ. *dēor*, др.-в.-нем. *tior*.

Сходное явление для хеттского языка открыл Эйхнер²⁷. Ему удалось установить, что удвоенное написание согласного (во всяком случае, сонанта и *h*) встречается в соседстве с «исконно ударным» кратким гласным; неударное написание — либо между двумя «исконно неударными» краткими гласными, либо в соседстве с долгим гласным, «ударным» или «безударным». Поскольку балто-славянские и германские факты ведут к восстановлению не разноместного словесного ударения, а лишь могущих трансформироваться в такое словесное ударение слоговых акцентов, то хеттские удвоенные написания можно наиболее естественным путем истолковывать как отображения подобных германским сильным согласных, которые возникли под воздействием сильных (двухвершинных, сильноконечных) акцентов. С такой точки зрения можно сопоставить хетт. *aššy* и гот. *iuziza* (оба из и.-е. *(*u*)*šs-* «хорошо»); хетт. *uidandanni* и др.-сканд. *veđr* (ср. др.-инд. *vatsā-*) из и.-е. **uēt-* «год». Известны в хеттском и чередования глагольных форм: *zekun* < **uē* | *kū* (1-е лицо ед. ч. инфинитива), но *zekkanzi* < *(*uē*^k | *kū*^{ti}), от *zek-* «спросить», ср. др.-инд. *vaśmi* : *uśmasi*; они параллельны германским чередованиям типа др.-англ. *ceosan* : *ciron* «выбирать». Для хеттского известен еще целый ряд примеров, этимологически несопоставимых с германским, но воплощающих ту же праязыковую закономерность, например, *mekki* «много» ~ др.-инд. *māhi* (и.-е. **mēghi-*); *lammar* «час» ~ литов. *laūma* (1-я акцентная парадигма), др.-греч. *λόμος* (и.-е. **nēm-* «Zuteilen»); *iššaš* «рот» (род. пад.) ~ литов. *ūosta* (1-я акцентная парадигма), др.-инд. *oṣṭhah* (и.-е. **ōus-* : *(*ō*)*u*-); напротив, *nebešaš* «небо» (род. пад.) ~ литов. *debesis* (3-я акцентная парадигма), др.-инд. *abhrāh* (и.-е. **nēbh*), *vedenaš* «вода» (род. пад.) ~ литов. *vanduo* (3-я акцентная парадигма), др.-инд. род. пад. *udnāh* (и.-е. **uēd-*), *labarnaš* «царь» ~ литов. *dabnūs*, *dabšnūs* (3 или 4-я акцентная парадигма), дат. *faber* (и.-е. **dhāb-*).

4. Реконструкция сильных и слабых акцентов находит поддержку и в акцентно-аблаутной реконструкции²⁸. Для корневых имен установлено два типа. В первом из них — номинатив со ступенью *-ō-*, генитив со ступенью *-e-* в корне и нулевой ступенью в окончании *R(e)d* (*θ*), например, **g^oo*ц : **g^eo*ц-*s* или **dōm* : **dem*-*s*. Второй тип имеет номинатив со ступенью *-e-*, генитив с нулевой ступенью в корне и ступенью *-o-* в окончании — *R(θ)d(o)*, например, **k^osēp* : **k^osp*-*os* или **gh^orēn* : **gh^orn*-*os*. Эти типы без труда выводятся из сочетания генитивного (и других «слабых» падежей) окончания с сильным акцентом (*-*ōs*) и корней с сильным акцентом (первый тип) и слабым акцентом (второй тип).

Для слов тернарной структуры (корень, суффикс, окончание: *RSd*) действует правило, основанное на счете всех вершин слоговых акцентов

²⁷ Н. Е и ч н е р, Die Etymologie von heth. *mehur*, «Münchener sprachwissenschaftliche Studien», 31, 1973.

²⁸ Ср.: J. T i s c h l e r, Zum Wurzelsystem im Indogermanischen, «Münchener sprachwissenschaftliche Studien», Hf. 35, 1976; Л. Герценберг, [рец. на кн.:] «Flexion und Wortbildung», ВЯ, 1977, 2.

Таблица 2

Типы	Схема сдвига слогового ударения	Примеры	
		реконструкция	засвидетельствованные формы
I	$\underline{R} (\overset{\perp}{\quad}) S (\overset{\perp}{\quad}) + d \rightarrow$ $\underline{\overline{R (\overset{\perp}{\quad})}} \underline{\overline{S (\overset{\perp}{\quad})}} d$	* $\overset{\perp}{d}\overset{\perp}{\acute{o}}\overset{\perp}{t}\overset{\perp}{\acute{o}}r$	др.-инд. <i>dātā</i>
		* $\overset{\perp}{d}\overset{\perp}{\acute{o}}\overset{\perp}{i}\overset{\perp}{r}s$	др.-инд. <i>dātur</i>
II	$\underline{R (\overset{\perp}{\quad})} S (\overset{\perp}{\quad}) + d \rightarrow$ $\underline{R (\overset{\perp}{\quad})} \underline{S (\overset{\perp}{\quad})} \underline{d}$	* $\overset{\perp}{\mu}\overset{\perp}{\acute{e}}\overset{\perp}{\acute{o}}\overset{\perp}{\acute{n}}\overset{\perp}{t}$	др.-греч. <i>ékōnta</i>
		* $\overset{\perp}{u}\overset{\perp}{\acute{k}}\overset{\perp}{\acute{n}}\overset{\perp}{t}e\overset{\perp}{s}$	др.-инд. <i>uśātāb</i>
III	$R (\overset{\perp}{\quad}) \underline{S (\overset{\perp}{\quad})} + d \rightarrow$ $R (\overset{\perp}{\quad}) \underline{\overline{S (\overset{\perp}{\quad})}} \underline{d}$	* $\overset{\perp}{\mu}\overset{\perp}{r}\overset{\perp}{\acute{e}}\overset{\perp}{n}$	др.-греч. <i>Farḗn</i>
		* $\overset{\perp}{\mu}\overset{\perp}{r}\overset{\perp}{n}e\overset{\perp}{s}$	др.-греч. <i>(F)ápnos</i>
IV	$\underline{R (\overset{\perp}{\quad})} \underline{S (\overset{\perp}{\quad})} + d \rightarrow$ $\underline{\overline{R (\overset{\perp}{\quad})}} \underline{\overline{S (\overset{\perp}{\quad})}} \underline{d}$	* $\overset{\perp}{s}\overset{\perp}{y}\overset{\perp}{\acute{a}}\overset{\perp}{d}\overset{\perp}{u}\overset{\perp}{m}$	др.-греч. <i>ḗdōn</i>
		* $\overset{\perp}{s}\overset{\perp}{y}\overset{\perp}{\acute{a}}\overset{\perp}{d}e\overset{\perp}{u}\overset{\perp}{s}$	др.-инд. <i>svādāb</i>

корня и суффикса: сильные окончания в слабых падежах притягивают окончание на две вершины направо, к себе, но словесное ударение не могло оставаться на одновершинной морфеме. Иначе говоря, ударение сдвигается с места, занимаемого им в формах сильных падежей по правилу Дыбо, в сторону акцентогенного окончания; при этом остаточное действие правила Дыбо проявлялось в том, что словесное ударение все же не могло сдвигаться направо с двухвершинной на одновершинную морфему. Тогда возможны четыре типа ²⁹ (см. табл. 2).

Объективность соотношения двухвершинной и одновершинной слоговых интонаций с четырьмя выделенными акцентно-аблаутными типами обусловлена тем, что сами эти типы выделены совершенно независимо, исходя из принципов, которые в свое время сформулировали Х. Педерсен и Ф. Кэйперс ³⁰. Важный компонент акцентно-аблаутной реконструкции — правила определения исконности ударения или апофонической ступени ³¹, связывающие засвидетельствованные формы с восстановленными и обеспечивающие возможность верификации.

5. Два просодических признака ³² — напряженность и ларингальность, в которой можно видеть прерванность, — формировали в языке

²⁹ H. R i x, *Historische Grammatik des Griechischen*, Darmstadt, 1976, стр. 123. Выделенные типы было предложено называть соответственно акросатическим, голокинетическим, гистерокинетическим и протерокинетическим (H. E i c h n e g, указ. соч.).

³⁰ H. P e d e r s e n, *La cinquième déclinaison latine*, København, 1926; F. V. J. K u i p e r s, *Notes on Vedic noun-inflection*, 's-Gravenhage, 1942.

³¹ R. S. P. B e e k e s, *The nominative of the hysterodynamic nouninflection*, *Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung*, 86, 1, 1972.

³² Р. Я к о б с о н, Г. М. Ф а н т, М. Х а л л е, Введение в анализ речи. Различительные признаки и их корреляты, сб. «Новое в лингвистике», II, М., 1962, стр. 181, 204; Р. Я к о б с о н, М. Х а л л е, Фовология и ее отношение к фонетике, там же.

четыре слоговых акцента, тона: напряженный прерывистый или резкий двухвершинный — сильный акут (˘); ненапряженный прерывистый или резкий сильноначальный — слабый акут (˘); напряженный непрерывный или плавный сильноконечный — сильный циркумфлекс (˘); ненапряженный непрерывный или плавный, ровный — слабый циркумфлекс (˘). К реконструкции четырех акцентов на итало-кельтском материале подошли В. М. Иллич-Свитыч и В. А. Дыбо³³. Огромное значение имеет и детально разработанное в трудах С. Д. Кацнельсона явление взаимодействия акцентов и согласных. Оно ведет, с учетом выявленного в ларингалистических разысканиях, к пониманию того, что данные фонологические признаки с распадом праязыка сдвигаются с просодического уровня в состав гласных или согласных. Направление и характер сдвигов определяются тенденцией к консолидации слова³⁴.

В числе дальнейших задач индоевропейской сравнительной акцентологии, исходящей из реконструкции четырех дискретных слоговых акцентов, следует указать: 1) определение движения фонологических признаков в отдельных ветвях и классификация языков на основе комплексного акцентно-фонемного критерия; 2) детальное рассмотрение взаимодействия обоих выявленных признаков между собой и с другими признаками³⁵, 3) установление связи между праязыковым акцентным строем и качественными чередованиями гласных³⁶.

³³ В. М. И л л и ч - С в и т ы ч, К истолкованию акцентуационных соответствий в кельто-италийском и балто-славянском, КСПС, 35, М., 1962; В. А. Д ы б о, Сокращение долгот в кельто-италийских языках и его значение для балто-славянской и индоевропейской акцентологии, ВСЯ, 5, М., 1961.

³⁴ И. М. Т р о н с к и й, Древнегреческое ударение, стр. 106—107.

³⁵ Данный вопрос встает в связи с выкладками Бартоли (указ. соч., примеч. 13), а также при анализе синкретизмов, например, совпадения сильного и слабого циркумфлексов в латышском.

³⁶ Эта проблема ставится очень многими исследователями, от Хирта (H. H i r t, Indogermanische Grammatik, V — Der Akzent, Heidelberg, 1929, стр. 213—214) до Гарда (P. G a r d e, Histoire de l'accentuation slave, Paris, 1976, стр. 304—306, 374—375).

АБАЕВ В. И.

ARMENO-OSSETICA

Типологические встречи *

Тема, которую можно назвать «Армено-ossetica», имеет пока весьма небольшую историю. Разумеется, в работах по сравнительной грамматике и этимологии индоевропейских языков армянские факты иногда соседствуют с фактами осетинского языка как одного из представителей иранской группы. Но это бывает не так часто и носит случайный характер. Стандартным представителем новоиранских языков считается персидский, хотя в некоторых случаях осетинские факты с точки зрения этимологической наглядности являются более показательными и выигрывающими, чем персидские.

Главное же состоит в том, что в работах такого рода трудно разглядеть какие-либо специфические, сепаратные связи между армянским и осетинским в рамках сравнительной индоевропеистики. Между тем такие сепаратные изогlossen существуют. Приведу лишь пару примеров:

Осет. *dogæ* «время» — арм. *tok* «длительность», от и.-е. **du-*, **deu-* «длиться»; удалаться».

Осет. *læzæg* «палка» — арм. *lcak* «рычаг», при греч. *λάκτις* «пест», литов. *lazdà* «палка».

Осет. *ævsati* божество охоты, сван. *Apsat' id.* — арм. *astvac* «бог». Сванское слово сопоставлялось с армянским Н. Я. Марром (осетинские факты были ему неизвестны). Он связывал их с фрако-фригийским именем бога Диониса *Sabazios*¹.

Яркие совпадения находим в заимствованной лексике. Осет. *malusæg* «подснежник» и арм. *manušak* «фиалка», оба связаны в конечном счете с перс. *banafša* «фиалка». Но осет. *malusæg* никак не могло получиться из перс. *banafša*. Оно примыкает непосредственно к арм. *manušak* и должно рассматриваться как заимствование из последнего в результате прямых контактов. Такие контакты действительно имели место в первые века нашей эры, когда предки осетин, аланы, появлялись и значительной массой оседали на территории Армении.

Эти контакты оставили яркий след в народной памяти. Армянский историк Моисей Хоренский (V в.н.э.) записал от народных певцов из провинции Гохтан в Нахичеванской области красочное предание о свадьбе армянского царя Арташеса и аланской принцессы Сатеник (осет. *Сатана*), свадьбе, на которой «лился жемчужный и золотой дождь».

Ряд лексических армяно-осетинских встреч отмечает Бейли². Недавно Г. М. Налбандян убедительно обосновал аланское происхождение таких армянских имен, как *Radamist*, *Sag*, женского имени *Ašzen* и др.³

* Доклад, прочитанный на Конференции по вопросам взаимоотношения и развития языков Закавказья, проходившей в г. Ереване 13—14 сентября 1977 г.

¹ Н. Я. Марр, *Bor Sabazios* у армян, «Изв. Российск. АН», 1911, стр. 759—774; е го же, Фрако-армянский *Sabazios-asvas* и сванское божество охоты, «Изв. Российск. АН», 1912, стр. 827—830.

² Н. W. В a i l e у, «Revue des études arméniennes», II, 1—3, 1965.

³ Г. М. Н а л б а н д я н, Армянские имена скифо-аланско-осетинского происхождения, «Вопросы иранской и общей филологии», Тбилиси, 1977.

Но армяно-осетинские языковые отношения, помимо общендоевропейских и армяно-иранских связей, имеют еще один аспект, на который лишь в последнее время было обращено внимание исследователей: аспект общего для обоих языков субстрата кавказско-азиатического типа ⁴.

Разумеется, такой первоклассный ученый прошлого века, как Г. Гюбшман, обладавший глубокими знаниями как в армянском, так и осетинском ⁵, не мог не заметить близость звуковой системы армянского, осетинского и грузинского. Но значение этого факта для типологической характеристики этих языков оценил впервые, если не ошибаюсь, норвежский лингвист Х. Фугт ⁶. Этот же ученый в статье, посвященной системе падежей в осетинском, отмечает агглютинативный характер и близость типологической модели осетинского, новоармянского и новогрузинского склонения ⁷.

В предисловии к книге Т. Гамкрелидзе и Г. Мачавариани «Система сонантов и аблаут в картвельских языках» Г. В. Церетели писал о «полном типологическом сходстве между фонологическими системами картвельских, армянского и осетинского» ⁸.

Касается армяно-осетинских языковых отношений и К.-Х. Шмидт. Он отмечает, что «фонологическая и грамматическая системы этих языков обнаруживают влияние кавказских языков», и в качестве примера приводит агглютинирующее склонение: 1) лексема, 2) показатель числа, 3) одинаковый для ед. и мн. числа показатель падежа ⁹. В новейшей работе польского ученого А. Писовича проводится мысль: фактор субстрата играл решающую роль в передвижении согласных в армянском языке; предполагаемый субстрат был близок к кавказским языкам ¹⁰.

В 1970 г. в юбилейном сборнике, посвященном восточногерманской лингвистке Гертруде Петш, вышла моя статья «Типология армянского и осетинского языков и кавказский субстрат» ¹¹. Поскольку «Festschrift Gertrud Pätsch» мало известен в Советском Союзе, я позволю себе повторить здесь некоторые положения упомянутой статьи.

Н. Я. Марр, Г. Дэттерс и Гр. Капанцян в ряде работ показали, что материальный состав и типологическая специфика армянского языка не могут быть разъяснены удовлетворительным образом как результат имманентного развития из древнеиндоевропейского состояния ¹². Приходится предполагать не прямолинейный, а сложный этно- и глоттогенетический процесс, в ходе которого индоевропейская модель наложилась на модель кавказско-азиатического типа.

⁴ Под азиатическими языками мы разумеем урартский, хурритский и протохаттский.

⁵ Ср., с одной стороны, его «Armenische Grammatik», Leipzig, 1897, с другой — «Etymologie und Lautlehre der ossetischen Sprache», Strassburg, 1887.

⁶ H. Vogt, Substrat et convergence dans l'évolution linguistique. Remarques sur l'évolution et la structure, de l'arménien, du géorgien de l'ossète et du turc, «Studia Septentrionalia», II, Oslo, 1945.

⁷ H. Vogt, Le système des cas en ossète, 4, Copenhague, 1944.

⁸ Г. В. Церетели, О теории сонантов и аблаута в картвельских языках, предисловие к кн.: Т. Гамкрелидзе, Г. Мачавариани, Система сонантов и аблаут в картвельских языках, Тбилиси, 1965, стр. 046—047.

⁹ К.-Х. Шмидт, Проблемы генетической и типологической реконструкции кавказских языков, ВЯ, 1972, 4.

¹⁰ A. Pisowicz, Le développement du consonantisme arménien, Wrocław, 1976.

¹¹ В. И. Абаев, Типология армянского и осетинского языков и кавказский субстрат, «Sprache and Gesellschaft», Jena, 1970.

¹² Н. Я. Марр, Яфетические элементы в языках Армении, СПб., 1911—1919; G. Deeters, Armenisch und Südkaukasisch, «Caucasica», Leipzig, 3—1926, 4—1927; Гр. Капанцян, К происхождению армянского языка, Ереван, 1946; его же, Хайаса — колыбель армяк, Ереван, 1948; его же, О взаимоотношении армянского и лазо-мегрельского языка, Ереван, 1952; и др.

Сказанное применимо в целом и к осетинскому языку. Здесь также имело место взаимодействие пришлой индоевропейской (иранской) среды с коренной кавказской, и это взаимодействие определило специфику современного осетинского языка.

Таким образом изучение истории осетинского и армянского языков приводит к выводу, что судьбы этих двух языков складывались во многом параллельно и симметрично.

Посетители этих языков, оторвавшись в свое время от своей исконной индоевропейской среды, после сложных перипетий, вошли, армяне сюда, осетины с севера, в тесные контакты с кавказским этническим и языковым миром. Эти контакты и стали теми заключительными мазками художника, которые придали армянскому и осетинскому их современный облик.

Это дает право на сравнение армянского и осетинского как двух индоевропейских языков, подвергшихся сходным типологическим и материальным влияниям со стороны кавказско-азианического мира.

Иными словами: армянский и осетинский могут быть предметом сравнительного или сопоставительного изучения не только в аспекте их общей индоевропейской основы, но и в аспекте их сходного субстрата. Эту же мысль можно сформулировать и несколько иначе: армянский и осетинский некоторыми своими материальными и типологическими чертами могут участвовать в сравнительно-сопоставительной грамматике и лексикологии кавказских (а армянский — и азианических) языков, как другими (основными) элементами они участвуют в сравнительной грамматике и лексикологии индоевропейских языков.

Не ставя себе задачей дать развернутую сравнительную характеристику армянского и осетинского с интересующей нас точки зрения, отметим несколько фактов в лексике, фонетике, грамматике, в которых сказался параллелизм исторических судеб армянского и осетинского языков.

Начну с лексики: говоря о словарном составе армянского языка, Гр. Капанцян замечает: «Количество точно установленных слов индоевропейского происхождения составляет не более десяти процентов. Следовательно, вся остальная масса заимствованных слов, которые в большинстве несомненно исконно армянские, должна считаться местной азианической по происхождению»¹³.

Как обстоит дело в осетинском?

Разработка осетинской этимологии находится сейчас в самом разгаре, и рано еще делать окончательные подсчеты. Но можно предположить, что около 35% слов будут признаны исконным индоевропейским наследием.

Наряду с этим в осетинской лексике есть кавказский слой, который по своему историческому месту и значению соответствует кавказско-азианическому слою армянского. Марр и Капанцян совершенно правы, когда они отказываются рассматривать этот слой как чужеродный, заимствованный. Он составляет неотъемлемую часть основного словарного фонда и входит в него так же органически, как индоевропейский слой. На материале армянского и осетинского языков можно хорошо видеть, что *з а и м с т в о в а н и е*, с одной стороны, и *с у б с т р а т*, с другой, это разные вещи. В армянском имеется множество заимствованных иранских слов, в осетинском множество тюркских. Изъятие этих элементов значительно обеднило бы армянский и осетинский языки, но не лишило бы их национальной самобытности; они не перестали бы быть самими собой, как не перестает быть самим собой человек, с которого сняли украшения и

¹³ Г. А. Капанцян, К происхождению армянского языка, стр. 34.

одежды. Тогда как изъятие субстратных элементов оставило бы в языке кровотокающие раны.

Я остановлюсь только на одном, но, как мне кажется, очень ярком и показательном примере параллелизма в составе субстратной лексики армянского и осетинского языков: именно на наличии в обоих языках слов с бесспорными чертами мегрело-чанской или занской ветви картвельских языков, с которой ни тот, ни другой теперь не соседят.

Для армянского этот факт установил впервые Марр. Позднее Канацин значительно пополнил наблюдения Марра¹⁴.

Приведу несколько примеров.

Груз. *ser-* «муха» по звуковым нормам занской речи отвечает закономерно занск. *šanž-*. Это слово мы находим в армянском.

Груз. *šabl-* «каштан» отвечает закономерно занск. *š ubur-*. В карабахском диалекте армянского находим *š'urur* «орех».

Груз. *širpl-* (из **šipl-*) «гной глаз» могло бы отвечать занск. **šipur-*. В армянском имеем *šapur*, *šop* с тем же значением.

Груз. *šavla* (из **savla*) «учить» должно бы отвечать занск. **sovor-*. Такую форму мы действительно находим, но не в занском, а армянском: *sovor-el*.

Арм. *ašanž* «ухо» отражает несохранившееся занск. **q'wanž-* из общкартв. **qwar-*, ср. груз. *qur-*, мегр. *quž-* «ухо».

Арм. *valordajn* «раннее утро» содержит элемент *ord*, примыкающий к занск. *ordo* «заря; утро», *ordoša* «к утру; на утро» и др.

Полную аналогию этим фактам находим в осетинском. Ряд осетинских слов явно картвельского характера примыкает не к грузинскому, с которым осетинский тесно соседит в настоящее время, а к занскому, от которого он полностью оторван¹⁵.

Груз. *šal-* «камень» должно отвечать занск. **šor-*. В занском его нет, но в осетинском имеем *dur/dor* «камень», а с сохранением смычногортанного *!* в иронском *dæl-t'ur* «камень очага», букв. «нижний (*dæl*) камень (*t'ur*)».

Арм. *pinž* «воздря», осет. *finž-* «нос» отражают занск. **pinž-*, которое отвечает груз. *pir-* «рот», ср. мегр. *piž-* «рот».

Груз. *šxir-* «палка» должно отвечать занск. *šxi(n)ž-*. В занском такого слова не находим, но оно сохранилось в абхазском (*šxanž* «палка для подвешивания котла») и осетинском (*šəginž-* «столб»).

Груз. *šver-* «кончик, вершина» предполагает занск. **švanž-*, **švand-* (не сохранилось); отсюда осет. *šənd* (из **švənd* с закономерным выпадением *w* после согласного) «куча камней».

В моей статье «Мегрелизмы в осетинском» приводится еще несколько аналогичных осетино-занских лексических встреч¹⁶.

Мы видим, стало быть, что в армянском и осетинском с уверенностью распознается субстратный лексический слой, характеризующийся чертами занской ветви картвельских языков, с которой ни армяне, ни осетины сейчас не соседят и не общаются. При этом в армянском и осетинском сохраняются иногда также занские формы, которые ни в мегрельском, ни в чанском (лазском) не засвидетельствованы. Тем самым армянский и осетинский вносят свой вклад в сравнительную и историческую лексикологию

¹⁴ Г. А. Канацин, О взаимоотношения армянского и лазо-мегрельского языков.

¹⁵ Некоторые из этих фактов приведены в ст.: В. И. Аваев, Мегрелизмы в осетинском, «Осетинский язык и фольклор», М., 1949, стр. 323—330.

¹⁶ Стоит отметить арм. *ənğuzi* «грецкий орех» — осет. *ənğuz id.*, при грузинском *nigoz-*. Об этом слове см.: Нубсчманн, Armenische Grammatik, I, стр. 393, а также: Eilers - Mauryhofe, Mittel. d. Anthropol. Gesellschaft in Wien, XCII, 1962, стр. 89, Fn. 139.

как можно говорить только в функциональном плане, а не морфологическом.

Случайно ли, что и на этот раз армянский и осетинский идут нога в ногу? Думаю, что не случайно. И здесь объяснение близости между двумя языками кроется не в общем индоевропейском происхождении, а в общих субстратных влияниях.

Действительно, обратившись к кавказским языкам, мы убеждаемся, что они являются языками безаккузативного строя. В грузинском, например, прямой объект стоит в одних временах в именительном падеже, в других — в дательном. Особого формально характеризованного аккузатива не существует.

Следует особо остановиться на различении класса личностей и класса вещей в роли прямого объекта. Как я уже отмечал, и тут существует полная аналогия между армянским и осетинским. Разница только в том, что в армянском названия личностей стоят в этом случае в дательном падеже, а в осетинском — в родительном. Совпадает не только общая картина, но и все нюансы.

В «Ежегоднике иберийско-кавказского языковедения» опубликована статья Л. К. Саникидзе¹⁸. Речь в ней идет в основном о различении личности и вещи в роли прямого объекта. Автор касается имеющихся разногласий и споров, излагает мнения выдающихся армянских языковедов по данному вопросу.

Я проделал такой эксперимент. В соответствующем разделе статьи Л. К. Саникидзе вместо «армянский», повсюду вставил «осетинский», а вместо «дательный падеж» — «родительный падеж». Абсолютно все оказалось приложимо к осетинскому языку. Не пришлось менять ни одного слова.

Среди осетинских, как и армянских, филологов давно ведутся однотипные споры, существует или не существует в их языках винительный падеж. В защиту той и другой точек зрения там и тут выдвигаются совершенно идентичные аргументы. «Аккузативисты» считают решающим функциональный момент: раз существует функция прямого объекта, значит есть и соответствующий падеж, если даже по форме он совпадает с дательным, герр. родительным падежом. «Антиаккузативисты» говорят: нет формально маркированного показателя прямого объекта — значит, нет винительного падежа. Сражения между «функционалистами» и «формалистами» продолжаются по сей день. Они идут с переменным успехом. Говоря былинным языком «то сей, то оный набок гнется». Не претендуя на роль судьи в этом споре, хочу только заметить, что в строго морфологическом плане приоритет следует отдавать формальной стороне. Ведь морфология по самому смыслу этого термина — учение о формах, а не функциях. Функции — дело синтаксиса.

Общим для армянского и осетинского оказалось и то, что категория личности и вещи перекрещивается с категорией определенности и неопределенности. В результате название человека в функции прямого объекта может стоять в именительном падеже, если речь идет о неопределенном лице. С другой стороны, например, название животного может стоять в дательном (в армянском) или родительном (в осетинском), если речь идет об определенном животном.

Так в осетинской фразе *læg amardta* «он убил человека» *læg* «человека» стоит не в родительном, а именительном падеже, потому что здесь лишь констатируется факт человекоубийства безотносительно к личности убитого. Точно так же во фразе *us rakwyrđta* «он женился» [букв. «высватал

¹⁸ Л. К. С а н и к и д з е, О семантическом противопоставлении человека (личности) и вещи в армянском языке, ЕИКЯ, II, Тбилиси, 1975, стр. 281—292.

(*rakwyrđta*) жену (*us*)» *us* стоит в именительном падеже, потому что лишь констатируется факт женитьбы, безотносительно к личности жены. С другой стороны, фраза «он зарезал барана» может иметь в осетинском двойной вид: *fys argævsta* и *fysy argævsta*. В первом случае речь идет о неопределенном баране (*fys* «баран» стоит в именительном падеже), во втором — об определенном (*fys* стоит в родительном падеже). Точно такую же картину, если вместо родительного подставить дательный падеж, дает армянский: *es šat giŋnaŋanner et čanačut* «я знаю много ученых», и *es šat giŋnaŋanneri et čanačut* «я знаю многих ученых»¹⁹. В первом случае прямой объект стоит в именительном падеже (неопределенные ученые), во втором — в дательном (определенные, лично знакомые ученые). С другой стороны, фразы *gjułacin bñnes zɪn* и *gjułacin bñnes zɪn* означают обе «крестьянин поймал лошадь», но в первом случае речь идет о неопределенной лошади (прямой объект в именительном падеже), во втором — об определенной (прямой объект в дательном падеже). Переводчик с армянского на осетинский и обратно ни на минуту не затруднился бы в точном, адекватном переводе подобных фраз.

Можно было бы указать еще ряд характерных общих черт армянского и осетинского, таких как утрата грамматического рода, развертывание системы послелогов, заменивших функционировавшие ранее предлоги. Объяснение этим и некоторым другим армяно-осетинским сходжениям надо искать не в общем индоевропейском происхождении, а в общем кавказском субстрате.

Хочется сказать несколько слов о субстрате вообще. Когда говоришь о кавказском субстрате в осетинском, иногда наталкиваешься на скептическое отношение. Говорят так: если в осетинском есть кавказские элементы, почему это надо называть субстратом, а не просто заимствованием. Такой скептицизм лишен основания и порождается недостаточной осведомленностью в существе дела. Понятие субстрата абсолютно реальное, четкое и строго научное. Неясность возникает тогда, когда субстрат рассматривают как чисто лингвистическое явление. Но в том-то и дело, что это не так. Явление субстрата предполагает этногенетический процесс, связанный с этническим смешением и сопровождающийся между прочим языковыми последствиями. Подчеркиваю: между прочим. Помимо языковых, явление субстрата характеризуется другими последствиями: антропологическими, этнографическими, всем обликом материальной и духовной культуры. Стало быть, о субстрате можно говорить только тогда, когда налицо весь комплекс его проявлений: антропологических, этнографических, языковых. Для осетинского это проверено и полностью подтверждается: по антропологическому типу осетины ближе к своим соседям на Кавказе, чем, скажем, к персам или афганцам; их материальная и духовная культура также характеризует их как одну из разновидностей кавказского этнографического мира. Вот почему мы с такой уверенностью говорим о кавказском субстрате в осетинской этнической культуре. Чтобы с такой же уверенностью говорить о субстрате в армянской этнической культуре, надо выявить его не только в языке, но также во всем комплексе признаков: антропологических, этнографических и пр. Не сомневаюсь, что это уже сделано армянскими учеными.

В заключение повторяю, что изложенные наблюдения являются предварительными и касаются только того, что, если можно так выразиться, лежит на поверхности. Армяно-осетинские языковые отношения заслуживают более углубленного изучения.

¹⁹ Примеры приведены из кн.: И. К. Кусикьян, Грамматика современного литературного армянского языка, М.—Л., 1950, стр. 136.

БАСКАКОВ Н. А.

МЕХАНИЗМ АГГЛЮТИНАЦИИ И ПРОЦЕССЫ ГРАММАТИКАЛИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ СЛОВ В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ

1. Процессы грамматикализации самостоятельных слов и более редкие процессы лексикализации грамматикализованных элементов в морфологической структуре слова тесно связаны с механизмом агглютинации, характерной для тюркских языков. Существующие попытки некоторых тюркологов найти в морфологической структуре тюркских языков элементы флективного строя пока остаются слабо мотивированными. Тюркские языки, как нам представляется, имеют последовательно выдержанный агглютинативный строй.

Одним из тюркологов, наиболее конкретно ставящим проблему изучения элементов флективного строя в тюркских языках, был А. К. Боровков. Эпиграфом своей статьи «Агглютинация и флексия в тюркских языках»¹ А. К. Боровков приводит выдержку из лекции Л. В. Щербы, который, с одной стороны, дает определение агглютинативных языков: «Агглютинативные языки те, в которых суффиксы и префиксы являются отдельными словами, т. е. могут быть употреблены отдельно», а с другой, выражает недоумение, в чем же заключается агглютинация в тюркских языках: «Существенно в турецких языках то, что в них суффиксы склонения и множественного числа одни, но в чем агглютинативность, — не понимаю»².

Основываясь на чисто морфологическом подходе к анализу процесса агглютинации в тюркских языках, А. К. Боровков приходит по существу к выводам, близким к определению агглютинации Ф. Ф. Фортунатовым, которое он тут же приводит: «... в агглютинативных языках формы отдельных слов образуются при посредстве такого выделения в словах основы и аффикса, при котором основа или вовсе не представляет так называемой флексии, или если такая флексия и может являться в основах, то она не составляет необходимой принадлежности форм слов и служит для образования форм, отдельных от тех, какие образуются аффиксами», — тогда как в языках флективных «существует флексия основ при образовании тех самых форм слова, которые образуются аффиксами»³.

Приводя довольно большое количество конкретных примеров сложных слов, в которых аффиксы представляли собой первоначально знаменательные слова, а также слов, в которых основы под влиянием различных фонетических закономерностей подвергались тем или иным фонетическим изменениям, А. К. Боровков приходит к противоречивому выводу. С одной стороны, он утверждает, что в «тюркских языках флексия основ и окончаний носит скорее фонетический, нежели морфологический характер

¹ А. К. Б о р о в к о в, Агглютинация и флексия в тюркских языках, в кн.: «Памяти академика Льва Владимировича Щербы (1880—1944)», Л., 1951, стр. 117.

² Там же, стр. 117—118.

³ Ф. Ф. Ф о р т у н а т о в, Сравнительное языковедение, М., 1901, стр. 232.

в том смысле, что увеличивает разнообразие аффиксальных по своей природе форм словообразования и словоизменения и ведет к усложнению расчленения состава слова»⁴, т. е. по существу отрицает наличие флексии основ и окончаний в составе тюркского слова, а с другой стороны, он, правда, уклончиво констатирует, что «в этом смысле тюркские языки также не являются собственно агглютинативными»⁵.

Более четкой и мотивированной точкой зрения на природу тюркской агглютинации является точка зрения А. Н. Кононова, высказанная им в специальном исследовании о тюркской агглютинации⁶. Устанавливая основные способы образования тюркских аффиксальных морфем: 1) сочетание одинаковых по значению суффиксов, 2) сращение разных по значению аффиксов и 3) переразложение элементов слова, — А. Н. Кононов определяет процесс агглютинации как агглютинативную флексию, допускающая вместе с тем возможность членения на составляющие их элементы с помощью специального этимологического анализа.

Пристально приглядываясь к значению отдельных аффиксов и в особенности аффиксов словообразования, как с точки зрения семантики каждого аффикса, т. е. реального его значения, так и его функции в парадигматическом ряду с другими аффиксами, можно, однако, установить наряду с их полной грамматикализацией также и сохранение в них следов реального вещественного их значения. Ср., например, аффиксы, образующие различные понятия результатов, орудий действия или действующего лица, которые, безусловно, сохранили в некоторой степени связь с реальным значением самостоятельного прежде слова, хорошо сохранившиеся синтагматические их отношения между собой, как определяемых и определяющих категорий.

Сохранение этих особенностей структуры слова позволяет прийти к выводу о том, что тюркские языки все же в значительной степени сохраняют свой агглютинативный строй (не только по определению Ф. Ф. Фортунатова, но и по определению Л. В. Щербы), так как отдельные аффиксы в структуре тюркского слова хотя и не могут быть все возведены к самостоятельным знаменательным словам, но хорошо сохранили не только свои семантические связи с ними, но и следы синтаксических отношений.

2. Структура тюркского слова и ее членение на составные структурные части — морфемы — со всей очевидностью показывают, что более древнее состояние тюркских языков действительно напоминало аналитические языки, как справедливо это предполагал В. Котвич, говоря о том, что «алтайские языки, как языки агглютинативные, имеют в их современном состоянии много черт, характерных, с одной стороны, для аналитических языков Дальнего Востока, а с другой — для языков флетивных (индоевропейских)»⁷.

Теория о том, что в тюркских языках генетически все аффиксальные морфемы восходят к корневым морфемам со знаменательным значением, хотя и не может быть доказана в отношении всех аффиксов, но является, по-видимому, весьма вероятной, о чем свидетельствуют довольно значительные факты возведения конкретных аффиксов к знаменательным основам, а также очевидный процесс морфологического развития слов, который виден на поверхности современных языков.

Морфологический процесс грамматикализации слова и его развитие от полновесного слова со знаменательным значением к служебному, а затем к аффиксу может быть показан на многочисленных примерах. Ср., напри-

⁴ А. К. Б о р о в к о в, указ. соч., стр. 125.

⁵ Там же, стр. 125.

⁶ А. Н. К о н о н о в, О природе тюркской агглютинации, ВЯ, 1976, 4.

⁷ В. К о т в и ч, Исследование по алтайским языкам, М., 1962, стр. 30.

мер, аффикс *-ša/-še* в каракалпакском языке во вторичной двещричастной форме типа *al-yan-ša* «пока возьмет», *kel-gen-še* «пока придет», восходящий к самостоятельному слову с реальным значением *čay ~ čaq ~ šaq* «пора, время»; *ol kelmegenše* (ср. синоним *kelmegenšeli*) *men sizdi žibermejmen* «пока он не придет, я вас не отпущу» < *ol kelmegen kaqta men sizdi žibermejmen* > букв. «в пору (~во время) его неприхода я вас не отпущу»; или аффикс *-sa/-se*, образующий условное наклонение и восходящий к самостоятельному глаголу *sa-* (< **say-*) «желать, хотеть»: *al-sa* (< *al-yu-say-ar* «желающий взять») > «если он возьмет»; тот же аффикс *-sa/-se* встречается в словообразовательных моделях типа *suw-sa* «жаждать» (< *suw say* «хотеть желать воды»); или аффикс *-qar/-yar* в словообразовательных моделях образования глагола от имени: *ot-qar-* «пасти, кормить травой», *bas-qar-* «управлять», *oj-yar-* «дать понять», *suw-yar-* «поить, орошать», *aš-qar-* «кормить», *qut-qar-* «освобождать, избавлять», реальное значение которого связано с глаголом **qar-*, который сохранился только в основе глагола *qar-ta-* «зацепить, схватить, привлечь» или в производном слове *qar-taq* «крючок, удочка»; основа глагола *ot-qar-* «пасти, кормить травой» в сопоставлении с производными глаголами от того же имени *ot-a-* «полоть», *ot-aj-* «прорастать» и пр. раскрывает свое значение, как *ot-qar-* «дать траву», основа *suw-yar-* «поить, орошать» в сопоставлении с производными глаголами от того же имени *suw-sa-* «жаждать» (< «хотеть желать воды»), *suw-la-* «мочить, увлажнять» раскрывает свое значение как *suw-yar-* «дать воду»; основа *bas-qar-* в сопоставлении с *bas-la-* «начинать» получает значение «управлять»; *aš-qar-* «накормить» (< «дать пищу»), *qut-qar-* «избавлять» (< «дать счастье»); *oj-yar-* «дать понять» (< «дать мысль, думы»), *at-qar-* «посадить на коня» (< «дать коня») и т. д.

Часто состав того или иного сложного аффикса некоторые исследователи рассматривают как сумму плеонастически наслоенных древних аффиксов с одним и тем же значением, ср., например, казах. *közildirik* «очки» *kömildirik* «нагрудный ремень лошади» (ДТС, 314), которые рассматриваются как сочетание одной корневой морфемы *köz* «глаз» или *köm* < < *köp* «грудь» и четырех уменьшительных суффиксов *il-di-r-ik*, в результате присоединения которых образуются уменьшительные понятия *köz* «глаз» + *il-di-r-ik* «глазки» > «очки»; *köm* ~ *koq* «грудь» + *il-di-r-ik* «грудка» > «нагрудный ремень лошади»⁸, в то время как можно было бы рассматривать подобные словоформы как результат словосложения по крайней мере двух корневых морфем *köz* «глаз» + *il-dir-ik* < отглагольное имя от глагола *il-* «подвесить, прицепить» + аффикс понудительного залога *-dir* > *il-dir-* «заставить подвесить» + аффикс *-ik*, образующий орудие действия от глагола *ildir-* > *ildirik* «то что заставили подвесить» > «подвеска». Сочетание этих двух слов *köz ildirik* и образует понятие «очки» букв. «глазной подвесок» или *köm ildirik* «нагрудный ремень лошади» < «нагрудный подвесок». Возможно, что и словоформы типа татар. *bişun-dyruq* «ярмо» или туркм. *aşuz-dyruq* «удила» имеют ту же природу, т. е. представляют собой сочетания *bişun-(yl)-dur-yuq* «шейный подвесок» > «ярмо», *aşuz-(yl)-dyr-yuq* «подвесок для рта» > «удила» и пр., где основа глагола *il-* (> *-yl-*) выпала благодаря ритмической аналогии.

Однако процесс грамматикализации конкретных слов не проходил сам по себе. Переход знаменательного слова в служебное, а затем в аффикс происходил в различного рода словосочетаниях, сначала представлявших собой аналитическую форму, а затем сложное слово, в котором грамматикализованное знаменательное слово выступило уже в качестве аффикса, часто фонетически видоизмененного и сокращенного.

⁸ А. Н. Кононов, указ. соч., стр. 9.

Следовательно, процессы грамматикализации свободных словосочетаний, а в некоторых случаях и предложений характеризуются последовательным переходом от словосочетания с полновесным знаменательным значением к словосочетанию с знаменательным, но отвлеченным постпозиционным компонентом, затем к словосочетанию знаменательного слова со служебным словом, сохранившим в другом употреблении свое знаменательное значение, далее к аналитической грамматической форме, где постпозиционный элемент, сохраняя лексическую самостоятельность служебного элемента, теряет уже в полной мере знаменательное реальное значение, и, наконец, к синтетической грамматической форме, где постпозиционный отвлеченный компонент превращается в морфему-аффикс с определенным грамматическим значением.

В современных тюркских языках все ступени морфологического развития реально существуют, причем при сопоставлении тех или иных тюркских грамматических форм, например, с русскими, тюркские синтетические формы могут соответствовать русским аналитическим, а аналитические формы тюркских языков — синтетическим формам русского языка.

Все процессы грамматикализации в тюркских языках являются живыми процессами.

Господствующее положение в современных тюркских языках занимают аффиксальные синтетические формы, хотя наряду с ними многие грамматические значения выражены аналитическими формами, а также сочетаниями знаменательных слов со служебными словами, сохраняющими в других сочетаниях свое знаменательное значение.

Таким образом, в тюркских языках грамматические значения выражаются тремя основными способами: 1) сочетаниями знаменательных слов со служебными словами, 2) аналитическими формами и 3) синтетическими формами. Все способы имеют строго очерченные критерии и могут быть строго дифференцированы между собой.

Элементы аналитизма и синтетизма варьируют по своему удельному весу по конкретным языкам, но, как отмечалось выше, господствующими грамматическими формами в тюркских языках являются ныне синтетические, аффиксальные формы, в то время как в более ранние периоды, как это видно из этих процессов, тюркские языки в большей степени характеризовались аналитизмом, что со всей очевидностью показывает сама структура тюркского слова.

Каждое тюркское сложное слово и каждое производное слово, т. е. слова, состоящие из нескольких морфем, исторически восходят чаще к атрибутивным словосочетаниям, в которых элементы, находящиеся в постпозиции, всегда относятся к абстрактным понятиям — определяемым, а в препозиции к конкретным признакам — определениям.

Таким образом, в сложном слове и в слове производном в тюркских языках каждый препозиционный элемент (геср. корневая морфема) относится к постпозиционному (геср. второй корневой морфеме или служебному слову или аффиксу) как определение к определяемому, как дополнение к дополняемому, т. е. как более конкретное понятие к более абстрактному.

Если установление функций каждого слова в структуре словосочетаний и предложений реализуется в синтаксисе слов, то установление функций каждой морфемы в структуре слова реализуется в синтаксисе морфем. Таким образом, морфологическая структура каждого слова, осложненного серийей аффиксальных морфем, изоморфна структуре словосочетания, а в некоторых случаях и структуре предложения.

Как в определительных словосочетаниях абстрактные категории всегда находятся в постпозиции по отношению к конкретным (определение

перед определяемым, дополнение перед дополняемым), так и в структуре слова морфемы, выражающие абстрактные понятия, находятся всегда в постпозиции по отношению к морфемам, выражающим конкретные понятия, т. е. корневая морфема перед аффиксальными, аффиксы лексического словообразования перед аффиксами функционального словообразования, аффиксы функционального словообразования перед аффиксами словоизменения, так как самым конкретным элементом в слове является корневая морфема, а из аффиксальных морфем самыми конкретными являются аффиксы лексико-грамматического словообразования; менее конкретными (герр. более абстрактными) — аффиксы функционального словообразования и, наконец, самыми абстрактными морфемами в слове — аффиксы словоизменения.

Как словосочетание, состоящее из двух элементов, в результате сопоставления этих элементов образует более конкретное понятие по отношению к определяемому, так и производное слово образует более конкретное понятие по отношению того абстрактного значения, которое заключено в словообразовательном или словоизменительном аффиксе, ср., например, *bijik adam* «высокий человек» (< «высокий из людей») и *temir-çi* «кузнец» (< «деятель по железу») — в данном примере *temir* относится к *-çi* как определение к абстрактному понятию профессии, заключенному в аффиксе *-çi*; или *taş-la-* «бросать» — в данном примере *taş* «камень» относится к *-la* как объектное определение к абстрактному понятию действия, выраженному аффиксом *-la*.

3. Последовательность элементов в структуре тюркского слова, изоморфная синтаксической структуре словосочетания, распространяется и на характер значения сложного или производного слова, соответствующего характеру значения сочетающихся в словосочетании знаменательных слов.

Все сложные и производные слова с глагольным значением произошли из свободных сочетаний, в которых корневая морфема, находящаяся в препозиции, могла быть именем или глаголом, но последняя из аффиксальных морфем в постпозиции — обязательно глаголом, т. е. последний постпозиционный элемент в сложном или производном слове с глагольным значением, будь то служебный элемент или аффикс, генетически должен восходить к полновесному глаголу со знаменательным глагольным значением.

Сложные же и производные слова с именным значением произошли из свободных словосочетаний, в которых корневая морфема, находящаяся в препозиции, могла быть именем или глаголом, но последняя из аффиксальных морфем в постпозиции — обязательно именем. Иначе говоря, последний постпозиционный элемент в сложном или производном слове с именным значением (будь то имя или аффикс) генетически должен восходить к полновесному имени со знаменательным именным значением; например, производные основы глагола от глагола же: казах., каракалп. *žiber-* < *ij-e-ber-* «посылать» из двух глаголов *ij-* «отправлять» и *ber-* «давать»; *äkel-* < *ał-yp kel-* «приносить» (< «взяв, прийти»); алт. *barat* < < *bar-a tur-ur* «он идет, он пойдет» из корневой морфемы *bar-* «идти», аффикса видо-временной формы *-at* (< *-a-tur-ur*), образовавшегося из стяжения деепричастного аффикса *-a* и вспомогательного глагола *tur-* в форме причастия на *-ur* > *-tur-ur*; любые видовые и залоговые формы, форманты которых имеют глагольное значение: каракалп. *aş-* «отрывать», *aş-yl-* «открываться», где аффикс *-yl* имел генетически глагольное значение и т. п.; или производные основы глагола от имени: *baş-qar-* «управлять, руководить», производный глагол от имени *baş* «голова, начало, вершина» и *-qar* — генетически глагольная основа, при которой имя *baş* генетически

выступает как прямой объект; или производные основы имен от имен: *daŋqparast* «тщеславный» < *daŋq* «слава» + *parast* (< перс. «поклоняющийся»). Ту же структуру и те же отношения имеют морфемы в слове *balyqşy* «рыбак» < *balyq* «рыба» + *-şy* — аффикс профессии, восходящий к слову с самостоятельным значением «действующее лицо, деятель, профессионал»; или производные основы имен от глагола: *ötkel* «переправа», состоящая из глагольной основы *öt-* «переходить, проходить» и аффикса *-kel*, генетически восходящего к имени, хотя в современной своей форме данный аффикс и не сохранил ни лексических, ни фонетических связей с какой-либо реальной именной основой; то же следует сказать и в отношении других именных основ, образовавшихся от корневых глагольных морфем, например, *aş-qyş* «ключ» (от глагола *aş-* «открывать» + *qyş*), *tut-qa* «рукоятка» (от глагола *tut-* «хватать, держать» + *-qa*), в которых аффиксы претерпели уже длительный процесс фузии, переразложения и эллизии составных элементов, но сохранили общую идею имени.

Образуя в конечном результате ту или иную часть речи, сочетания морфем соответствуют, следовательно, либо глагольной, либо именной основе. Возникает проблема изучения этих отношений как своеобразной морфологии морфем, или морфоморфологии, выражающей, как и морфология (в отношении самостоятельных слов), с одной стороны, лексико-семантические, а с другой, функциональные и синтаксические отношения морфем между собой.

Наиболее четко эти синтаксические и семантические значения аффиксальных морфем как элементов слова выявляются, например, в сочетаниях корневой морфемы с конвертирующими аффиксами, образующими глагольную основу, т. е. в глагольных основах типа *ot-qar-* «пасти, кормить травой», *ot-a-* «полоżyć», *ot-la-* «пасти», *ot-aj-* «прорасти травой», *ot-yq-* «привыкать к пастбищу» или *suw-γar-* «орошать», *suw-la-* «увлажнять», *suw-sa-* «жаждать» или *baş-la-* «начинать», *baş-qar-* «управлять, руководить» и т. п., встречающихся в кыпчакских тюркских языках, где отношение корневой морфемы к аффиксальной изоморфно отношению объектного определения к глагольной основе, которая сохранила в аффиксе следы некоторого реального значения, дифференцирующие семантику каждого производного глагола, причем реальное значение соответствующего аффикса сохраняется и при присоединении к другим именным основам; ср., например: *ot-qar-* «кормить травой», *suw-γar-* «поить, орошать водой», *türker-* «углублять, давать дно», *oγ-γar-* «узнавать, осмысливать, давать мысль», *baş-qar-* «управлять, руководить» и пр., где аффикс *-qar* сохраняет как бы единое реальное значение «что-то давать, предоставлять», или аффикс *-sa* со значением «желать, хотеть» при основах: *suw-sa-* «жаждать, желать воды», *tamaq-sa-* «хотеть есть, алкать», *üjir-se-* «привязываться к стаду», или аффикс *-yq*, видимо, связанный с глаголом каракалп. *yq-* «идти по ветру, плыть по течению, поддаваться, привыкать» в глагольных основах: *ot-yq-* «привыкать к траве, к пастбищу», *jol-yq-* «встречаться», *bir-ik-* «объединяться», или аффикс *-sy* со значением «походить, быть похожим» при основах: *adam-sy-* «походить на человека», *balyr-sy-* «походить на богатыря», *şeşen-si-* «походить на оратора», *tolqyn-sy-* «быть волнообразным, походить на волну» и пр.

Те же закономерности наблюдаются также и в сочетаниях корневой именной морфемы с аффиксами, образующими именную же (модифицированную или функциональную) основу, т. е. в именных основах типа, например, в каракалпакском языке: *džol-şy* «строитель дороги», *džol-ly* «имеющий дорогу; удачливый», *džol-syz* «не имеющий дороги; несчастный», *džol-das* «спутник, товарищ» или *üj-şi* «мастер, делающий юрты», *üj-şik* «домик, лачуга», *üj-li* «имеющий юрту (дом)», *üj-siz* «бездомный» и т. п., где

отношение корневой морфемы к аффиксальной изоморфно отношению определения к определяемому — именной основе, сохранившей в аффиксе следы реального значения, дифференцирующие семантику производного имени, причем соответствующие суффиксы также сохраняют последовательно свое реальное значение и при других основах, ср., например: *džol-šy* «строитель дорог», *temir-ži* «кузнец, мастер по железу», *üj-ži* «мастер, строитель домов», *balyq-šy* «мастер по ловле рыбы» и т. д.

В меньшей степени, но эти связи могут быть установлены и в основах, образовавшихся из глагольной корневой морфемы и модифицирующих аффиксов, образующих вторичную глагольную основу, например: *ajt-ğyz-* «заставить сказать», *ajt-yl-* «быть сказанным», *ajt-ys-* «говорить друг другу» и т. п., где отношение корневой морфемы к аффиксальной изоморфно отношению основного глагола к вспомогательному, из которых первый — основной — соответствует глаголу с более конкретным значением, а второй — вспомогательный — глаголу с более абстрактным значением, или в основах, образовавшихся из глагольной корневой морфемы и конвертирующих аффиксов, образующих вторичную именную основу, например: *ğys-ğyš* «щипцы», *ğys-ğy* «притеснение», *ğys-raq* «стеснение», *ğys-nağ* «ущелье», *ğys-уq* «сжать», *ğys-yt* «нажим» и пр., где отношение корневой морфемы к аффиксальной изоморфно более сложной синтаксической связи, при которой препозиционный элемент служит также определением по отношению к постпозиционному элементу, определяемому.

Таким образом, следы лексического значения аффиксальных морфем, благодаря изоморфизму строения слова и словосочетания, выявляются в виде различной степени абстрактных понятий либо динамического признака действия или состояния (если данная аффиксальная морфема образует глагольную основу), либо статического предмета или признака (если аффиксальная морфема образует именную основу).

4. В связи с изоморфизмом структуры слова со структурой словосочетания и реке предложения, помимо морфосемасиологии, т. е. изучения значений корневой морфемы, содержащей реальное и относительно конкретное значение, и аффиксальных морфем, содержащих отвлеченное значение, возникает проблема изучения морфосинтаксиса. Задачами морфосинтаксиса является изучение закономерностей сочетаемости корневой морфемы с аффиксальными и аффиксальных морфем между собой, а также сочетаемости комплексов различных морфем между собой, составляющих своеобразные морфосинтагмы. Вполне реальная (хотя и отвлеченная) значимость каждой аффиксальной морфемы и условная несоединимость их с теми или иными частями речи (главным образом, либо с именами, либо с глаголами) ставят проблему изучения морфоморфологии, в задачу которой входит не только соотношение корневых и аффиксальных морфем с теми или иными частями речи — именем или глаголом, — но и моделей их сочетаемости между собой, т. е. образования сложных морфем (морфообразования). Наконец, количество и соотношение фонем в морфеме составляют предмет морфофонологии, определяющей закономерности сочетаемости фонем и их соответствующих звуковых реализаций.

Морфосемасиология, морфосинтаксис, морфоморфология, а также и морфофонология, таким образом, имеют своим предметом исследования соответственно те же уровни, что и семасиология, синтаксис, морфология и фонология, но только единицами исследования в данном случае являются не самостоятельные слова и не сочетания самостоятельных слов, а морфемы и их сочетания внутри слова.

Как было указано выше, каждая морфема в морфологической структуре слова имеет определенное близкое к лексическому именное или

глагольное значение с различной степенью абстракции. Причем все морфемы, как и самостоятельные слова, соотносены по своему реальному значению с той или иной частью речи.

К морфемам, соотношенным по значению с именами существительными, относятся все аффиксы профессии и аффиксы, образующие имя действующего лица, ср., например, аффиксы — имена профессии или имена действующего лица *-çyl/-şy* в производных моделях словообразования от имени *temir* «железо» (*temir-şi* «кузнец») или от функциональной субстантивной формы глагола казах. *žaz-ıw* «писание» (*žaz-ıw-şy* «писатель»), в которых основы *temir* и *žaz-ıw* определяют отвлеченное понятие действующего лица, заключенное в аффиксе *-çyl/-şy*. К аффиксам-прилагательным могут быть отнесены аффиксы: *-çyl/-şyl*: каракалп. *oj* «мысль», *oj-şyl* «мыслящий, думающий, мудрый»; *-çar/-şar*: *köz* «глаз», *köz-şer* «наблюдательный». К аффиксам-наречиям: *-dai/-day* и пр.: ново-уйг. *harwu-däk* «подобный арбе», казах. *ijt-tej* «как собака, подобный собаке», *-çal/-şa*: *özбек-şe* «по-узбекски» и т. п. Во всех указанных примерах лексическая основа служит как бы определением к последующему аффиксу, выражающему либо отвлеченное понятие имени действующего лица, либо отвлеченное понятие уподобления и т. д.

Реальное значение каждого аффикса, как и самостоятельного слова, зависит от значения той корневой морфемы, к которой он присоединяется. Поэтому аффикс, как и самостоятельное слово, не однозначен: ср., например, множество значений аффикса *-lyql-lik*, которые возникают в зависимости от той основы, к которой он присоединяется. Вместе с тем, он обладает и обобщающим единым значением, связанным со значением того самостоятельного слова, от которого он происходит.

Теми же значениями, с некоторыми соответствующими специфическими особенностями, обладают также и аффиксы, выражающие отглагольные понятия и в том числе отглагольные имена, а также и аффиксы функциональных форм глагола: масдара, причастия и деепричастия, ср., например, аффиксы, образующие отглагольные имена:

Аффиксы-имена существительные: *-ym/-im: bil-* «знать», *bil-im* «знание» < «результат знания»; *öl-* «умирать», *öl-üm* «смерть» < «результат умирания» — со значением результата действия, где лексическая основа, в данных примерах корневая морфема, служит определением к аффиксу, выражающему значение отвлеченного понятия результата: *bil-* «знать» + *-im* «результат» > «результат знания» > «знание»; *-qaq/-yaq: qar-* «закрывать», *qar-qaq* «крышка»; *il-* «прицеплять»; *il-gek* «крючок, петля, пуговица» — со значением орудия данного действия; *qar-* «закрывать» + *-qaq* «орудие действия» > «орудие закрывания» > «крышка».

Аффиксы-имена прилагательные: *-qyr/-yur: al-* «брать, взять», *al-yur* «хваткий» < «обладающий свойством данного действия»; *sez-* «чувствовать», *sez-gir* «чуткий, чувствительный» < «свойство, признак данного действия», т. е. со значением признака по данному действию; *bil-* «знать», *bil-gir* «признак, свойство» > «свойство знания» > «знающий, знаток»; из этого аффикса позже образовалась форма причастия на *-ar/-er*; *-quç/-quş: awyur-* «болеть» + *-yuş* «свойство, расположение» > «расположение к болезни» > «болезненный»; *süz-* «бодать» + *-giş* «свойство» > «свойство бодать» > «бодливый».

Следует отметить, что как лексические части речи (существительное, прилагательное и наречие) слабо дифференцированы между собой, так и части речи — аффиксы имеют то же свойство слабого различения между собой, при котором один и тот же аффикс образует иногда все три значения, в большей степени являющиеся функциональными формами, чем лексическими.

Именам существительным, прилагательным и наречиям соответствуют и аффиксы, образующие функциональные формы глагола: субстантива, атрибутива и атрибутива признака.

Аффиксы субстантива-масдара, выражающие проекцию статических — имен предмета — существительных в динамической части речи — глаголе: *-maq/-mek*; *-yş/-iş*, *-yu/-gü* ~ *-qu/-kü*, *-uw/-üw* и пр., имеют значение субстантивных функциональных форм глагола, обозначая понятия процесса, течения данного действия, ср., например: *-maq/-mek: kel-* «приходить» + *-mek* «процесс протекания действия» > *kel-mek* «протекание действия прихождения» > «приход»; *-yu/-gü* ~ *-qu/-kü* ~ *-uw/-üw: bar-* «отправляться» + *-yu* «процесс» > *bar-yu* «процесс действия отправления» > «отправление»; *-yş/-iş*; *kül-* «смеяться» + *-üş* «процесс смеха» > *kül-üş* «смех».

Следует отметить, что все указанные выше аффиксы масдаров сохранили следы своего происхождения и развития из соответствующих самостоятельных слов и форм, имевших реальные значения, которые остались в отвлеченной семантике присущими и для данных аффиксов.

Так, аффикс *-maq/-mek*, кроме отвлеченного понятия процесса, сохранил в своей семантике оттенок цели, намерения, так как происхождение этого аффикса связано, по-видимому, с формой, состоящей из основы на *-ma/-me* и аффикса направительного падежа *-qa/-ke*, указывающего на цель, намерение. Поэтому аффикс *-maq/-mek* при присоединении к глагольной основе образует функциональную форму глагольного масдара со значением намерения к совершению данного действия, ср., например, каракалп. *al-maq-um bar* «я намерен взять, у меня есть намерение взять».

Аффиксы атрибутива-причастия происходят из словообразовательных моделей, имевших значение «действующее лицо, деятель», и выражают, проекцию статических имен прилагательных в глаголе: *-yan/-gen*, *-ar/-er*, *-myş/-miş* и пр., ср. например: *-yan/gen: bil-* «знать» + *-gen* «действующее лицо» > *bil-gen* «действующее лицо знания» > «знающий, знавший»; *-myş/-miş: gel-* «приходить» + *-miş* «действующее лицо» > *gel-miş* «приходящий, приходивший»; *ar/-er*, *-r: ber-* «давать» + *-er* «действующее лицо» > *ber-er* «дающий» и пр.

Аффиксы атрибутива-признака деепричастия, выражающие проекцию наречия в глаголе: *-yp/-ip*, *-p*; *-al/-e*, *-j* и др., имеют значение форм, выражающих динамический признак признака, ср., например: *-yp/-ip*, *-p: böl-* «делить» + *-ip* «признак предварительно совершившегося действия» > *böl-ip* «разделив»; *-al/-e*, *-j: qyl-* «делать» + *-a* «признак одновременно совершающегося действия» > *qyl-a* «делая» и т. п.

К морфемам, соотношенным по значению с глаголами, относятся, например, все аффиксы вида и залога. Если аффиксы-имена в сочетании с производящей именной или глагольной основой (resp. корневой морфемой) образуют соответствующие аффиксы имена, то аффиксы-глаголы в сочетании также с именной или глагольной основой образуют соответствующие аффиксы глаголы.

Присоединяясь к именной производящей основе, аффиксы, образующие глагольную основу, имеют хотя и абстрактное, но реальное значение с общей семантикой «действовать, производить действие». Соответствие данному значению указанных аффиксов подчеркивается тем, что подобные синтетические основы часто представляют собой синонимы соответствующих аналитических основ, ср., например, каракалп. *džoq et* = ~ *džoq qyl-* «уничтожать» и синтетическая основа *qžoq-la-* «уничтожать», в последней аффикс *-la/-le*, образующий глагол от имени *džoq* «отсутствии; нет», семантически идентичен вспомогательному глаголу *et* или *qyl-* «делая» в первой аналитической основе.

Большинство аффиксов, образующих глагол от имени: *-la/-le*, *-a/-e*, *-yq/-ik*, *-y/-i*, *-aj/-ej*, *-ar/-er* и пр., имеют как уже отмечалось выше, общее абстрактное, но вместе с тем и реальное значение «делать, совершать, производить действие, действовать», которое в известной мере уточняется также и производящей основой, ср., например: *tiš ~ tis* «зуб» + *-la* > *tiš ~ tis-le* «действовать зубами» > «кусать»; *arqa* «спина» + *-la* > *arqa-la* «действовать с помощью спины; пользоваться спиной» > «взвалить на спину» и пр. Однако некоторые из глаголообразующих аффиксов наряду с указанным абстрактным значением сохранили также и специфику реального значения; ср., например, глаголообразующий аффикс *-sy/-si*, который указывает на специфическое действие, подобное или присущее лицу или предмету, выраженному производящей основой: уйг. *adam* «человек», *adam-si* «делать, как человек, подобно человеку, поступать по-человечески»; каракалп. *šešen* «красноречивый», *šešen-si* «действовать, как красноречивый» > «быть красноречивым (оратором), ораторствовать» и т. п.

Таким образом, если аффикс *-la/-le* произошел от глагольной основы типа *qyl* «делать, действовать», то аффикс *-sy/-si* от глагола типа **syγ* «подражать, стремиться быть подобным».

Те же глагольные значения имеют аффиксы, образующие в тюркских языках глагольные категории вида и залога. Как видовые, так и залоговые аффиксы, безусловно, произошли от знаменательных слов с соответствующим глагольным значением, о чем ярко свидетельствуют не достигшие полной грамматикализации аналитические видовые и залоговые формы глагола.

Категория вида в тюркских языках в современной их структуре сохранила всю последовательность грамматикализации так называемых вспомогательных глаголов с реальным значением, находящихся в позиции к глаголам, с которыми они образуют сложные глаголы или аналитические и синтетические их видовые и залоговые формы. Грамматикализация лексических сочетаний типа казах. *žaz-yp ai* «написать себе, написать (записать, переписать) для себя» или *žaz-yp kör* «попробовать написать» и аналитических форм типа казах. *žaz-yp žat* «писать в данный момент», где вспомогательный глагол *žat* «лежать» уже полностью потерял реальное значение, завершается синтетической формой, например, казах. *žaz-a-dy* (<*žaz-a tur-ur*) «он пишет», где вспомогательный глагол *tur* в причастной форме на *-ur* превратился в аффикс *-dy*, показатель видового значения. Те же процессы характеризуют происхождение залоговых форм. Так, аффиксы страдательного залога *-yl/-il*, *-l* были связаны своим происхождением с глагольной основой, имеющей значение, близкое к глаголу *bol* «быть, стать», образуя вместе с производящей основой пассивные ее формы; ср. современные сочетания, например, каракалп. *tamin bol* «быть обеспеченным», *džoq bol* «быть уничтоженным» и т. п., т. е. форм непереходных глаголов со значением страдательных залоговых форм, в то время как аффиксы понудительного залога *-yt/-it*, *-t* восходили к глагольным основам типа *et* «делать», образуя активные формы производящей основы глагола, ср. те же составные глаголы с транзитивным значением *tamin et* «обеспечивать», *džoq et* «уничтожать».

Таким образом, все аффиксы словообразования и словоизменения по своему остаточному вещественному значению так же, как и самостоятельные слова, как и корневые морфемы, могут быть условно отнесены к той или иной части речи, т. е. могут быть квалифицированы как: а) аффиксы-имена, если находясь в постпозиции после корневой морфемы или какой-либо словообразовательной морфемы, слово в конечном итоге получает значение имени; б) аффиксы-глаголы, если соответственно в ко-

печной позиции они образуют глагольную основу; в) аффиксы-служебные части речи, если они образуют в конечном итоге словообразования служебное слово.

Выступая в определенных сочетаниях, морфемы в слове группируются как и члены словосочетания, обычно по двум зонам: а) определяющая (корневая морфема или корень в сочетании с некоторой частью аффиксальных морфем) и б) определяемая (аффиксальная морфема или сочетание их, находящихся в постпозиции по отношению к определяющей зоне).

Изоморфизм морфологической структуры слова и структуры словосочетания соответствующим образом отражается и на фонологической структуре слова, которая в какой-то степени изоморфна морфологическому строю слова.

Таким образом, структура тюркских языков органически увязана изоморфизмом всех уровней — от структуры основных синтаксических и лексических единиц до морфологической и фонологической структуры каждого отдельного слова.

БРАГИНА А. А.

СИНОНИМЫ И ИХ ИСТОЛКОВАНИЕ

Каждый язык, развиваясь, стремится ко все более «полному общему и частному соответствию мира слов миру понятий»¹. Это наблюдение принадлежит замечательному русскому ученому Николаю Крушевскому. И вот почти через сто лет в книге, в заглавие которой вынесен вопрос «что такое развитие и совершенствование языка?», формулируется задача: «показать, как язык в процессе своего развития начинает предоставлять людям все большие и большие возможности для передачи их мыслей и чувств, для приближения к соответствию между миром слов и миром понятий»².

Связь между словом и понятием, может быть, с наибольшей полнотой и глубиной раскрывается в синонимических отношениях, в синонимических рядах. Каждая эпоха выдвигает новые реалии, новые явления. Тем самым возникают и новые понятия. Но не только новое требует в каждую эпоху своего осмысления и словесного выражения. Старые понятия могут быть переосмыслены или понятии глубже и шире. Это естественная взаимозависимость мира понятий и мира слов.

Социальные и культурно-исторические движения в обществе, как известно, отражаются в словаре. Лексика каждого языка — самый чуткий и непосредственный регистратор нашего общественного и культурного развития. Однако лексическую фиксацию нельзя понимать как регистрацию только вновь родившихся слов. С углублением наших представлений об окружающем мире наш словарь увеличивается не только количественно, но прежде всего расширяется за счет качественных изменений в значениях старых слов.

Растет полнота старых слов. Вместе с усложнением понятийных и словесных взаимосвязей усложняются синонимические и антонимические связи слов, а также связи, объединяющие видовые и родовые понятия. Поэтому проблема синонимов остается интересной, актуальной и сложной для лингвистов всех времен, несмотря на многочисленные исследования. Проблема синонимов многоаспектна и, как это и ни странно, недостаточно разработана. Уже на первый вопрос — что такое синоним? — мы находим целый ряд различных ответов, то взаимно дополняющих, то взаимно исключающих друг друга. Изучение синонимии ставит перед исследователем в первую очередь такие три вопроса: 1) как складывалось понятие о синонимах? 2) как истолковывалась природа синонимов? 3) каковы функции синонимов в языке?

В истории науки о языке можно легко проследить неуклонное желание разгадать и определить назначение синонимичных слов — «то же слово и, одновременно, не то». То же слово и или то же слово ие, т. е. синонимы, в русской научной традиции воспринимались скорее как

¹ Н. Крушевский, Очерк науки о языке, Казань, 1883, стр. 149 (приложение V).

² Р. А. Будагов, Что такое развитие и совершенствование языка?, М., 1977, стр. 4—5.

слова сходные, но не абсолютно тождественные. Исполнены глубокого смысла наблюдения Н. М. Карамзина: «Истинное богатство языка состоит не во множестве звуков, не во множестве слов, но в числе мыслей, выражаемых оными. Богатый язык тот, в котором вы найдете слова не только для означения главных идей, но и для изъяснения их различий, их оттенков большей или меньшей силы, простоты и сложности. Иначе он беден: беден со всеми миллионами слов своих»³.

В этих рассуждениях подчеркнем *качественную*, а не *количественную* оценку языкового богатства.

Различный подход к синонимам, к их определению, к оценке их функциональной роли обуславливает многообразие различных толкований самого явления синонимии. Постараемся дать общий обзор основных позиций в изучении и определении синонимии, сложившихся в наше время.

В определении синонимов выявилось два основных направления: 1) для одного из них синонимы — это слова с близкими, но различными значениями, 2) для другого синонимы — слова с тождественными значениями. Первое определение, провозглашающее близость синонимичных значений, опирается также на понятийное единство синонимического ряда, т. е. признается в основе синонимического ряда одно понятие. Второе определение, провозглашающее тождество значений, основывается на принципе «одно слово — одно значение» либо на «абсолютном неразличении лексических значений» у синонимичных слов. Сторонники второго направления полагают, что определение «близость значений» слишком неясно и неточно, в то время как «тождество значений» будто бы позволяет выявить действительную синонимию, объективно существующую в языке.

Между обоими направлениями можно обнаружить своеобразную общность — выделение определенной группы синонимов — «абсолютных синонимов» (Р. А. Будагов), «стопроцентных синонимов» (А. А. Реформатский), «тождественных в основном номинативном значении» (А. Д. Григорьева), «точных (равнозначных) синонимов» (Ю. Д. Апресян). Но если первые, т. е. сторонники синонимии, понимаемой как слова с близкими значениями, считают явление абсолютных совпадений (тождеств) значений синонимичных слов нетипичным для развитых языков явлением (слова-синонимы стремятся разойтись в оттенках своих значений), то вторые кладут в основу синонимии именно тождество, абсолютное равенство, нейтрализацию лексических значений, полную взаимозаменяемость⁴. Следовательно, даже эта, казалась бы, общая черта в анализе синонимов обнаруживает больше *расхождений*, чем *сходств* в изучении и понимании синонимии с позиции «близость значений» и с позиции «тождество значений».

Вот почему в истолковании синонимов, в определении их функции в речевом процессе важен выбор позиции: близость или (что совсем иное) тождество (нейтрализация, равенство) синонимичных значений. Если в основу синонимического ряда положить тождество значений, то на первый план выступает лишь общее для всего синонимического ряда, дифференцирующие признаки каждого из синонимов выносятся за границы синонимического ряда, отдаются каждому отдельному контексту. И хотя сторонники этой точки зрения выделяют разную сочетаемость и разную употребительность синонимов в различных контекстах, объяснить этот различный лексический объем и различные возможности синонимов,

³ Н. М. Карамзин, О богатстве языка, «Избр. соч. в двух томах», 2, М. — Л., 1964, стр. 142.

⁴ Об этом автору уже приходилось писать. См.: А. А. Брагина, Синонимы или quasi-синонимы? (Семантика отражения), ВЯ, 1976, 1; е е же, Нейтрализация на лексическом уровне, ВЯ, 1977, 4.

исходя из мысли об их тождестве, фактически невозможно. Возникает заколдованный круг: «точные» синонимы могут быть употреблены только в определенных контекстах, иметь одинаковую синтагматику и т. п. Но чем и как объяснить эту синтагматику, когда значение слова растворяется в отдельных контекстных отношениях?

Мы принимаем за основу синонимии близость значений, выражающих оттенки одного понятия. Так выдвигается на первый план д и ф ф е р е н ц и р у ю щ а я роль синонимов, выделяется не только общее в значении синонимичных слов, но и еще более важные различительные признаки каждого из синонимов. Оттенки значения обуславливают и различную сочетаемость, различную синтагматику синонимов. Такой подход к синонимам позволяет объяснить не только различную словосочетаемость, разную контекстную употребительность, но — и это главное, — определяя синонимы таким образом, мы раскрываем их взаимодействие с выражаемым понятием. Синонимический ряд — это своеобразный мост между миром познаваемых понятий и миром отражающих подобный процесс слов. Синонимический ряд позволяет описать каждое понятие во всем разнообразии его возможных оттенков. И чем больше укрепляется и развивается синонимический ряд, тем более возрастает возможность их адекватного выражения. Дифференцирующие оттенки в значениях синонимов помогают передать и закрепить наши знания, выразить наши чувства и представления.

Определение синонимов как «тождество значений», с одной стороны, или как «близость значений» — с другой, связано с противоположным истолкованием самой природы языка, сущности его функций. Тезис «тождество синонимичных слов» вытекает из представления о языке как о своеобразном коде, обслуживающем человека, подобно тому, как это наблюдается в любой семиотической системе (дорожные знаки, условные сигналы разного типа и т. п.). Тезис же «близость значений синонимичных слов» является логическим результатом осмысления языка как «практического реального сознания». Именно такое понимание языка объясняет его сложность, устойчивость и одновременную изменчивость всех его уровней и прежде всего — лексического. В синонимических рядах еще раз обнаруживается многосторонняя связь языка с условиями жизни общества.

Стремясь выяснить роль таких понятий, как тождество и различие в синонимии, обратимся к рассуждению Ф. Энгельса в «Диалектике природы»: «Абстрактное тождество и его противоположность по отношению к различию уместны только в математике — абстрактной науке, занимающейся умственными построениями, хотя бы и являющимися отражениями реальности, — причем и здесь оно постоянно снимается»⁵. Это очень важное суждение в понимании самой природы синонимии.

Сторонникам теории тождества в синонимии приходится или игнорировать многообразие живых конкретных оттенков в значении слова, или вводить оттенок значения в самостоятельное значение, дробя тем самым синонимический ряд, уничтожая взаимосвязь слов с близкими значениями. Так, один из последователей теории тождества в синонимии полагает, что «исходной ячейкой словаря синонимов должна быть группа тождественных в семантическом отношении слов... При этом, — продолжает автор, — значительное количество признанных синонимических групп распалось бы на два, а то и на три ряда с тождественными элементами»⁶.

⁵ К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 20, стр. 529.

⁶ С. Г. Бережан, [рец. на кн.:] «Словарь синонимов русского языка (в двух томах)», ВЯ, 1971, 5, стр. 128.

Ради чего же нужно раскалывать сложившиеся уже в живом языке, признанные единства — ряд синонимов? Так, например, предлагается разделить ряд синонимов *есть* — *кушать* — *жрать* — *лопать*; — *трескать*, данный в двухтомном «Словаре синонимов русского языка»⁷; на два ряда: *есть* — *кушать* «принимать пищу», и *жрать* — *лопать* — *трескать* «есть много и с жадностью». Ряды синонимов распределяются по сферам употребления (разговорная, просторечная и т. п.), стилистическим особенностям (эмоциональным, экспрессивным), по сочетаемости. «Не было бы нужды тратить столько сил и времени для определения так называемых „оттенков значения“»⁸.

Такой вывод делается из принятого положения о тождестве как абсолютном равенстве. Но как разделить сложившийся синонимический ряд, если не прибегать к различию — оттенку значения (*есть* и *есть с жадностью*!). Синонимический ряд, лишенный «амплитуды» колебания в оттенках значения, бесспорно станет однотоннее и все же не будет абсолютно тождественным во всех своих звеньях. Предлагаемый ряд («ячейка» синонимов *есть* — *кушать* «принимать пищу») включает только два слова, однако их дифференцирующие признаки достаточно яркие и не допускают абсолютного тождества: *есть* и синонимичное *кушать* — это *есть* о ребенке, ласково, как приглашение к еде, в первом же лице, благодаря отмеченной семантике, не употребляется. Как видим, у глагола *кушать* по сравнению с глаголом *есть* оттенки значения достаточно существенны. Точно так же можно установить градацию в значениях глаголов *есть* и *лопать*. Однако «ласковый» глагол *кушать* оставлен в ряду глагола *есть*, а «грубый» *лопать* вынесен в иной ряд. Можно заключить, что в первом случае оттенки значения не принимались во внимание, а во втором — на их основе установлено новое самостоятельное значение «есть с жадностью». Так теория тождества и стремление к «четкому» размежеванию, к «точности» разрушает реально сложившийся синонимический ряд. Оттенок значения не фикция, как полагают некоторые поборники идеи тождества синонимов, а естественно сложившийся дифференцирующий признак в значении слова. Это подтверждают, в частности, синонимические ряды с их подвижными незамкнутыми границами. В круг синонимических отношений вовлекаются слова, сближенные ассоциативно, на основе единства описываемого понятия: *есть* — *убирать* — *усиживать* — *уничтожать*. Но каждое слово удерживается в синонимическом ряду благодаря своему особому различию, т. е. оттенку значения: *есть* — *рубить* — *заправляться*.

Наблюдая жизнь слов, Л. В. Щерба приходит к такому знаменательному суждению: «можно все разложить по полочкам, но какая цена такой схеме?»⁹. Действительно, стремясь к объективному и точному анализу синонимов, определенная часть ученых выдвигает семантический анализ — разложение словесного значения синонимов на элементы: основные, равнозначные и дополнительные различия, устанавливая типы различий¹⁰, выделяют дифференциальные элементы значения (ДЭЗ)¹¹. Следует вспомнить и принятый некоторыми исследователями синонимии закон «омосемизации», по которому также выделяются равнозначные, тождест-

⁷ «Словарь синонимов русского языка (в двух томах)», под ред. А. П. Евгеньевой, I, Л., 1970. См. также и другие словари синонимов русского языка.

⁸ С. Г. Бережан, указ. соч., стр. 128.

⁹ Л. В. Щерба, О второстепенных членах предложения, в кн.: Л. В. Щерба, Избр. работы по языкознанию и фонетике, I, Л., 1958, стр. 102.

¹⁰ Ср. 32 элементарных типа различий: Ю. Д. Апресян, Синонимия и синонимы, ВЯ, 1969, 4, стр. 76, 79, 81, 88.

¹¹ См., например: К. П. Соловья, Типы синонимических отношений в русском литературном языке второй половины XVIII века, М., 1977, стр. 18 и сл.

венные семы как основные. Функционально-стилистические признаки из семантического тождества исключаются¹².

Однако развивающийся язык не может укладываться в жесткие рамки. Кроме того, всякий анализ предполагает и синтез. Один анализ при всей его важности не может дать правдивую картину какого бы то ни было явления. «...часть и целое — это такие категории, которые становятся недостаточными в органической природе... Части лишь у *труса*»¹³. Так резюмирует Ф. Энгельс известное положение Гегеля о частях и целом. Гегель поясняет: «...члены и органы живого тела должны рассматриваться не только как его части... Простыми частями становятся эти члены и органы лишь под рукою анатома, но он тогда имеет уже дело не с живыми телами, а с трупами... внешнего и механического отношения целого и частей недостаточно, для того чтобы познать органическую жизнь в ее истине. И если так обстоит дело с органической жизнью, то в гораздо большей мере это верно в случае применения этого отношения к духу и образованиям духовного мира»¹⁴.

Чтобы познать значение слова, его необходимо анализировать. Но значение живого слова — это не простая сумма «основной семы» и «дополнительных признаков», которые можно прибавлять, вычитать, нейтрализовать. Каждое слово представляет синтез этих признаков, который дает новое качество, может быть, неожиданное. Ср. ряд синонимов: *молодой* — *юный* — *младой* (устарелое, поэтическое) — *зеленый* — *безусый* (разговорное) — *сопливый* (просторечное)¹⁵. Если сопоставить крайние в ряду синонимы *молодой* — *сопливый* (о незрелом, несформировавшемся человеке, специалисте и т. п.), то синонимическое их соединение может показаться и неожиданным, и даже невозможным, случайным: настолько несоединимы, несопоставимы их «основные семы».

Случайность и необходимость обычно рассматривают как раз навсегда исключаящие друг друга. Между тем, случайно ли необычное индивидуальное употребление слова в языке большого писателя, например, у Н. В. Гоголя? «Тиберий Горобец... в то время был уже философ и носил свежие усы»¹⁶. Прилагательное *свежий* в сочетании *свежие усы* выступает в необычном, казалось бы, случайном употреблении. *Свежий* в значении «новый, недавно приготовленный» (*свежее варенье*) или «недавно или только что сделанный, появившийся» (*свежий след зайца*) — это обычные осмысления¹⁷. В. Н. Гоголь, выводя прилагательное *свежий* из этих обычных словосочетаний, включает его в новый синонимический ряд *свежие* — *недавно появившиеся* — *недавно отпущенные* — *едва отросшие* (усы). В слове *свежие* обнаруживается в н у т р е н н я я н е о б х о д и м о с т ь нового употребления. Необходимое и случайное соединились в одном слове, поддерживают друг друга (не исключают!). Три синонимических ряда *свежий* — *новый* — *недавно приготовленный*; *свежий* — *недавно, только что сделанный* — *недавно, только что появившийся* и *свежий* — *недавно появившийся* — *недавно отпущенный* — *едва отросший* (ус — усы) высвечивают многозначность самого слова *свежий*, ставшего уловым в пересечении трех синонимических рядов. Тем самым каждое

¹² С. Г. Бережан, Семантическая эквивалентность лексических единиц, Кипшев, 1973, в частности стр. 196—197. В самой книге имеется немало интересных наблюдений и обобщений.

¹³ К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 20, стр. 528.

¹⁴ Гегель, Энциклопедия философских наук, I (Наука логика), М., 1974, стр. 301—302.

¹⁵ З. Е. Александрова, Словарь синонимов русского языка, М., 1968.

¹⁶ Н. В. Гоголь, Вий, «Полн. собр. соч.», 2, М., 1937, стр. 218.

¹⁷ «Толковый словарь русского языка», под ред. Д. Н. Ушакова, IV, М., 1940, слоб. 70—71.

из значений полисемантического слова *свежий* существует на фоне других своих значений¹⁸. Скрестившиеся синонимические ряды как бы проводят семантическое развитие слова, его полисемию, соединяют в едином слове необходимое и случайное, общезычковое и окказиональное, индивидуальное.

Обратим внимание на д в о й н у ю зависимость синонимических связей. Прежде всего синонимическая связь тех или иных слов определяется значениями этих слов и оттенками их значений. Тем самым новое, казалось, бы, случайное употребление слова определено «внутренней необходимостью», семантикой самого слова. Это, во-первых. Во-вторых, синонимические отношения определяются и «внутренней необходимостью» контекста, ситуации, т. е. требованием адекватного выражения мысли, чувства, явления, поисками соответствующего словесного материала.

Приведем здесь лишь один пример ситуативного расширения синонимического ряда. В повести Л. Н. Толстого «Семейное счастье» есть эпизод в саду, который можно назвать началом будущей «семейной линии». В этом эпизоде автор выделяет одну конкретную вещь — в и ш н и, но в зависимости от ощущений героини меняется их наименование: *вишни* — *черные сочные ягоды* — *ягоды*. Конкретное наименование вишни или не менее конкретная «чувственная» замена *черные сочные ягоды* вытесняет обобщенное родовое имя *ягоды* без какого-либо уточняющего определения. Вытесняет в момент глубокого смущения героини, когда она, «не зная, что говорить, стала врать ягоды...»¹⁹. В эти минуты ей было все равно, что она рвет, она просто не замечала этого. И хотя понятие в и ш н и остается одним и тем же, смена его наименований, смена оттенков в значениях синонимов отражает смену чувств, смену акцентов в восприятии окружающего мира.

Нередко приходится слышать, что подобные явления находятся лишь в кругу художественного творчества. Между тем, ни один мастер слова не мог бы создать ничего подобного, если бы общенародный язык не предоставлял ему возможностей, аналогичных только что описанным²⁰.

Контекст реализует, уточняет одно из возможных употреблений имени: родовое имя *ягоды* конкретизируется контекстом, но обобщенное значение слова не может передать образную конкретность называемой вещи. Иными словами, во взаимодействии «значение слова ↔ контекст» первенство принадлежит самому слову. Значение слова бытует в языке объективно, независимо от отдельного контекста, хотя роль разных контекстов велика в движении и развитии лексического значения, в проявлении семантических оттенков значения (родовое имя *ягоды* в значении конкретного имени, но с оттенком обобщения).

Так проблема оттенка в значении синонимичных слов переходит в проблему качественной, а не количественной оценки синонимов. Для понимания самого явления синонимия проблема оттенков значения представляется особо важной. Синонимический ряд позволяет передать градацию в выражении мысли, чувств, и характеристике вещей и явлений. Слова же, охваченные синонимическими отношениями вокруг одного понятия, составляют ряд с определенной амплитудой колебания: от доминанты и наиболее близких к ней, возможно даже абсолютных синонимов до максимального различия — синонимических употребле-

¹⁸ Ср.: Р. А. Б у д а г о в, Закон многозначности слова, в кн.: Р. А. Б у д а г о в, Человек и его язык, 2-е изд., М., 1976, стр. 236 и сл.

¹⁹ См.: Л. Н. Т о л с т о й, Семейное счастье, «Полн. собр. соч. (юбилейное)», V, М.—Л., 1931, стр. 84—85.

²⁰ См. об этом подробнее: Г. В. К о л ш а н с к и й, Соотношение субъективных и объективных факторов в языке, М., 1975, в частности стр. 209—210.

ний. Синонимы соединены близостью значений, но в их функционировании ведущая роль принадлежит различительным — дифференцирующим оттенкам значений. Поэтому так важно понимать различия в каждом синонимическом ряду.

Своеобразная семантическая «промежуточность» синонимического ряда между семантическим тождеством и семантическим различием объясняет типичную для синонимов полифункциональность. С одной стороны, в языковом общении роль синонимов определяется: 1) функцией дифференциации — основной, обусловленной стремлением выразить оттенки передаваемого понятия. С другой — 2) синонимы характеризуются и функцией тождества, обусловленной либо намеренным требованием отождествления ради стилистического разнообразия речи (не повторять одно и то же слово!), либо толкованием «слово через слово», либо ненамеренным отождествлением близких по значению слов, небрежностью разговорно-обиходного узуса.

Как указывал в своей книге «Диалектика природы» Ф. Энгельс, тождество и различие отнюдь не являются непримиримыми противоположностями. Напротив, они постоянно взаимодействуют²¹. Синонимические связи проявляют прямые значения, выявляют общее и различное в семантически близких словах, помогают очертить круг возможных употреблений слова, выявить объем значения слова — основу различных модификаций («внутреннюю необходимость»). «Надо помнить, что ясны лишь крайние случаи. Промежуточные же в самом первоисточнике — в сознании говорящих — оказываются колеблющимися, неопределенными. Однако это-то неясное и колеблющееся и должно больше всего привлекать внимание лингвиста... здесь мы присутствуем при эволюции языка»²².

Нет спора о том, что такое абсолютные, равнозначные, тождественные синонимы, хотя и называются они разными учеными по-разному. Нет спора и о том, что такое антонимы — слова с противоположными значениями. Но для общения, выражения мыслей и чувств, восприятия разнообразного мира вещей и явлений недостаточно оппозиций типа *да — нет*, *белое — черное*, *день — ночь*... Адекватность выражения требует языковых средств еще и «промежуточных», составляющих градацию, переход, разную степень того или иного значения, слагающегося в оппозиции или тождестве. Синонимический ряд — это и есть источник необходимого словесного материала, составляющий широкую амплитуду колебаний от одного оттенка к другому, от доминанты ряда к ее противоположности.

Незамкнутый синонимический ряд — это и путь развития языка, эволюции языка. Явление синонимии — универсальное явление, соединяющее языковые факты во времени, в локальных и социальных вариантах. Слова устаревшие и новые, диалектные, просторечные и жаргонные находят свое место в синонимическом ряду. Синонимический ряд связывает и то, что принято общеязыковой нормой, и то, что родилось в индивидуальном творчестве. Синонимический ряд воплощает разнообразие и единство литературного языка.

Синонимический ряд, обычно оцениваемый как явление синхронное, вместе с тем не замкнут. Он «скрепляет» время упрежденное с настоящим, храня в синонимической цепи звенья минувших эпох [например, *стиль — манера — пошиб* (устар.)]. Это с одной стороны. С другой — каждый синонимический ряд обычно растет, притягивая к себе метафорические, сравнительные, контекстные, ситуативные, окказиональные, индивиду-

²¹ К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 20, стр. 530.

²² Л. В. Щербач, Некоторые выводы из моих диалектологических лужицких наблюдений, в кн.: Л. В. Щербач, Избр. работы по языкознанию и фонетике, I, стр. 35—36.

альные синонимы. Синонимический ряд приобретает новые дифференцирующие возможности выражения того или иного понятия. Он может объединять индивидуальные языковые поиски с общеязыковыми средствами выражения. Адекватные объяснения терминов, заимствованных слов, экзотизмов, диалектизмов, профессионализмов, жаргонизмов втягивают эту, на первый взгляд, безэквивалентную лексику в синонимические отношения. Общее и одновременно различное в значениях поясняемого и поясняющего слова (в каждом случае свой оттенок значения) создают благоприятные условия для формирования синонимического ряда.

Сравним: *белка — векша, вода — Н₂О, лицедей — актер — артист, порядок — распорядок — режим*. Синонимическими отношениями связаны словосочетания, слова и аббревиатуры, обозначающие одно понятие (*неприкосновенный запас — НЗ, Московский государственный университет — МГУ*). Свообразны синонимические отношения собственных имен (*Екатерина — Катерина — Катенька — Катюша — Катя — Кэт* и т. п.). Тем самым синонимический ряд оказывается связующим звеном, коммуникативным центром между разными речевыми сферами, разными стилями нашей речи. Синонимический ряд — это связующий мост во времени (разные эпохи), в пространстве (между литературными нормативными словами и входящими в литературный речевой оборот диалектизмами, заимствованными из других языков словами), между социальными сферами общения (профессионализмы, жаргонизмы и слова литературного языка). Последние два признака синонимического ряда, конечно, рассматриваются в синхронном плане, но и в этом плане синонимический ряд также не замкнут, имеет историческую перспективу.

Живой синонимический ряд переступает границы отдельного языкового уровня, включая в синонимические отношения все новые слова и словосочетания: происходит взаимодействие лексического и синтаксического уровней (*электрический свет — свет, больничный лист — больничный*). При этом синонимический ряд при правильном его осмыслении ничего не смешивает, ничего не нейтрализует, не вносит разрушительную анархию в языковую систему. Жизненные силы самого языка питают дифференцирующие оттенки значений каждого из синонимов. Эти же оттенки значения сохраняют градацию внутри синонимического ряда, не допускают семантическую, экспрессивно-стилистическую или стилевую нейтрализацию, смешение разных форм языкового выражения. Все это дает возможность провозгласить основной функцией синонимов — функцию дифференциации.

Синонимические связи позволяют найти наиболее адекватное выражение мыслей и чувств (или скрыть их), истолковать непонятное, придать речи нужную окраску. Тем самым наряду с функцией выразительности синонимы осуществляют еще более важную функцию — коммуникативную.

В определении синонимов, подчеркнем это еще раз, в современной лингвистике существует два диаметрально противоположных подхода. По мнению одних ученых, понятие *оттенка значения* антинаучно, субъективен и тем самым является фикцией. По мнению других, *оттенки значения* — одна из существенных особенностей всех современных развитых языков. Именно оттенок значения определяет природу синонимии и ее полифункциональность.

Обычное отношение к синонимам как частному явлению стилистики языка поддерживается мнением, что функция синонимов только эстетическая, что синонимы — это лишь потенциальное богатство нашего языка, которое позволяет сделать нашу речь «красивой», выразительной, и т. п. Предшествующие наблюдения и соображения ведут нас к иному заключе-

нию. Синонимы — универсальное явление, наблюдаемое почти на всех уровнях языка (лексика, грамматика и, более избирательно, определенные явления в фонетике — произношении и интонации). Синонимический ряд не замкнут и не ограничен каким-либо одним языковым уровнем. Синонимические ряды пронизывают языковую — прежде всего лексическую и синтаксическую — систему, черпают свои силы, обретают резервы в дифференцирующих оттенках значений слов.

Соединение в синонимическом ряду слов разной стилиевой окраски подчеркивает важность изучения интенсивных (внутри одного стиля) и экстенсивных (межстилевых) языковых движений. Проблема синонимики оказывается тесно связанной с проблемой стилей. Понимание «что такое стиль?», каково взаимоотношение стилей в пределах единого литературного языка очень важно для понимания самого явления межстилевых синонимов и шире — понимания роли и функции синонимов вообще.

Функционально-стилевое разнообразие языка обусловлено, как известно, социальными, локальными и временными условиями²³. В каждый определенный момент язык функционирует в определенной ситуации, в определенных условиях. Каждый языковой стиль и соединен с другими языковыми стилями, и противостоит им как часть целого. Как в синонимическом ряду мы ощущаем единство самого ряда и специфику каждого синонима, так и в стилевом единстве даже при самом беглом восприятии читатель или слушатель ощущает специфику делового документа, художественного текста, непосредственного разговора. Уже эта непосредственность восприятия стилей в языковом общении, в языковой информации позволяет оценить стили как факт языкового существования, обусловленный историей, культурой общества и его современной жизнью.

Каждый стиль имеет свою функцию, свои формальные черты, соотносится с определенными ситуациями, с определенными внеязыковыми заданиями (лекции, исследования на определенную тему, газетная информация и т. п.). Вот почему определение функциональный стиль — функциональные стили представляется излишним. Нет ни одного явления, категории, факта в языке бесфункционального.

Есть основания считать слово «стиль» многозначным, «чрезмерно перегруженным» значениями (стиль произведения, стиль писателя, языковой стиль, речевой стиль). И все же в употреблении термина «стиль» нет ни двусмысленности, ни ложных толкований. Объяснение этому, надо полагать, кроется в том, что само явление стиля — явление полифункциональное. Преобладание той или иной функции определяет языковые особенности разговора, деловой речи, публичной лекции или художественного текста. Изучение стилиевых функций представляется чрезвычайно интересным и в теоретическом и в практическом плане, хотя уже и существует немало исследований этой сложной проблемы.

В лингвистический обиход уже введены термины «функциональные стили», «функциональные разновидности речи», «типы речи». С помощью первого термина вносится дифференциация в сферу «специальной речи». «Специальная речь» объединяет, как принято считать, «наиболее четко организованные функциональные стили»: официально-деловой, научный, публицистический, в котором в свою очередь уже выделяют газетно-информационный. Однако известно и то, что стиль публицистический и стиль газетно-информационный ближе к стилю художественной литературы, к стилю разговорному (или по терминологии некоторых других ис-

²³ См. об этом, в частности: В. М. Жирмунский, Марксизм и социальная лингвистика, сб. «Вопросы социальной лингвистики», Л., 1969.

следователей — к художественной речи и к разговорной речи), чем к официально-деловому. И все же определенная часть ученых объединяет публицистический стиль вместе с научным стилем и официально-деловым стилем в одну сферу «специальной речи».

Конечно, одни стили могут быть ближе друг к другу, другие дальше, здесь могут быть разные истолкования, но взаимосвязь и взаимопроницаемость «стилей», их «разновидностей», «типов» речи (языка) очевидны и бесспорны. Вопрос лишь в том, каков характер этой взаимосвязи — количественный или качественный? Определяется ли взаимосвязь простым количеством взаимопроникающих элементов или здесь наблюдается качественное изменение функции данного элемента, совершается переход тех или иных языковых элементов из одного стиля в другой?

Необходимо также определить, одного ли порядка изучаемые явления. Сопоставляемые же языковые явления надо взвешивать на одних весах. Такими весами для всего стилевого разнообразия языка может быть лишь подход функциональный. Как бы ни были различны стили (типы, разновидности) языка (речи), выявляем ли мы их экстралингвистическую обусловленность, лингвистическое своеобразие, мы прежде всего определяем их функцию. И всякий раз прослеживая функцию, содержание, форму текста, выявляем общезыковые и частные стилевые особенности, выделяем части целого — единого национального литературного языка. Синонимические же ряды слов, как нити единой ткани, помогают обнаружить это единство²⁴. В этом также обнаруживается своеобразная универсальная роль синонимов.

В разных стилях слово может вести себя по-разному, но в любом контексте его значение должно быть определенным и недвусмысленным. В специальном тексте термин обычно однозначен, лишен эмоциональных оттенков. Он может сохранить лишь коннотативно-социальные ассоциации (*менделеевий, нильсборий*). В стиле художественной литературы или разговорной речи тот же термин может обнаружить этимологию и способность к переосмыслению (у каждого своя *орбита* «свой путь, своя колея») стать образным, эмоциональным (*Желаем мягкой посадки! «благополучия, удачи»*).

Изучение синонимических рядов позволяет отметить выдающуюся роль художественной литературы — языка, «обработанного мастерами» (М. Горький), в формировании и совершенствовании литературного языка²⁵. Обнаруживается движение синонимичных употреблений (еще не значений!) в индивидуальном языке писателей по направлению к общей норме, к общепринятым значениям. Не менее заметной становится и роль деловой, газетно-публицистической, научной и технической речи.

В эпоху научно-технической революции происходит стандартизация в некоторых сферах функционирования языка. К сожалению, некоторые исследователи переносят эти явления на язык в целом. Создается ошибочное мнение об упрощении национальных языков. Между тем язык в эпоху научно-технической революции продолжает развиваться и обогащаться (ср.: *период — этап — стадия — ступень — фаза и виток* из «космического» языка). Поэтому так важно обращать внимание на противоположные языковые явления — на процессы обогащения, смысловой дифференциации значений, на дальнейшее развитие образной системы. Эти противо-

²⁴ См. синонимические ряды и стилевые меты в любом словаре синонимов: «Словарь синонимов», ред. А. П. Евгеньева, Л., 1975; З. Е. А л е к с а н д р о в а, Словарь синонимов русского языка, М., 1967, и последующие издания; В. Н. К л ю е в а, Краткий словарь синонимов, М., 1956 (1-е изд.), 1961 (2-е изд.).

²⁵ В. Н. Я р ц е в а, Шекспир и историческая стилистика, ФН, 1984, 1, в частности стр. 45.

борствующие тенденции достаточно ярко проявляются в синонимии и прослеживаются в разных языковых стилях — от газеты до индивидуального языка писателей. Частичная стандартизация, «экономия» и конденсация, с одной стороны, дифференциация, своеобразная избыточность — с другой, сплетаясь и противоборствуя, движут развитие языка (ср.: линия электропередач — ЛЭП; электронно-вычислительная машина — ЭВМ и доярка, дояр — мастер машинного доения; огородник — мастер зимних теплиц; дизайн — художественное конструирование, техническая эстетика).

Синонимы — это семантические ряды слов. И хотя любые семантические классификации так или иначе находятся во взаимодействии с тематическими группами слов (наши представления об окружающем нас мире всегда воздействуют на язык), тем не менее первые имеют свою специфику в отличие от вторых. Если тематические классификации определены экстралингвистическим планом, потребностью номинации мира вещей и явлений, то семасиологические классификации вызваны внутриязыковыми причинами, потребностью выражения понятий о мире вещей и явлений. Поэтому семасиология «не знает таких категорий, как названия дней недели или времен года. Но в семасиологии, как лингвистической дисциплине, хорошо известны такие категории, как моносемия и полисемия, полисемия и омонимия, слово и словосочетание в функции слова, синонимичные и несинонимичные слова, слова народного и слова книжного происхождения и т. д.»²⁶ Синонимические отношения можно проследить от однозначных слов (терминов, собственных имен и т. п.) до многозначных слов вплоть до метафорических употреблений. Характер же этих отношений обусловлен семантикой самих синонимичных слов.

Категория значения является центральной категорией и для самого языка, и для науки о языке. С этих позиций и была сделана попытка подойти к сложным взаимоотношениям между синонимами, к определению их места и роли в системе современного русского языка, рассмотреть сложные и нередко противоречивые синонимические отношения. Чем более развивается язык, тем большее значение приобретают в нем разнообразные синонимические отношения — лексические, грамматические стилистические. Поэтому проблема синонимии — это вечно открытая проблема любого языка, особенно языка с большой культурной традицией.

Для правильного истолкования синонимов представляется целесообразным учитывать взаимодействие слова и понятия, соотношение понятия и синонимического ряда, соотношение значения и употребления слова, роль контекста в синонимизации слов, особенности стилевых и стилистических различий, возможность включения в синонимический ряд словосочетаний, удельный вес синонимов в разных частях речи, роль парадигматических и синтагматических отношений, амплитуду колебания в значениях синонимов и данные словарей (от общезыкового до индивидуального употребления), роль образно-ассоциативных связей.

²⁶ Р. А. Будагов, Сравнительно-семасиологические исследования (Романские языки), М., 1963, стр. 23. См. также: Ф. П. Филин, О лексико-семантических группах слов, сб. «Лингвистические исследования в честь акад. Ст. Младенова», София, 1957, стр. 526; В. В. Виноградов, Основные типы лексических значений слова, ВЯ, 1953, 5, стр. 12.

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

ВЕДЕНИНА Л. Г.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ
ЗАРУБЕЖНОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ

В июне 1976 г. на Третьем Международном симпозиуме функциональной лингвистики было решено основать «Международное Общество функциональной лингвистики» с целью координировать исследования функционалистов разных стран и разных тенденций. Было решено также проводить ежегодные встречи ученых: с 1974 по 1978 г. состоялось пять таких коллоквиумов: первый в Гренинге (Нидерланды), второй в Клермон-Ферране (Франция), третий в Сэн-Флуре (Франция), четвертый в Овьедо (Испания) и пятый в Салониках (Греция). Печатным органом Общества стал журнал «La linguistique». Секретарем Общества избрана Жанна Мартине — жена известного ученого Андре Мартине. Среди членов Общества — известные языковеды разных стран: А. Мартине и Ж. Мунен (Франция), Э. Бюйсанс (Бельгия), М. Мамудян (Швейцария), Дж. Малдер и С. Харвей (Англия) и др. В 1976 г. вышла в свет книга группы авторов, в которой изложены основные постулаты функциональной школы и проиллюстрирована методика функционального анализа применительно к описанию французского языка¹. Состоялось, таким образом, официальное «оформление» функциональной лингвистики в самостоятельное направление науки о языке. Вопросам возникновения функциональной лингвистики, методам анализа и результатам разысканий в этом направлении посвящена настоящая статья.

*

Слово «функциональный» часто встречается в лингвистических сочинениях, но в разных смыслах; каждая лингвистическая концепция вкладывает в него свое содержание. Различное толкование этого слова определяется пониманием термина «функция». Для одних ученых понятие функции связано с внутрисистемными отношениями лингвистических единиц, другие понимают функцию как «отношение лингвистических систем и их манифестаций к внеязыковой реальности»². К первому роду толкований относится интерпретация функции традиционной описательной грамматикой, глоссематикой, а также генеративной грамматикой. В описательной грамматике функцией называют роль лингвистической единицы (фонемы, морфемы, слова, синтагмы и т. д.) в грамматически оформленном выска-

¹ «Pour enseigner le français. Présentation fonctionnelle de la langue», Paris, 1976. В авторский коллектив входят М. Мамудян и шестеро преподавателей высших учебных заведений Франции и Швейцарии: Л. Бодрийяр, Р. Жюливе, М. Мамудян-Ренар, А. Мазволини, Д. Морсли, Ж. Перетц.

² О. С. А х м а н о в а, Словарь лингвистических терминов, М., 1966, стр. 506.

звании. Различают, например, функцию подлежащего и сказуемого, формирующих основные отношения в предложении; различают функции определительных членов, восполняющих значение других и пр. Для глоссематики и математической лингвистики «функция» означает всякое отношение (реляцию) между двумя лингвистическими единицами. В генеративной грамматике функция понимается как частный вид реляции — как грамматическое отношение между элементами структуры (категориями). Так, переписывая ядерную структуру P , содержащую номинальную и глагольную синтагмы $P \rightarrow SN + SV$, исследователь скажет, что SN в этом правиле выполняет функцию субъекта, а SV — выступает в функции предиката. В случае, если структура представлена глагольной синтагмой из вспомогательного глагола, глагола и именной синтагмы, исследователь скажет, что SN выступает в функции объекта. В трактовке лингвистов Пражской школы термины «функция» и «функциональный» понимаются шире, применительно к языку и его реализации: функциональный значит служащий какой-то цели, выполняющий определенное назначение (например, «функциональная разновидность языка») ³. Заметим, что такое широкое употребление слова «функциональный» не исключает его использования во «внутрилингвистической» сфере: «функциональный» может встретиться как синоним выражения «выступающий в смысло-различительной функции». В лингвистическом обиходе бытует слово «функциональный» в значении, близком к «функционированию» (использование в речи): например, «функциональный план» (В. А. Белошапкина), «функциональная сторона лингвистических единиц» (О. С. Ахманова) и т. п. Столь равнообразные интерпретации смысла термина «функциональный» отражают отсутствие единства взглядов среди лингвистов, называющих себя функционалистами. Функционализм советских лингвистов ⁴ отличается, например, от функционализма современной Чехословакии ⁵, последний в свою очередь не похож на функционализм Р. О. Якобсона, А. Мартине или Э. Косериу, каждый из которых обладает своим исследовательским почерком, в той или иной степени опираясь на открытия Пражского функционализма. Основатели «Общества функциональной лингвистики» (далее мы будем называть их просто функционалистами, так как речь будет только о них) употребляют слово «функциональный» в трактовке пражцев, выдвигая на первый план коммуникативную функцию языка. Они видят задачу лингвистики в рассмотрении языка в «действии», в процессе общения. Функция общения — основная функция языка, ибо она дает наиболее точное представление о реализации структуры и развитии языка. Остальные функции языка — производные функции общения.

В понимании функционалистов язык есть орудие общения, посредством которого человеческий опыт подвергается делению, специфическому для данной общности, на единицы, наделенные смысловым содержанием и

³ Наиболее полный перечень языковых функций содержится в работах Р. О. Якобсона (R. Jakobson, *Essais de linguistique générale*, Paris, 1963, гл. XI). Его описание учитывает все компоненты процесса коммуникации: участников коммуникации (отправителя и получателя речи), роль контекста, языкового кода, физических и психологических характеристик канала связи. Выражая точку зрения функционалистов, Ф. Фраува пишет: «Нет смысла исчислять функции языка, так как перечень функций — это открытый список. Целесообразнее обратить внимание на связь между ситуацией и характером языковых фактов» (F. Frauwa, *Le fonctionnalisme en syntaxe du français*, «Langue française», 35, 1977, стр. 23).

⁴ См.: Ф. П. Филин, Советское языкознание: теория и практика, ВЯ, 1977, 5, стр. 7; Ф. М. Березин, Советскому языкознанию — 60 лет, там же, стр. 22.

⁵ О. А. Лантева, Чехословацкие работы последних лет по вопросам актуального членения предложения, ВЯ, 1963, 4; е е же, Нерешенные вопросы теории актуального членения, ВЯ, 1972, 2.

«звуковым выражением»⁶. Это определение содержит имплицитную полемику: 1) с идеалистической традицией (язык — орудие общения, а не орудие мысли); 2) с дистрибутивизмом Блумфилда (язык — не есть иерархия непосредственно составляющих, в языке наличествуют единицы, наделенные смыслом); 3) с глоссемантикой Ельмслева (абстрактному параллелизму планов содержания и выражения противопоставлена материальность плана выражения — звуковое выражение); 4) с универсализмом Р. Якобсона (акцент на специфичности конкретных языков свидетельствует об отказе оперировать глобальными априорными универсалиями); 5) функционалисты подчеркивают также принципиальную противоположность своей концепции доктрине генеративной грамматики⁷. Функционализм, таким образом, противопоставляет себя другим лингвистическим течениям, видя предмет лингвистического исследования в наблюдениях живых языков.

Теоретический фундамент исследований функционалистов заложен А. Мартине. «Три кита» его концепции — теория двойной артикуляции, закон экономии и учение о смыслоразличении — являются базой размыканий функционалистов не только в области фонологии, но и синтаксиса, семантики, лингвосомиотики и социолингвистики.

Двойная артикуляция (или двойное членение) отражает понимание соотношения между планом содержания и планом выражения⁸. Каждое высказывание проектируется в двух планах: 1) в плане означаемого (первая артикуляция) — на линейные единицы, обладающие смыслом (фразы, синтагмы). Минимальными единицами этого плана являются моремы; 2) в плане означающего (вторая артикуляция) — на единицы, лишённые смысла. Минимальными единицами этого плана являются фонемы. Если взять словоформу *donnerons*, то из сопоставлений *donnerons — mangerons, donnerons — donnons — donnions, donnerons — donnerez* можно заключить, что это слово состоит из трех морем: *donne* — то, что формирует смысл («давать» в противоположность *manger* «есть»); *-r-* — то, что привносит значение будущего в противопоставлении с *i* прошедшего и нулем (неотмеченностью) настоящего времени; *ons* — то, что сообщает значение 1-го лица множественного числа. Морема *donne* /dɔn/ состоит из трех фонем; замена одной из них другой фонемой приводит к образованию иной моремы.

Двойное членение языка — это то, что, по мнению А. Мартине, отличает человеческий язык от других коммуникативных систем (всякого рода кодов и квазиязыков: «языка» жестов, «языка» животных, «языка» музыки). Так, например, расчленив на составные компоненты можно и языковую фразу и фразу музыкальную. Но на этом сходство между ними заканчивается, ибо, в отличие от языковой единицы, в музыке между

⁶ А. Мартине, Основы общей лингвистики, в кн.: «Новое в лингвистике», III, М., 1963, стр. 384.

⁷ Не совсем понятна в связи с этим позиция Е. Косеру, недавно выступившего с тезисом о комплементарности направлений в современной лингвистике, принимающего лингвистов «отказаться от вторжения в чужую область и от притязаний на исключительность» (Э. Косеру, Современное положение в лингвистике, ИАН ОЛЯ, 1977, 4, стр. 15). Узлеченный мечтой о сотрудничестве лингвистических направлений, ученый «раделал» между ними сферы научного наблюдения (генеративно-трансформационной грамматики — речь, функциональной лингвистике — значение, лингвистике текста — смысл), при этом он упустил из виду, что такого рода ограничения «сковывают» исследователей и что от предлагаемого им сотрудничества больше вреда, чем пользы. И возможна ли в принципе познавательная деятельность без споров, дискуссий, борьбы?

⁸ Первое изложение теории относится к 1949 г. (см. статью «La double articulation linguistique», TCLC, 5, 1949, которая вошла в книгу А. Мартине «Linguistique synchronique», Paris, 1968, гл. I—II).

расчленяемым (фразой) и результатом членения (нотами) нет промежуточного слоя первой артикуляции, где функционировали бы наделенные смыслом нотные последовательности, которые сохраняли бы этот смысл в других произведениях. Телеграфный код и система указателей уличного движения тоже располагают частично или полностью произвольными знаками, каждый из которых связан с определенным типом действительности. Однако сфера потребностей человека, которую они обслуживают, никоим образом несравнима с языковой; она чрезвычайно узка и заранее известна отправителю и получателю информации.

II. Закон лингвистической экономии утверждает единство факторов необходимости общения и инерции, которые в процессе развития языка находятся в постоянном конфликте и действуют в противоположных направлениях. Известно, что «право на существование» фонемы обеспечивается отличием ее от других фонем системы. Всякая реализация фонемы, не подкрепляющая оппозицию коррелятивной пары, угрожает независимости этой пары и целостности всей системы. Поэтому язык стремится сохранить и «укрепить» систему, создавая между фонемами зоны безопасности с тем, чтобы неизбежные артикуляционные отклонения не привели к смешению фонем. С другой стороны, для языка целесообразнее (экономичнее) сокращать количество смыслоразличительных артикуляций, ибо чем меньше их будет, тем легче ими пользоваться производителю и получателю речи (вот почему так нестабильны одиночные фонемы, не входящие в систему: они обречены либо на исчезновение, либо на подыскание себе «партнера» — коррелята). Примером действия механизма экономии может служить реорганизация фонологической системы испанского языка: исчезновение звонких фрикативных /v/, /z/, /ʒ/, а также двух звонких и в одной глухой аффрикат /dz/, /dʒ/ и /ts/ и появление двух глухих /θ/ и /x/ при переходе от староиспанской к современной системе. Результаты реорганизации таковы: а) сокращение количества фонем (которое объясняется слабой функциональной нагрузкой этих фонем); б) более явная дифференциация артикуляционных признаков новых фонем (появилась одна интердентальная, одна альвеолярная, одна небная вместо двух альвеолярных — двух палатальных), что значительно уменьшило риск их смешения; в) бо́льшая спаянность фонологической системы благодаря возникновению трех коррелятивных пучков (смычные глухие, смычные звонкие, фрикативные глухие — губные, зубные и небные).

Закон лингвистической экономии был сформулирован первоначально применительно к эволюции фонологических систем языков, но уже в книге «Принцип экономии в фонетических изменениях» автор расширяет сферу его применения, распространяя на развитие языка в целом (понятие лингвистической динамики)⁹, при этом он предостерегает от узкого толкования термина «экономия». А. Мартине пишет: «...в любой точке языкового потока как в плане значащих элементов (т. е. слов, морфем и

⁹ В 1972 г. вышла в свет статья Р. А. Будагова «Определяет ли принцип экономии развитие и функционирование языка?» (ВЯ, 1972, 1), направленная против дегуманизации процесса исторического развития языков. В своей книге «Что такое развитие и совершенствование языка?» (М., 1977, стр. 224—225) он еще раз вернулся к полемике с французским ученым: «Хотя в подобном противопоставлении нового и старого в языке немало остроумного, все же невозможно согласиться с Мартине в его стремлении все новое свести к часто количественному увеличению языковых единиц („специальных и редких“), а старое — к инерции говорящего коллектива. Мартине как будто бы не учитывает, что новое может выражаться не только и даже не столько в количественном увеличении единиц, сколько прежде всего в различных качественных трансформациях уже наличных в языке единиц и категорий. При этом решающую роль играет тот факт, что подобные трансформации в своей тенденции обычно содержательны. Именно поэтому развитие языка невозможно свести к экономии, как бы широко ни понималась эта последняя».

г. д.), так и в плане различительных и выделительных элементов (т. е. фонем, ударения и т. д.) постоянно приходят в столкновение потребности общения и инерция. Не существует такого большого или малого отрезка речи, за которым не скрывалось бы как то, так и другое. Как только мы признаем это, мы уже не сможем более ограничивать значение термина „экономия“ понятием „бережливости“, что по существу делает Пасси, когда до известной степени противопоставляет „экономия“ „эмфазе“. Термин „экономия“ включает все: и ликвидацию бесполезных различий, и появление новых различий, и сохранение существующего положения. Лингвистическая экономия — это синтез действующих сил»¹⁰.

В последние годы А. Мартине и его последователи говорят о лингвистической экономии как о рациональной организации передачи языкового содержания средствами языковой формы, связывая таким образом закон экономии и двойную артикуляцию. Механизм двойной артикуляции оберегает нашу память от перегрузки: «...мы могли бы вообразить себе систему коммуникации, в которой каждой определяемой ситуации, каждому явлению действительности соответствует особый возглас (языковое выражение. — В. Л.). Достаточно только подумать о том, как бесконечно разнообразны подобные ситуации и явления действительности, чтобы понять, что, если бы такая система выступала в той же роли, что и наши языки, она должна бы включать настолько большое количество различных знаков, что память человека была бы не в состоянии их усвоить, — пишет А. Мартине. — Несколько тысяч знаков (...), обладающих широкими комбинационными возможностями, позволяют нам делать и получать сообщения о таком огромном количестве явлений, для обозначения которых не хватило бы миллионов различных возгласов»¹¹.

III. Учение о смысловом различении. «Лингвистическое исследование начинается с того момента, когда из физических и физиологических явлений выделяются такие, которые представляют собой основные моменты коммуникации, — пишет А. Мартине. — (...) Так, в высказывании *prends le livre!* („возьми книгу“) лингвист расчленяет три единицы первого членения благодаря констатации трех единиц отбора: *prends* „возьми“ при возможных *donne* „дай“, *jette* „брось“ *pose* „положи“ и др.; *le* при возможном *un*; *livre* «книгу» при возможном *cahier* „тетрадь“, *canif* „перочинный нож“ или *verre* „стакан“, в слове *mille* /mil/ „тысяча“ различают три фонемы ввиду наличия в нем трех последовательных единиц отбора: /m/ — при возможных /b/ (что дало бы *bile* „желчь“), /p/ (что дало бы *pile* „куча“), /v/ (*ville* „город“) и т. д. (...) Только элементы, несущие информацию, являются существенными в лингвистике»¹².

В трактовку смысловозначительной функции языковых единиц Н. С. Трубецкого функционалисты ввели тезис об относительном характере смысловозначения: «Нельзя спросить так: „играет ли такое-то явление смысловозначительную роль в таком-то языке?“, — отмечает М. Мамудян, — правильное сказать: „В какой степени это явление является смысловозначительным для данного языка?“»¹³.

Работы функционалистов в области фонологии советским читателям хорошо известны, многие из них переведены на русский язык, многие подробно комментировались в нашей лингвистической литературе (в работах П. С. Кузнецова, А. А. Реформатского, Т. В. Булыгиной, Г. А. Клемова, В. И. Поставаловой и др.).

¹⁰ А. Мартине, Принципы экономии в фонетических изменениях (проблемы диахронической фонологии), М., 1960, стр. 129—130.

¹¹ А. Мартине, Основы общей лингвистики, стр. 377.

¹² Там же, стр. 396.

¹³ M. Mahmoudian, Structure et variation en linguistique, CFS, 1977, 31, стр. 17.

В области фонологии функционалисты считают себя последовательными учениками Н. С. Трубецкого, продолжающими его учение в плане уточнения понятий архифонемы и нейтрализации, а также разработки проблемы моно- и полифонематичности (правил определения полифонемной значимости звуковых комплексов).

В области историко-фонологического анализа функционализм показал связь между синхронным состоянием языка и его развитием: каждое данное состояние языка может быть понято тогда, когда известна совокупность предшествующих его состояний, оно в свою очередь обуславливает следующее, будущее состояние, закладывая пути дальнейшего изменения. Функционалисты убеждены, что будущее состояние языка предсказуемо на основании данных предшествующего состояния. В решении конкретных проблем исторической фонетики функционалисты являются сторонниками хронологии Соссюра, основанной не на древности памятников, а на исторических закономерностях развивающейся системы: для исследования важно установить не столько то, когда произошло изменение, а указать его историческое место относительно (до или после) другого события; на основании этого можно установить, когда язык перешел из одного состояния в другое¹⁴.

Описание языка, в представлении функционалистов, включает два раздела: 1) фонологию (фонематику, по их терминологии), 2) синтаксис (монематику). Исследование этих областей велось неравномерно: в то время как фонологическая концепция функциональной школы выработалась на протяжении четырех десятилетий (30—60-е годы), наблюдения в области синтаксиса начались сравнительно недавно (70-е годы), и при этом испытывали (и продолжают испытывать) влияние (подчас давление) фонологической методики. Наиболее последовательное описание монематики находится в упомянутой выше коллективной работе функционалистов. Синтаксическая часть книги построена следующим образом: А. Комбинирование. а) Классификация: характеристика монем; б) Синтаксис: описание отношений между монемами данного языка. Б. Варьирование: а) Морфология: изменение означающего монемы; б) Семантика: означаемое монем и его изменения.

Функционалисты считают комбинирование процессом, в котором участвует вся монема полностью (означающее и означаемое). При классификации монем авторы принимают во внимание минимальное количество монем, необходимое для построения высказывания, и все виды связей между единицами, ибо комбинаторный критерий для классификации имеет более важное значение, чем морфологический или семантический. Авторы признают три вида отношений между монемами — функциональную, сочинительную и подчинительную связь: а) *Paul travaille le bois* «Поль работает по дереву»; *le bois* предполагает *travaille*, в то время как обратной связи не существует: можно сказать *Paul travaille*, но нельзя изъять *travaille* (**Paul le bois*); б) *Paul t r a v a i l l e e t r é u s s i t* «Поль работает и преуспевает» (оба члена сочинены, ни один из них не предполагает наличие другого); в) *Paul travaille le bois blanc* «Поль обрабатывает мягкое дерево». Это тот же вид зависимости, что и в первом случае, но рассмотренный в другом направлении, со стороны независимого: наличие *le bois* определяется присутствием *blanc*, что доказывается невозможностью изъять *le bois* (**Paul travaille blanc*). Предложенная классификация монем учитывает также семантические и формальные особенности компонента (ядра), с которым связана рассматриваемая монема, а также характер связи

¹⁴ Критика применения фонологической теории к истории звуковых изменений дана в ст. Г. В. Воронковой, и М. И. Стеблина-Каменского «Фонема — пучок РП?» (ВЯ, 1970, 6).

с этим ядром: так, например, монема *ait* прошедшего времени *imparfait* соотносима только с одним глагольным ядром, *bien* сочетается с несколькими и разными компонентами: (глагольным: *il travaille bien*, прилагательными: *bien grave*, наречием: *bien souvent*), но вид отношений между *bien* и этими компонентами всегда остается одним и тем же, а, например, *le bois* может быть связано различными отношениями с разного рода компонентами (*charme du bois*, *il travaille le bois*, *dans le bois*, *avec le bois* и т. д.). В связи с этим монематика включает три раздела: а) раздел «связи» (*Fonctions*), где рассматриваются монемы в отношении к глагольному предикату; это отношение и составляет функцию наблюдаемого компонента: функция субъекта, объекта, атрибутивная, функция пассива, объектно-атрибутивная, определительная, функция приложения, функция самоуправления и сочинительная функция; б) раздел «монемы модальности», который включает наблюдения над видовыми, временными и модальными формами глаголов, а также артиклем, детерминативами, числительными и именной флексией «множественное число»; в) раздел «лексические монемы», в котором рассматриваются лексемы глаголов, лексемы существительных, местоимения, прилагательные, наречия, а также сложные сегменты (инфинитивные и причастные обороты). Морфология в традиционном ее понимании не составляет самостоятельной части функционального описания языка, морфологические факты рассматриваются в третьем и частично во втором разделах. Дело в том, что функционалисты употребляют термин «морфема» в узком смысле — как вариант означающего, вычленив из традиционного понимания этого понятия смысловую сторону. Это объясняется полисемантической термином «морфема», который одни лингвисты трактуют в формальном плане (как совокупность нескольких фонем), другие — как минимальную двустороннюю единицу. Если многозначность слова «функция» не затрудняет понимания («une polysémie sans ambiguïté»), ибо читатель всегда может догадаться, о чем идет речь, — о назначении языка или языковой единицы, — то различное толкование термина «морфема» нежелательно¹⁵. Морфология понимается функционалистами как дисциплина о вариантах означающего. Параллельно вариантам означающего в каждом разделе указанной работы присутствует параграф о вариантах означаемого. Оба эти плана параллельны, но не симметричны, так как морфология оперирует дискретными единицами, в то время как семантика аналогичных единиц не имеет. Функционалисты считают, что методы фонологии и семантического поля не применимы к описанию семантических явлений, так как дают неверное представление об иерархии значений лингвистических единиц. По мнению функционалистов, такого рода наблюдения не учитывают то, что у нас принято связывать с коммуникативным заданием высказывания. Влияние этих фактов на смысловое содержание столь значительно, считают функционалисты, что способно изменить значение вплоть до противоположного.

Рассмотрение лингвистических единиц в коллективной работе функционалистов ведется в направлении от положения в системе (часть А) к речевой реализации (часть Б). Описание лингвистической единицы начинается вне контекста и ситуации, потом следует рассмотрение его позиции, влияние окружения, затем контекста и ситуации. В отличие от описательной грамматики, которая раскладывает языковые факты «по полочкам» той или иной классификации и оставляет их в этом положении с тем, чтобы никогда и ничем не нарушать их покой, функционализм в работе с фактами активен и динамичен. Анализ ведется с помощью серии приемов:

¹⁵ A. Martinet, La notion de fonction. Conférence donnée à l'occasion de sa promotion au Doctorat honoris causa de l'Université catholique de Louvain, Paris, 1971, стр. 2.

распространение предложения (если необходимо выявить синтаксическую роль компонента, прибегают к наращиванию второстепенных членов: дополнения к глаголу, определения к имени, добавлению однородного члена и т. д.), изъятие из предложения того или иного компонента, перестановка членов предложения, замена одного компонента другим. При описании вариантов означаемого показывается основное значение лингвистической единицы, затем его контекстуальные варианты, обращается внимание на контрастно не определяемые пограничные случаи, когда трудно провести различие между семантикой и синтаксисом.

Швейцарские функционалисты интерпретируют структуру как гибкую организацию, включающую возможности не одной, а нескольких реализаций. Поэтому они считают достойными внимания все и всяческие употребления лингвистических единиц. Их книга «Pour enseigner le français. Présentation fonctionnelle de la langue» открывает всестороннюю картину функционирования французского языка в наши дни: читатель видит не только нормативные явления, но и то, что отмирает, и то, что существует на периферии, и то, что проникает из одной сферы в другую.

Многоаспектное рассмотрение лингвистических единиц позволило авторам коллективного труда найти ракурс для нетрадиционного рассмотрения некоторых явлений: расчленив группы разнородных фактов (исключить, например, пассивную форму из состава глагольных монем как явление семантического, а не синтаксического плана). Функционалистам удалось также увидеть сходство фактов, скрытое от других наблюдателей французского языка; такова более широкая, по сравнению с традиционной, трактовка сочинения: критерием сочинения предложено считать одинаковый синтаксический статус единиц языка.

Функциональная методика лингвистического описания имеет и отрицательную сторону, которая проявляется в непоследовательности и противоречивости классификации языковых единиц. Ограничимся несколькими примерами. Раздел «Обособление» включает все случаи обособления прилагательного (*gentil, son frère n'a pas pu lui refuser son aide*) и исключает именные конструкции (*Louis, le roi de la France*), которые отнесены к сочиненным конструкциям (между тем семантико-синтаксическую общность обеих конструкций подтверждают трансформы: *son frère qui est gentil; Louis qui est le roi*). Из поля зрения исследователей выпало несколько проблем, в том числе, например, вопрос о сложноподчиненных предложениях. В раздел «Сочинение» отнесены конструкции разного синтаксического статуса; здесь можно встретить и части сложного целого, и случаи плеоназма (*Mon père, il vient = Мой отец, он идет*), который в условиях разговорной речи не является эмфазой, и предложные конструкции (*Je voudrais du vin avec de l'eau = Я хотел бы вина с водой*). Все это создает подчас эффект эклектичности и неаргументированности. Противоречивость книги, как нам кажется, отражает спорный характер некоторых теоретических положений функционализма, о которых мы скажем ниже.

В области социолингвистики функционалисты занимаются изучением географического распространения языкового материала как в синхронном, так и в диахроническом планах, пытаются связать факты того или другого плана¹⁶.

В исследованиях, ориентированных на «внутреннюю» сферу социолингвистики, заслуга функционалистов несомненна: она состоит в расширении понятия нормы, освобождении от консервативного ее понимания как эквивалента письменного книжного языка. Это выгодно выделяет

¹⁶ См. описание франко-провансальского говора: A. M a r t i n e t, La description phonologique du parler franco-provençal d'Hauteville (Savoie), Paris, 1945; е г о ж е, La prononciation du français contemporain, Paris, 1945; и др.

функциональные исследования на фоне французской грамматической традиции с ее эксплицитными или имплицитными оценками: «можно/нельзя», «хорошо/плохо». Отличительной чертой функционализма является связь с языковой практикой и в первую очередь с преподаванием языков. Все без исключения авторы являются педагогами, многие из них известны как создатели учебных пособий¹⁷, руководители семинаров на курсах повышения квалификации для преподавателей французского языка из различных учебных заведений Франции¹⁸. Они даже создали учебный фильм о лингвистике¹⁹. Ученые функционального направления часто объединяются в авторские коллективы для составления словарей, разного рода справочников и других изданий практического назначения²⁰. Свои наблюдения, как правило, они строят на анализе обширного языкового материала из разных функциональных сфер. По мнению А. Мартине, сведение языков к «структурам», т. е. тому, что остается от языка после удаления тех черт, которые исследователю представляются нерелевантными, — это метод, чреватый большими опасностями, если он не сопровождается тщательным анализом языковой реальности в ее «сыром» виде, со всей ее непоследовательностью, промежуточными явлениями и избыточностью. Функционалисты стремятся строить свои наблюдения на экспериментальном анализе языкового материала, на основании опроса информантов (аргументы такого рода приводятся не только в области фонетических фактов языка, но и синтаксических явлений, пример тому — «функциональное описание языка»).

Заслуга функциональной методики в том, что она четко формирует критерии анализа, делая его не зависящим от интуиции наблюдателя. Функционализм видит свою задачу не в простой регистрации фактов, а в описании механизмов, определяющих функционирование языка. Характерной чертой функционализма является также борьба со злоупотреблением терминами («l'expansion terminologique débridée»)²¹: недопустимость терминологических инноваций, полисемии терминов.

Функционализм взымал на себя тяжелую ношу по синтезу двух исследовательских планов: анализа системных отношений в языке и изучения их реализации в речи. Нужно сказать, что по этому пути он идет самостоятельно: идеи славянских школ о различении активного и пассивного аспектов науки о языке не известны (точнее, почти не известны) западноевропейской лингвистике. Балансируя между Сциллой жесткой детерминированности и Харибдой вариативности, функциональная школа пришла к выработке собственной доктрины. Наиболее полным, последовательным и непротиворечивым образом функциональная доктрина воплощается в описании второго языкового членения — уровня фонем. В исследованиях первого членения (монем) удачной оказывается та часть, в которой говорится о «поведении» языковых единиц одной формальной

¹⁷ Таковы работы А. Мартине: «Initiation pratique à l'anglais» (Lyon, 1947), «Initiation pratique à l'allemand» (1965).

¹⁸ Назовем составленный Ж. Мартине сборник «De la théorie linguistique à l'enseignement de la langue» (Paris, 1972), в котором собраны лекции по языковедению, прочитанные девятью авторами на курсах Национального Педагогического Института с 1969 по 1971 гг., работы Ж. Мулена «Clefs pour la linguistique» (Paris, 1968), «Clefs pour la sémantique» (Paris, 1972).

¹⁹ Фильм длительностью 57 минут «Entretiens avec André Martinet», снятый Ж. Мартине в Париже в 1972 г. по заказу Национального Педагогического Института, рассчитан на использование в семинарах по языковедению в университетах и на курсах повышения квалификации преподавателей.

²⁰ Таковы следующие издания: A. Martinet, H. Walter, Dictionnaire de prononciation française dans son usage réel (Paris, 1968), «La linguistique, guide alphabétique» (Paris, 1969).

²¹ A. Martinet, The unity of linguistics, «Words», 10, 2—3, 1954, стр. 124.

принадлежности. Функционалистам удается «расщепить» формальные классы согласно той роли, которую языковые единицы играют в предложении. Но на следующем этапе анализа, когда нужно объединить расщепленное, — установить парадигматические отношения между членами, полученными в результате функционального расщепления, и связать это с системной иерархией, — функционалистов постигает неудача. Думается, что эта неудача неслучайна, она имеет в своей основе а) упрощение структуры языка и б) гипертрофированное представление о том месте, которое занимает в языковой системе речевая сфера. Функционалистов можно упрекнуть в отсутствии чувства меры; у них все немножко «слишком», «чересчур»: речевой реализации отводится чересчур много места, иерархия лингвистических единиц слишком проста.

Считая себя учениками Ф. де Соссюра, функционалисты не принимают его дихотомию язык/речь (*la langue/la parole*): «мы не уверены, что Соссюр, имея возможность продолжить свои размышления, стал бы настаивать на необходимости различать язык и речь. Мартине отбрасывает это противопоставление», — пишет Ж. Мартине²².

Возвращаясь к сравнению из мифологии, можно сказать, что функционализму не удалось избежать Харибды вариативности, языковая структура в его представлении становится понятием с «размытыми» границами («...структура всегда подчинена функции» — А. Мартине)²³. Отсюда чрезмерно широкое понимание языковой нормы (как реализации, которая обеспечивает коммуникацию членов говорящего коллектива)²⁴, которое в сочетании с «распыленностью» морфологии приводит, например, к предложениям унифицировать систему спряжения французского глагола (для глагола *aller* А. Мартине предлагает парадигмы: *j'alle, tu alles* и т. д.). Отсюда постулат о неравноправии звуковой и графической форм языка, утверждение о «подчиненности» графической формы звуковой материи (несправедливое при рассмотрении проблемы в синхронном плане), которые находят выражение в предложениях по перестройке французской орфографии на звуковой основе. Отсюда некоторые другие крайности и противоречия, которые мы наблюдали выше на «микрولينгвистическом» материале описания французского языка и о которых много говорят противники функциональной школы²⁵.

Представление о языковой структуре как о двухъярусном построении (уровень монем — уровень фонем) исключает из языковой иерархии слово (не в каждом языке слово вычленено из речевого потока, поэтому функционалисты оперируют понятием синтагмы), значительно упрощая и обедняя тем самым описание языкового организма. Неминуемым следствием «исключения» слова из состава лингвистических единиц является эмпиризм в сфере семантики, растворение анализа в речевых значениях, невозможность существенных обобщений в этой области. За исключением статьи А. Мартине об омонимии и полисемии²⁶, вряд ли можно назвать выполненное функционалистами какое-либо конструктивное исследование языкового значения. «В настоящее время развитие семантики возможно только в форме разработки конкретных проблем на материале конкретных языков. Время для подведения итогов и создания общей концепции еще не насту-

²² J. Martinet, *Entretiens avec André Martinet*, стр. 8.

²³ Там же, стр. 23.

²⁴ D. François, *La notion de norme en linguistique*, «De la théorie linguistique...», стр. 153.

²⁵ L. Flydal, *Une application des théories de la linguistique dite fonctionnelle*. «Norwegian Journal of Linguistics», 30, 1976, стр. 111.

²⁶ A. Martinet, *Homonymes et polysèmes*, «La linguistique», 1974, 10, стр. 37—45.

пило», — эти слова Ж. Мулена как нельзя лучше резюмируют состояние дел в функциональной семантике²⁷.

Было бы, однако, неверно на основании всего, что сказано о функционализме, составить о нем впечатление как о направлении, которое призывает к описанию отдельных фактов речевой действительности и воздерживается от обобщения и гипотез. Функционализм — направление в прямом смысле этого слова, со своими принципами и методами, которые (как и все в науке) дискуссионны, но которые дают ему право занимать определенное место среди лингвистических теорий. Функционализм — это возрождение, продолжение и развитие некоторых идей пражских языковедов, своего рода реакция на жесткий детерминизм современных ему школ и течений. Построение лингвистического анализа строго на фактической основе языковой материи, учет влияния социологических факторов на языковые процессы, рассмотрение языкового материала в ракурсе потребностей смысловываждения — эти стороны исследовательской манеры языковедов, объединившихся в «Общество функциональной лингвистики», не могут не привлекать внимания наших читателей.

²⁷ G. M o u n i n, *Clefs pour la sémantique*, стр. 18, а также: G. C h a r r o n, C. G e r m a i n, *Vers une sémantique structurale*, в кн.: «Actes du deuxième colloque de linguistique fonctionnelle», Clermont-Ferrand, 1975, стр. 153—164.

БЕЗБОРОДЬКО Н. И.

УЧЕНАЯ ЛАТЫНЬ НА УКРАИНЕ

Изучение латинских рукописных произведений выдающихся мыслителей Украины XVII—XVIII вв. представляет определенный интерес не только для науки о латинском языке, но и для теории языкознания. Среди языковых средств, используемых в научном стиле, в первую очередь необходимо исследовать синтаксис, так как именно синтаксические структуры приобретают наиболее важную роль при передаче логического хода рассуждения. Поэтому в настоящей статье уделенный вес синтаксиса — наибольший. Именно в свете синтаксиса будут рассмотрены проблемы языковых контактов и заимствований, взаимоприспособляемости языков и роли двуязычия.

В системе образования на Украине XVII в. весьма значительна роль латинского языка, влияние которого было сильным еще в Киевской Руси XII в.¹ В первоклассном учебном заведении того времени, в Киево-Могилянской коллегии, основанной в 1615 г. и переименованной в 1701 г. в академию, латынь считалась вторым родным языком². В стенах Киевской академии преподавали крупнейшие филологи XVII в. Мелетий Смотрицкий и Памва Беринда.

Характер и направление исследуемых нами написанных на латинском языке научных трактатов украинских ученых XVII—XVIII вв. имели определенную литературную традицию. В этих рукописных трудах продолжают древние и средневековые методы исследования. Язык трудов украинских философов XVII—XVIII вв. является в основном классическим латинским языком, возрожденным гуманистами, однако в нем обнаруживаются следы влияния восточнославянской языковой стихии³, которая смогла вдохнуть новую жизнь в застывшие формы латинского синтаксиса, а при выборе и образовании новых слов дать масштаб для наглядности и жизнеспособности отдельных выражений. При этом в XVII в. латинский язык подвергался влиянию восточнославянских языков в большей степени, чем в XVIII в., ибо в XVII в. он был не только письменным языком, но и разговорным.

Язык каждого ученого имеет свои особенности, но для средних веков и нового времени вплоть до XVIII в. дело обстоит намного сложнее. Здесь исследователь часто стоит перед неразрешимой проблемой: язык произведения является не только языком ученого, но и его писца, образование которого обычно отличается от образования ученого, даже если по времени они недалеко отстоят друг от друга. Писцы одной школы (в нашем случае — южнорусской) писали орфографически одинаково. В конце

¹ А. А. Шахматов, Киевопечерский патетик и Печерская летопись, ИОРЯС, II, 1897, стр. 831.

² П. Житецкий, Очерк литературной истории малорусского наречия в 17 веке, Киев, 1889, стр. 12.

³ Ср.: Ф. П. Филин, Древнерусские диалектные зоны и происхождение восточнославянских языков, ВЯ, 1970, 5, стр. 13; В. Розов, Значение грамот 14 и 15 вв. для истории малорусского языка, «Университетские известия», № 5, май, Киев, 1907, стр. 9—10; Е. Будде, К истории великорусских говоров, Казань, 1896, стр. 18.

изученных нами рукописей писцы обычно помещали название книги, имена автора и писца, время написания. Из записей писцов видно, что они и авторы — современники, поэтому язык рукописей украинских философов — латынь XVII в.

В латинских рукописях XVII—XVIII вв. применяется развитая и осложненная система средневековых аббревиатур⁴, которые составляют 48,5% текста. Особенно характерным является недописывание «несущественных» элементов слова. По нашим наблюдениям, к «существенным» элементам слова относили начальные и ударяемые слоги или гласные, например, *absolúte* сокращалось в виде *au* (Г. 619^б), *carere* — *car* (Г. 619 об.), *homo* — *ho* (Г. 631), *módus* — *mo* (Г. 635) и т. д.

В процессе исторического развития языка подвергаются изменению все его аспекты, в том числе и орфография. В этом отношении латинский язык XVII в. не является исключением. Отметим следующие орфографические особенности его: 1) упрощение написания: вместо диграфов классической латыни *ae*, *oe* употребляется одно *e*, например, *haecceitatem* (Г. 631) — класс. *haecceitatem*. Встречается и обратное явление: вместо *e* классической латыни употребляется диграф *ae*, например, *caeteras* (Г. 619) вместо более принятого орфографического дублета *ceteras*; 2) неправильная орфография слов греческого происхождения, например, *cathegorica* (Г. 624) вместо *categoria* (греч. *κατηγορικῆ*), *chymera* (Г. 641 об.) вместо *chimaera* (греч. *χίμαιρα*) и др.

Поскольку украинские философы изучали латинский язык только в школе, искусственно, а не в естественной языковой общности, то потребность в языковом подражании образцу была очень большой. Тем не менее встречаются любопытные случаи вклинения разговорной восточнославянской речи в латинский текст. Так, писец, мысля на родном языке, написал: *mihi tum anno 21-to a natu* (Г. 678 об.), а затем, зачеркнув *mihi*, исправил его на *teo*. Таким образом, первоначально писец буквально перевел на латинский язык выражение «мне тогда был 21-й год».

Влияние как экстралингвистических, так и интралингвистических факторов вызвало заметные сдвиги в синтаксическом строе латыни XVII в. На уровне слов и словосочетаний можно отметить изменения в особенностях значений падежей, моделях их построения. Поскольку материальные средства выражения различных грамматических категорий относительно ограничены, для выражения новых грамматических значений используются уже наличные в языке формы, значение которых переосмыслиется, например, беспредложные конструкции классической латыни *ablativus causae* и др. начинают присоединять к себе предлоги *a*, *ex* и т. д., причем в системе предлогов продолжается процесс развития отвлеченных значений. Приведем примеры: *negatio importat perfectionem ex sua propria et principali ratione* (Г. 633 об.) «отрицание вызывает совершенство благодаря свойственному ему первоначальному смыслу», здесь *ex sua propria et principali ratione* — оборот *ablativus causae*; *natura dimitteretur a verbo* (Г. 632 об.) «природа распространилась от слова», *a verbo* — тоже *ablativus causae*;

⁴ Ср.: A. Carrelli, *Lexicon abbreviatarum*, Leipzig, 1901.

⁵ В статье приняты следующие сокращения: Г. — Инокентий Гизель, *Tractatus metaphysicus*, Киев, 1645—1647; Горб. — И. Кононович-Горбацкий, *Философский курс*, Киев, 1648; Пин. — Пиновский, *Disputationes philosophicae*, Киев, 1713; Чарн. — Х. Чарнуцкий, *Философский курс*, Киев, 1704; Явор. — С. Яворский, *Tractatus theologiae controversae*, Киев, 1695; Яс. — И. Ясинский, *Philosophia naturalis*, Киев, 1705; Уж. — И. Ужевич, *Грамматика словеская*, Киев, 1643; Крок. — И. Кроковский, *Philosophia biennalis*, Киев, 1706; Калин. — С. Калиновский, *Cursus philosophicus*, Киев, 1729; Прок. — Т. Прокопович, *Риторика*, Киев, 1752. Цифры обозначают лист рукописи.

ср. еще: *quae scilicet inest subiecto suo ex naturali eius exigentia et consecutione* (Г. 636 об.) «которая присуща своему субъекту вследствие его естественной сути и связей», *ex naturali eius exigentia et consecutione* — ablativus causae.

В классической латыни творительный качества употреблялся без предлога, в латинском языке XVII в. он часто имеет при себе предлог, например, *sunt in diverso genere* (Г. 636) «в различном роде» («различного рода»). Вместо классического родительного приименного в XVII в. употребляются различные падежи с предлогами и без них: 1) вместо родительного части может употребляться творительный с предлогом *ex*: *cum alibuo ex dictis passionibus* (Г. 622 об.) «с каким-либо из названных явлений»; 2) употребляется приименный дательный: *compositio antiquae albedini* (Г. 643 об.) «состав древних белил»; 3) предлог *ad* с винительным падежом: *relationem realem dominii ad creaturas* (Г. 642 об.) «реальное отношение господства над творениями». В классической латыни вместо *ad creaturas* стоял бы родительный объекта *creaturarum*. Ср. также: *ordinem essentialem ad illos actus et obiecta* (Г. 640 об.) «существенное развитие упомянутых дел и объектов»; *obligationem ad creaturas* (Г. 642 об.) «обязательство относительно творений»; 4) творительный с предлогом *de*: *numeratio minor de essentia actuali* «меньший вывод о творческой сути»; *litteras de existentia* (Г. 630) «наука о существовании»; *in ordine ad cognoscendum verum* (Чарн. 28 об.) «в движении к постижению истины»; *refertur in animam* (Яс. 29 об.) «направляется в умообразительную душу человека».

Иногда устойчивые сочетания классической латыни заменяются кальками с восточнославянских языков, например, вместо классического *in me est* «зависит от меня»⁶ употребляется словосочетание с предлогом *de* «от»: *subiectum esse de essentia passionis* (Г. 622) «субъект не зависит от сущности явлений».

Прилагательное в обобщающем смысле иногда употребляется в единственном числе среднего рода, как в восточнославянских языках, например, *de novo* (Яс., 30) «из нового».

Встречаются личные местоимения в именительном падеже, хотя они не несут на себе семантической нагрузки, например, *nos non intuetur* (Г. 631 об.) «мы не рассматриваем»; *ego apprehendam* (Горб. 335) «я улавливаю»; *tu eris Parisiis* (Уж., 65) «ты будешь в Париже». Как известно, в классических языках указательное и относительное местоимение-подлежащее согласуется с существительным сказуемого в роде и числе. В XVII в. в латинском языке на Украине в этом случае обычно стоит единственное число среднего рода, как в восточнославянских языках, например, *quid est anima sentiens* (Прок. 123) «что есть чувствующая душа?» вместо классического *quae est anima sentiens*; *quid sit causa efficiens?* (Крок. 261 об.), «что может быть побудительной причиной?» вместо *quae sit...*, ср. также: *hoc est syllabae* (Калин. 19) «это — слоги»; *hoc est existentes* (Г. 630) «это — существующие (явления)».

Происходит переосмысление значений некоторых глагольных форм: под влиянием интралингвистических факторов инфинитив теряет глагольные признаки⁷. Так, он употребляется с предлогами, как существительное, например, *cum ipso existere* (Г. 628 об.) «с самим существованием»; *per nonesse in subiecto* (Г. 635) «через небытие в субъекте». Как существительное, инфинитив может иметь при себе определение, например, *esse omne* (Пин. 295) «все бытие». Perfectum logicum passivi узально приобретает значение сложного сказуемого. Наша мысль подтверждается, во-первых, упо-

⁶ И. Х. Дворецкий, Латинско-русский словарь, М., 1976.

⁷ Ср.: Н. Г. Корлатяну, Исследование народной латыни и ее отношение с романскими языками, М., 1974, стр. 212.

треблением причастий и прилагательных как однородных членов, что особенно убедительно, когда они соединены сочинительным союзом, например, *Estque vel purus vel mixtus est* (Г. 636) «И оно бывает или чистым или смешанным»; во-вторых, применением форм, подобных *fuertit concepta* (Г. 641) «была высказана», *fuertit distinctae* (Г. 622 об.) «были изобретены», *fuertit productae* (Г. 660) «были произведены», *fuit procreata* (Явор. 7) «была рождена», *dictum fuit* (Горб. 352) «было сказано», *comparata fuit* (Горб. 337). Последние можно толковать не только как средневековые формы перфекта и плюсквамперфекта, но и как причастия с глаголом-связкой, т. е. как сложное сказуемое.

Вообще количество причастий в роли сказуемого увеличилось в XVII в., что объясняется все усиливающейся тенденцией к аналитизму. Приведем примеры. *Petrus est ambulans* (Калин. 40 об.). Этот смысл римлянами был бы передан так: *Petrus ambulat* «Петр гуляет». Ср. еще: *existentia est perficiens* (Г. 629) «существование осуществляет...».

Но самыми интересными являются случаи нарушения согласования причастий, которые свидетельствуют о начале принципиального изменения латинского причастия. Этот процесс аналогичен превращению восточнославянского причастия в деепричастие. Возьмем предложение *Illi residens sunt in diverso genere* (Г. 636) «Они, оставаясь неизменными, суть различного рода»; *residens* (им. ед.) не согласуется с *illi* (им. мн.), *residens* тяготеет к глаголу *sunt* и только через посредство глагола относится к подлежащему, т. е. выполняет функцию восточнославянского деепричастия.

Книжная конструкция⁸ винительного с инфинитивом, синонимичная дополнительным и подлежащим придаточным предложениям, довольно широко употребляется в ученой латыни на Украине. Однако чаще всего в ней употребляется инфинитив презенса и редко инфинитив перфекта и будущего времени, например, *sufficit exiturum illud sub conditione* (Горб. 356) «достаточно, что он будет существовать условно».

Характерной особенностью трактатов XVII в. является оборот «винительный с инфинитивом» при безличных глаголах, стоящих в страдательном залоге. В этом случае в классической латыни употреблялся обычно оборот «именительный с инфинитивом». Однако круг глаголов страдательного залога, при которых ставится оборот винительного с инфинитивом, узок (*requiritur, colligitur, supponitur, resolvitur, significatur, probatur, dicatur, confirmatur, infertur, dicendum est, sentiendum est, notandum est, sciendum est, advertendum est*). Ср., например, *Requiritur essentias esse improducibiles et incorruptibiles in essendo obiectivo* (Г. 639) «Доказывается, что сущности не могут создаваться и не подвергаются порче в объективном бытии». При этом Чарнуцкий, Яворский, Кроковский, Кононович-Горбацкий иногда, а Ясинский и Пиновский очень часто употребляют после глагола, стоящего в страдательном залоге, независимое предложение, например, *Obicitur, quarto, nullo sensu percipimus formas substantiales, ergo non dantur* (Яс. 29) «представляется, в-четвертых, что никаким ощущением мы не познаем субстанциальные формы, следовательно, они не обнаруживаются».

Как *ἀλλὰ εἰρησεν* встретился нам винительный с инфинитивом, который синонимичен предложению цели: *at quando existunt produci...* (Г. 639) «но поскольку они существуют, чтобы производиться...».

В XVII в. идет разрушение оборотов «винительный с инфинитивом» и «именительный с инфинитивом». Так, в некоторых однородных оборотах сказуемое может стоять в личной форме. Ср. ... *docent formas substantiales*

⁸ Ср.: там же, стр. 213.

non dari, sed solum asserunt, res naturales constitui formaliter per aliquam accidentalem dispositionem, casu, sine consilio ordinatorum corpusculorum seu atomorum (Яс. 29) «указывают, что субстанциальные формы не обнаруживаются, а только показывают, что естественные вещи определяются формально при помощи какого-либо акцидентального распределения, случайно, без решения определенных частиц или атомов». Ясинский поставил после глагола *docent* по законам классической латыни оборот «винительный с инфинитивом» (*formas substantiales non dari, sed solum asserunt*), в котором, как видим, одно сказуемое выражено инфинитивом, а второе — личной формой глагола в изъявительном наклонении. Этот анаколуф отражает положение латинского языка на Украине в XVII в., когда он был не только письменным, но и разговорным языком в условиях двуязычия. Оборот «именительный с инфинитивом» иногда зависит от глагола действительного залога, например, от *resideat*, а оборот «винительный с инфинитивом» — от глагола страдательного залога, что мы объясняем смешением действительного и страдательного залогов⁹, которое произошло по различным причинам, а также тем, что названные обороты имеют адекватные синтаксические уровни. Приведем пример: *resideat non produci efficienter* (Г. 634) «выяснилось бы, что они в действительности не рождаются...».

Появление самостоятельных причастных оборотов было результатом определенной тенденции в развитии строя индоевропейского предложения¹⁰. Мы не согласны с С. И. Соболевским, когда он пишет, что творительный самостоятельный употребляется в смысле сокращенного обстоятельного предложения. А. А. Потебней установлено, что термин «сокращенное придаточное предложение» вместо «самостоятельный оборот» не имеет под собой почвы¹¹. С другой стороны, С. И. Соболевский прав, указывая, что творительный самостоятельный равен по смыслу придаточным предложениям¹².

В дальнейшем в индоевропейских языках проявляется тенденция к структурному размежеванию синтаксических компонентов предложения. А. А. Потебня отмечал усиление различий между именем и глаголом, причем это явление, по его мнению, связано с общей перестройкой внутри предложения, с растущей формальной дифференциацией членов предложения¹³. Эти процессы, безусловно, обеспечивают более четкую организацию предложения в условиях нарастающей сложности его состава. А. А. Потебня справедливо полагал, что обороты, заключающие в себе относительные местоимения и союзы, сложнее бессоюзных оборотов и потому могли возникнуть из этих последних, но не наоборот¹⁴. Эти обороты выражают адвербиальные отношения времени, уступки, причины, условия, сравнения. Кроме того, самостоятельный оборот фактически содержит независимое высказывание¹⁵, уточняющее не тот или иной член личного предложения, а все это предложение в целом: *His itaque promis-*

⁹ Ср.: D. Norberg, *Beiträge zur spätlateinischen Syntax*, Uppsala, 1944, стр. 24.

¹⁰ Г. С. Кнабе, К происхождению абсолютных причастных оборотов в древнегреческом языке, сб. «Вопросы античной литературы и классической филологии», М., 1966, стр. 421.

¹¹ Ср.: И. Белоруссов, Синтаксис русского языка в исследованиях Потебни, Орел, 1901, стр. 87—88.

¹² С. И. Соболевский, Грамматика латинского языка, М., 1948, стр. 331; I. M. Viese, *Der Spätlateinische Akkusativus und Verwandtes*, Helsingfors, 1928, стр. 50.

¹³ А. А. Потебня, Из записок по русской грамматике, I—II, М., 1958, стр. 222, 516—517.

¹⁴ Там же.

¹⁵ Ср.: В. И. Борковский, П. С. Кузнецов, Историческая грамматика русского языка, М., 1965, стр. 482.

sis sententiis, deceditur controversia (Г. 629 об.) «Итак, после того, как были высказаны эти взгляды, заканчивается контрверза»; *hoc non obstante* (Горб. 356) «ибо это не противоположное»; *quibus recte perspectis caetera levi negotis cogniscentur* (Уж. 31) «если (так как) это хорошо понятно, остальное легко будет усвоено». Анализ примеров показывает, что значение предшествования легко получает более или менее сильный оттенок каузальности или условности. Выражение адвербиальных отношений времени — самая распространенная синтаксическая функция самостоятельных причастных оборотов в изучаемых трактатах. Частота употребления самостоятельных оборотов в других синтаксических функциях в исследованных текстах характеризуется следующими цифрами: обороты, равноценные самостоятельному предложению, составляют 15,8%, со значением уступки — 10,4%, со значением причины — 5,2%, со значением сравнения — 5,2%, обороты, синонимичные условным предложениям, — 5,2%. Из двух главных типов творительных самостоятельных — тех, что выражают одновременность с ее разновидностями, и тех, что выражают предшествование с его разновидностями, наиболее характерен для языка XVII в. второй тип. С понятием предшествования связано 58% оборотов, с понятием одновременности 42%. Поскольку предшествование во времени более или менее осложнено условными и причинными значениями, которые иногда становятся основными, обороты этого рода выявляют логическую — временную, каузальную, условную или уступительную — связь между главным и второстепенным сообщениями. Тем самым в изложении на первый план выдвигается логический момент, и оно становится строгим, деловым и точным¹⁶. В 63% случаев отчетливо вводится логический момент в повествование.

В рассматриваемых трактатах синтаксические отношения между частями сложноподчиненных предложений весьма многообразны. Для выражения различных оттенков одного и того же отношения употребляются разные союзы и союзные слова, которые иногда не вносят никаких различий в названные синтаксические отношения, а только придают определенную стилистическую окраску. Элементы предложений обычно же переплетаются друг с другом, так что их легко разделить. В исследуемых трактатах почти нет сложноподчиненных предложений, состоящих менее чем из 25 слов.

Специфическими для классической латыни были определительные предложения с оттенками. Рассмотрим синтаксические условия существования и синтаксические функции этих предложений в латинском языке XVII в. на Украине. Попытаемся установить, насколько действенны здесь были законы последовательности времен. Наблюдения над частотой употребления различных типов позволят определить продуктивные и непродуктивные конструкции в истории латинского языка.

Занимаясь генезисом придаточных предложений в классических языках, И. В. Нетушил вслед за Коршем полагал, что подчинительное сочетание возникло вследствие ослабления вопросительной интонации. Так же толкует это явление и академическая «Грамматика русского языка» (М., II, 1960).

В трактатах украинских философов определительных предложений со сказуемым в форме конъюнктива в четыре раза меньше, чем определительных предложений со сказуемым в форме индикатива. Определительные предложения со сказуемым в форме конъюнктива в интересующий нас период сохранили на Украине такие же значения, какие описаны исследо-

¹⁶ Н. И. Безбородько, Функциональное соотношение причастных конструкций и придаточных предложений времени в архаической латыни, ФН, 1969, 2.

вателями архаической и классической латыни: они бывают следственными, причинными, уступительными, цели. Степень их употребительности можно определить следующим образом: со значением следствия — 55%, со значением причины — 35,3%, предложения со значением уступки составляют около 6,5%, со значением цели — приблизительно 3%. Как показывают приведенные данные, сочетание определительных предложений с конъюнктивом сказуемого характерно для философского произведения. Об этом свидетельствует чрезвычайно высокий процент определительных предложений со значением причины (35,5%). В текстах нефилософского содержания бывает значительно больше определительных предложений со значением цели. Так, наше исследование художественных произведений поздних латинских авторов Авсония и Клавдиана показало, что у Авсония из 57 определительных предложений со сказуемым в форме конъюктива со значением следствия — 30, цели — 14, причины — 8, уступительных — 2, уступительно-причинных — 2, условия — 1. У Клавдиана всего 49 таких предложений, из них со следственным значением — 27, с целевым — 12, с причинным — 7, с условным — 1, с уступительным — 1, с уступительно-причинным — 1. Из этого описания ясно, что группировка различных видов определительных предложений со сказуемым в форме конъюктива у Авсония и Клавдиана идентична и отличается от группировки видов определительных предложений со сказуемым в форме конъюктива в философских трудах.

Позиция определительного предложения не влияет на его содержание. Приведем примеры определительных предложений с оттенком причины, употребленных соответственно постпозитивно и интерпозитивно: *quod quodammodo substantia per suam subsistentiam ultimo et complete habet, quod per se sit* (Г. 635) «что в известной мере субстанция благодаря своей сущности окончательно и полностью отличается, так как существует сама по себе»; *terminum, qui in se repugnet, — chimaera* (Г. 641 об.). «термин, который (так как) противоречив в себе, — химера».

При исследовании определительных предложений с оттенком причины обращает на себя внимание прежде всего то, что они относятся в основном к местоимениям и прилагательным, являясь обоснованием свойства, выраженного в главном предложении. В качестве определяемого слова могут выступать лексически различные местоимения или прилагательные. Для этих предложений с приместоименной или приадактивной придаточной частью характерна возможность употребления этой последней при всех изменениях определяемого местоимения или прилагательного, т. е. независимо от его синтаксической функции в предложении. Относительное местоимение может стоять в любом падеже. В придаточных предложениях отсутствуют усилительные частицы, которые подчеркивали бы его причинное значение. Ни в одном из рассмотренных предложений мы не нашли частиц *quidem, ut, utpote* и под. Сказуемое всегда стоит в конъюнктиве, причем везде строго соблюдаются законы последовательности времен со всеми тонкостями их употребления.

В латинском языке XVII в. на Украине не отмечается повторения существительного в придаточном предложении, т. е. в этот период уже нет остатков прежнего паратаксиста, при котором оба предложения были самостоятельными.

Относительные предложения с оттенком цели, уступки были почти окончательно вытеснены соответствующими предложениями с союзами. Отсутствуют относительные предложения с условным значением.

Просодический период рассматриваемых трактатов имеет пять основных структурных типов. Период представляет собой: 1) сложноподчиненное предложение (одно или несколько), причем начинается он придаточ-

ным — такие периоды ничем не отличаются от античных; 2) сложноподчиненное предложение (одно или несколько), причем начинается главным предложением; 3) сложносочиненное предложение с подчинением (таких периодов большинство); 4) силлогизм, имеющий большую посылку, малую и вывод. Эти периоды делятся на два подтипа: а) сложносочиненное предложение, состоящее из трех простых предложений; б) сложносочиненное предложение с подчинением; 5) нередко встречаются «циклические периоды», своеобразие которых не только в синтаксисе, но и в лексических повторениях, как бы цементирующих несколько периодов в один, интонационно разделенный на отдельные отрывки.

Труды многих украинских философов на родном языке также характеризуются сложными периодами. Так, в «Мире» Гизеля (1669) периоды часто имеют вводные слова «во-первых», «во-вторых» и т. д.

Самым крупным отрезком текста многих рассматриваемых сочинений является абзац. Размеры его велики: обычно на странице помещается 1—3 абзаца. Одним из лексических средств, при помощи которого достигается особая связанность абзаца, являются указательные местоимения *id, illud*, в которых обобщается какая-то часть содержания предыдущих предложений, и вследствие этого между предшествующими предложениями и данным создается очень тесная последовательная конструктивная связь. При этом *id, illud* встречаются чаще в функции подлежащего, но нередко бывают и в функции прямого дополнения. Роль связующего звена играют также безличные предложения. Наречия (*itaque, ita, ibi*), поставленные в начале предложений, соединяют абзацы в одно стройное целое. Их частое употребление очень характерно для научной прозы XVII в. Конструктивная связанность научного текста достигается также использованием в начале предложений некоторых сочетаний слов: *eo, eo ipso, hoc modo* и др. Абзац играет существенную роль не только в графическом отношении, но и в смысловом: в нем рассматривается одно понятие.

В результате исследования ученой латыни на Украине можно сделать следующий вывод. Латинский язык XVII в. на Украине испытал на себе влияние восточнославянских языков. Тем не менее особенности его проявлялись скорее в непрерывности, чем в контакте с местным языком. Влияние живого языка объясняется тем, что латынь была тогда не только письменным, но и разговорным языком, которым отечественные ученые-билингвы владели хорошо. Именно на этой стадии возможно влияние речи билингва на структуру неродного языка.

В XVIII в. в роли литературного языка стали выступать народные языки, и это вошло в употребление настолько, что отпала необходимость в письменной и устной латыни, которая с конца XVIII в. перестала быть языком учености у славян.

ВИНОГРАДОВА В. Л.

О МЕТОДЕ ЛЕКСИКОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ТЕКСТА
«СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

Во вступительной статье к «Словарю-справочнику „Слова о полку Игореве“» указано, что «„Словарь“ стремится открывать новые исследовательские перспективы...»¹. Когда работа над Словарем-справочником находилась в стадии завершения, автором настоящей статьи было начато лексико-логическое исследование словарного состава «Слова о полку Игореве». Изучение лексических единиц в этом исследовании проводится новым методом, который можно назвать функционально-синонимическим. Этот метод является частью парадигматики, в нем находит свое полное выражение основное свойство парадигматики — взаимозаменяемость синонимов. Сущность функционально-синонимического метода состоит в том, что каждое взятое слово во всей его семантике изучается не изолированно, а в составе своих синонимических рядов. В диахроническом аспекте это дает возможность проследить судьбу изучаемых слов внутри синонимических рядов, определить характер внутренних и внешних лексико-семантических отношений слов с их синонимами; эти отношения часто служат главными причинами утраты слов, изменений их значений и т. д. Изучение лексики функционально-синонимическим методом возможно лишь в пределах одной части речи, так как в основе данного метода лежит синонимия. Он не изолирован от синтагматики и предусматривает изучение сочетаемости синонимов; кроме того, метод обязательно включает в себя стилистическую характеристику слов, поскольку стилистические различия нередко бывают причиной семантических изменений и синонимических различий. В основу исследования положено прежде всего понимание структуры слова как элементной (в общем аспекте: элементы понятия в качестве ядра значения, дифференциальные элементы, словообразовательные, грамматические и т. д.) и синонимов как слов, имеющих одно и то же понятие, но различающихся дифференциальными элементами значения.

Исходным фактором функционально-синонимического метода является один из главных моментов процесса естественного речевого акта. Этот момент состоит в выборе нужного слова из нескольких синонимов. В процессе же художественного творчества важность и роль этого момента значительно возрастает, ибо выбором средств выражения определяется степень ценности художественного произведения. Чем талантливее художник, тем лучше ему удается выбрать нужное слово из синонимического или понятийно-смыслового ряда для выражения своей мысли. Взяв объектом исследования лексику «Слова о полку Игореве», мы сделали попытку заглянуть в творческую лабораторию автора (и редакторов?) замечательного памятника Древней Руси. Это представляется тем более важным, что многое в «Слове» до сих пор остается неразгаданным.

¹ «Словарь-справочник „Слова о полку Игореве“», сост. В. Л. Виноградова, под ред. Б. А. Ларина, В. Л. Богородского, Д. С. Лихачева, 1, А—Г, М.—Л., 1965, стр. 3.

Настоящую статью следует рассматривать как результат широкого исследования исходных лексических единиц «Слова о полку Игореве» в системе русского языка XI—XVII вв. указанным выше методом. В ней представлен результат изучения только тех слов и только тех вопросов, которые имеют прямое отношение к «Слову»; рассматриваются лишь синонимы, встречающиеся в «Слове», а не все синонимические ряды. Работа начата изучением существительных первого выпуска «Словаря-справочника „Слова о полку Игореве“» с привлечением некоторых синонимов из других выпусков (со 2 по 6-й вып.). Небольшой объем статьи не позволил описать в ней результат научных разысканий всех существительных 1-го выпуска «Словаря-справочника» (в алфавитном порядке описываются все исходные существительные на Б и часть на В).

Первое по алфавиту существительное, которое употребляется в «Слове о полку Игореве», отвлеченное *бѣда* используется в нем дважды в своем основном значении «несчастье, горе; бедствие». Слова *бѣда* входит в состав образного выражения—олицетворения: «Уже бо бѣды его пасеть птиць по дубно», 9² (ср.: «А уже бѣды их пасона птицы крылати под облак лѣтят...» Задон. Унд. ³, 537, XVII в. ~ XIV в.). Олицетворение абстрактных понятий встречается в древнерусской литературе («вѣста от неприязнина ума неправда и нача бороти ся въ чловѣцѣхъ» Прол. 1383 г., л. 32 г.; «Воста бо на дѣвѣство блуд и погуби дѣвѣство» ВМЧ, апр. 1—8, 169, XVI в.; «бѣда его по голѣннѣмъ бьетъ» Поуч. к ленив., 94). Олицетворения слова *бѣда* щедро донес до нашего времени восточнославянский фольклор, особенно в пословицах и поговорках, в севернорусских причитаниях, в украинских думах и белорусских песнях ⁴. Олицетворение *бѣда* в устном народном творчестве, видимо, следует рассматривать как одну из ступеней конкретизации, овеществления этого существительного в живом народном языке. Причиной такого овеществления послужила общая тенденция народной речи к конкретизации отвлеченных понятий. Поводом — неприятности, трудности, возникающие при столкновении с определенными лицами или предметами и явлениями, т. е. семантические ассоциации со словом *бѣда*. В ряде диалектов *бедой* называется «несчаст-

² Текст «Слова о полку Игореве» цит. по кн.: «Словарь-справочник „Слова о полку Игореве“», 1, стр. 15—25. Цифра означает стр. 1-го изд. «Слова» 1800 г. (указана на полях текста в «Словаре-справочнике»).

³ В статье приняты следующие сокращения: ВМЧ — Великое Милень-Четьи, собрание всероссийским митрополитом Макарием. Изд. Археогр. комисс., М.—СПб., 1868—1917, XVI в.; Ж. Дав. Пер.— Житие преподобного Даниила, Переяславского чудотворца. Изд. С. И. Смирнова, М., 1908, между 1556 и 1562 гг., сп. XVI в.; Задон. Унд.— Задонщина (сп. ГБЛ, собр. Ундольского, № 632), в кн.: «Слова о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла, М.—Л., 1966, стр. 535—540, XIV в., сп. середины XVII в.; Ипат. лет.— Ипатьевская летопись, ПСРЛ, т. 2, 2-е изд., СПб., 1908; Каз. лет.— История о Казанском царстве (Казанский летописец), ПСРЛ, т. 19, СПб., 1903, сп. XVI—XVII вв.; Лет. Рус.— Летописец Русский (Московский летописец). Пригот. к изд. А. И. Лебедев. Чтения ОИДР, 1896, кн. 3. 1552—1563 гг., сп. конца XVII в.; Новг. 1 лет.— Новгородская 1-я летопись. Синодальный список, в кн.: «Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов», М.—Л., 1950, стр. 13—100, сп. XIII—XIV вв.; Патер. Син.— Синайский патерик. Изд. подгот. В. С. Голышевко, В. Ф. Дубровина. Под ред. С. И. Коткова, М., 1967, XI—XII вв.; Поуч. к ленив.— А. И. Пономарев, Памятники древнерусской церковно-учительной литературы, вып. III, СПб., 1897; Прол. 1383 г.— Пролог март. половины, 1383 г., ЦГАДА, ф. 381, № 172; Прол. XIV в.— Пролог март. половины, XIV в., ЦГАДА, ф. 381, № 174; Усп. сб.— Успенский сборник XII—XIII вв. Изд. подгот. О. А. Князевская, В. Г. Демьянов, М. В. Лянов. Под ред. С. И. Коткова, М., 1971; Флав. Полон. Иерус.— Н. А. Мещерский, История иудейской войны Иосифа Флавия в древнерусском переводе, М.—Л., 1958, начало XII в., сп. XVI в.; Хрон. Амар.— В. М. Истрин, Хроника Георгия Амартола в древнем славяно-русском переводе, т. I. Текст. Изд. ОРЯС Рос. АН, Пг., 1920, XI в., сп. XIII—XIV вв. и XV в.

⁴ См.: «Словарь-справочник», 1, стр. 44.

ный человек», «старый человек», «болото», «двухколесная телега» и т. п.; в украинском языке *bida* — «бес, нечистая сила».

Второй раз *bьda* в «Слове о полку Игореве» [«Аще и вьща душа въ дрзѣ гьльѣ, нъ часто бьды страдаше (Всеслав)», 36—37] употребляется, как и первый раз, в форме мн. вин., а не род. ед. беспредложного, как считал С. П. Обнорский⁶. Дело в том, что глагол *страдати* выступает здесь в значении «терпеть» и требует прямого дополнения: *страдати что-л.* — «терпеть что-л.». Ср.: «такую бьду страдати...» Хрон. Амарт., л. 68а, XIII—XIV вв. ~ XI в.; «Велику бьду страдаше и смерти ожидаше» Ж. Дан. Пер. 50, XVI в. ~ меж. 1556 и 1562 гг.; «И пострадаша мученическия страсти отъ безбожныхъ варваръ» Каз. лет., 95, XVI—XVII вв. ~ XVI в.

Чтобы ответить на главный вопрос, почему в этих двух фразах «Слова о полку Игореве» использовано именно *bьda*, а не какое-либо другое синонимичное ему слово, необходимо было исследовать весь многочисленный синонимический ряд этого значения и выяснить структурно-семантические особенности каждого из его членов, их стилистические особенности, их взаимоотношения друг с другом, выявить картину их существования в системе древнерусского языка. В результате этого исследования мы пришли к следующему выводу: слово *bьda* было одним из семантически объемных в синонимическом ряду «горе, несчастье; бедствие»; это основное значение совпадало с его общим значением, т. е. семема «горе, несчастье, бедствие» присутствовала потенциально в остальных четырех значениях *bьda* («угроза бедствия, опасность, страх возмездия», «кара, наказание», «вред, мучение», «нужда, необходимость; принуждение»). Основной причиной выбора автором (или редактором) «Слова» лексемы *bьda* из множества синонимов явилась ее семантическая объемность и, следовательно, наименьшая точность значения, которая необходима в данных выражениях «Слова». Здесь языковая ситуация допускает наличие в лексеме *bьda*, кроме общего и основного значения «горе, несчастье; бедствие», еще элементов трех остальных значений («угроза бедствия, опасность, страх возмездия», «кара, наказание», «вред, мучение»): *беды (Игоря) подстерегають птици...*; (*Всеслав*) *беды терпел...*

Кроме слова *bьda*, в тексте «Слова о полку Игореве» применяются еще следующие синонимы: *напасть*, *туга*, *печаль*, *тоска*, *рана*, *жалоба*, *жалози* (*жалоща* — ед. ч.), *жля* (*желя*). Каждый из них имел свои лексико-семантические особенности.

Ближе всех по семантике к слову *bьda* подходила лексема *напасть*, хотя по объему была значительно уже. Отглагольное слово *напасть* в своем основном значении «горе, несчастье; бедствие» сохранило элемент своего этимона (глаголы *напасти*, *нападу*) — элемент внезапности, который отличалось от других синонимов. Благодаря элементу внезапности *напасть* выдерживало конкуренцию с другими членами этого синонимического ряда. Другой отличительной чертой слова *напасть* сравнительно с *bьda* была слабость семантического выражения чувства горя и преобладания элемента состояния-бедствия извне, от объективно существующих событий и явлений. Слово *туга* больше тяготело к выражению чувства душевной горести, чем к обозначению бедствия, горя вообще. Автор «Слова о полку Игореве», точно зная особенности этих двух синонимов, по-видимому, совершенно правильно употребил их во фразе «А вьстона бо, братие, Киевъ тугою, а Черниговъ напастьми», 20. В то время как киевляне во главе с князем Святославом испытывали чувство горести, услышав

⁶ С. П. Обнорский, Очерки по истории русского литературного языка старшего периода, М.—Л., 1946, стр. 165.

о поражении Игоря от половцев, для черниговцев это было бедствие (ср.: «по всей волости Черниговской князи изымани и дружина изымана, избита, и мятхуться акы в мутви городи воставахуть», Ипат. лет., 1185 г., 645—646, XV в. — о смятении в Посемье). Лексема *туга* встречается в «Слове» еще шесть раз, в том числе в образных выражениях и олицетворениях, в семантике «горя, несчастья» с преобладанием чувства горя. По нашим наблюдениям, слово *туга* нередко использовалось в древнерусских произведениях при описании общего страдания от голода или жажды («недоста намъ воды, и бяхомъ въ мнозѣ тузѣ.. жаждую явдыхающа...» Патер. Син., 120—120 об., XI в.; «Нѣкогда же гладу бывъшюу ... и бяше туга велия въ градѣ» Усп. сб., 163 в — г, XII—XIII вв.). В «Слове о полку Игореве» в подобном случае тоже используется *туга*: «Въ полѣ безводнѣ жаждую имѣ (войску Игоря) лучи съпряже, тугою имѣ тули затче», 39. По употреблению *туга* было скорее общерусским словом, чем книжным; в некоторых сугубо книжных, а также переводных светских произведениях Древней Руси *туга* отсутствует или попадает единично. Поэтому тот факт, что в небольшом по объему тексте «Слова» *туга* встречается семь раз, свидетельствует об общерусском характере этого памятника.

Книжные памятники, отвергавшие слово *туга*, используют в семантике «горе, несчастье» лексему *печаль*. Синоним *печаль* был гораздо шире в употреблении, чем *туга*. В нем элемент чувства душевного горя был еще больше, чем в *туга*. Кроме того, слово *печаль* в своей семантике имело элемент тревоги, беспокойства, который мог в некоторых контекстах настолько усиливаться, что переходил в оттенок значения. В «Слове о полку Игореве» *печаль* завершает художественный образ, рисующий состояние Русской земли после поражения Игоря, построенный на четырех синонимах: «А востона бо, братіе, Киев тугою, а Черниговъ напастьми; тоска разляся по Руской земли; *печаль* жирна тече средь земли Рускыи», 20—21. Применение лексемы *печаль* продиктовано здесь предыдущим синонимом *тоска*, у которого элемент тревоги, беспокойства, душевного волнения был настолько силен, что переходил в самостоятельное значение. Второй раз *тоска* встречается в «Слове» в синонимическом сочетании: «Се у Римъ кричатъ подѣ саблями Половецкыи, а Володимиръ подѣ ранами. Туга и тоска сыну Глѣбову!», 27—28. Для древнерусского языка обычной была синонимическая бинарная (двучленная) синтагма *туга и печаль* (*печаль и туга*). Автор «Слова» заменил здесь компонент *печаль* на *тоска*, чтобы подчеркнуть сильную степень смятения и тревоги раненого Владимира Глебовича.

Значение «горе, несчастье, бедствие» у существительного *рана* было второстепенным. Оно образовалось опосредствованно из основного значения «рана, телесное повреждение», которое, очевидно, совпало с общим значением. Характерной особенностью семемы «горе, несчастье, бедствие» в слове *рана* являлось прежде всего некоторое преобладание элемента бедствия над элементом чувства (ср.: «Наиде рана на Полочяны, яко нѣкако бяше ходити уличямъ.. да аще кто из ыстыби вылезеть, напрасно убьенъ бываше невидимо» Новг. 1 лет., 1092 г., 18, XIII в.); кроме того, в данной семеме продолжал сохраняться элемент общего значения «телесное повреждение»; в более глубоком пассиве слово *рана* сохраняло здесь элемент своего значения «кара, наказание», значения, присущего главным образом книжно-религиозным контекстам. Учитывая все эти лексико-семантические особенности лексемы *рана*, автор «Слова о полку Игореве» применил именно ее в рефрене «Загородите полю ворота своими острыми стрѣлами за землю Русскую, за раны Игоревы, буего Святъславича!», 33; см. еще 29—30, 30, стремясь показать бедствия и горе, которые принесло поражение Игоря русскому народу, раны и смерть в Игорева войске и, наконец,

показать восприятие этого поражения как кары божьей за нарушение Игорем вассальной подчиненности Киеву в деле борьбы с половцами. Рассматриваемая семема в слове *рана* в древнерусском языке употреблялась сравнительно редко, но была стилистически нейтральной и даже, пожалуй, чаще встречалась в деловых и бытовых контекстах. Поэтому автор «Слова» в близкой синонимической паре *рана* — *язва* остановил свой выбор на синониме *рана*, так как лексема *язва* отличалась книжно-религиозной стилистической окраской.

Группа однокоренных синонимов *жалоба* — *жалоца* — *желя* (*жля*), употребляемых в «Слове» со значением «горе, несчастье», была связана между собой общим элементом (или элементами) внешнего проявления чувства горя. Однако интенсивность этого элемента (элементов) у названных существительных в русском языке старшего периода была разной. Соответственно степени интенсивности внешнего проявления горя использует «Слово о полку Игореве» данные синонимы. В олицетворении, завершающем описание далеких событий 1093 г. (гибели в реке Стугне князя Ростислава), употреблено *жалоба* — с наименьшей степенью интенсивности внешнего проявления чувства горя: «Уныша цвѣты жалобою, и древо с тугою къ земли прѣклонило», 42—43. Поэтическое описание поражения Игоря в виде битвы-пира («Ту кроваваго вина не доста...») заканчивается почти такой же концовкой, в которой применен уже синоним *жалоца*, он отличался семантическим элементом большей интенсивности внешнего проявления горя, т. е. означал проявление сильной скорби (*жалоца*, как и другие редкие существительные на *-оцъ*, по-видимому, характеризовались усиленной степенью всей своей семантики в древнерусском языке XI—XIV вв.): «Ничить трава жалоцами, а древо с тугою къ земли преклонилось», 18—19. Таким образом, при наличии почти одной и той же языковой ситуации путем лишь замены однокоренных синонимов с разными аффиксами выражается разное отношение автора «Слова» к настоящим событиям, которые описываются в памятнике, и к событиям прошлого, упомянутым попутно. Психологическая реакция на поражение Игоря, естественно, должна была быть сильнее, чем в воспоминаниях о далеком прошлом. Поэтому в последующем синониме *жля* [*ж(ь)ля* — *желя*] степень интенсивности проявления горя, скорби уже настолько сильная, что *Жля* является здесь олицетворением термина «плач по умершему (умершим) (по убитым)», а не просто олицетворением скорби: «За нимъ кликну Карна, и Жля посочку по Рускои земли, смагу людемъ мычючи въ пламянѣ розѣ», 20. Элемент внешнего проявления горя у слова *желя* [*ж(ь)ля*] выделялся в термин «плач по умершему» очень рано («Первое же принесена ему бысть епистолия о скончании Фероровѣ, имѣ же зѣло велику желю сътвори над ним» Флав. Полон. Иерус., 233, XVI в. ~ начало XII в.).

Последним синонимом, который употребляется в «Слове о полку Игореве» из рассматриваемого синонимического ряда, является *зло* («Нѣ се зло — княже ми не пособіе: наниче ся години обратиша», 27). Значение «беда, горе, несчастье, бедствие» с преобладанием элементов бедствия возникло в лексеме *зло* опосредствованно из отрицательного аспекта ее семантики, из понимания всякого рода зла как горя, бедствия с точки зрения христианской морали. Поэтому данная семема продолжала носить в себе элементы своего основного значения, противостоящего добру, благу. Именно эти элементы в синониме *зло* давали нравственную оценку упрека Святослава «княже ми не пособіе» и усиливали упрек. Интересно заметить, что из четырех однокоренных синонимов (вариантов?) *зло*, *лоба*, *злюбъ* и *золь*, функционирующих в древнерусском языке, в «Слове» применяется первый — самый обдеупотребительный и стилистически нейтральный.

Вторым по алфавиту существительным в «Слове о полку Игореве» было *бѣла*: «... а поганіи сами побѣдами нарищуце на Рускую землю, емляху дань по бѣлѣ отъ двора», 21. Вероятнее всего, в этом памятнике слово *бѣла* употребляется в значении «зимняя шкурка белки» с элементом собирательности. Зимняя шкурка бѣлы (белки) в Древней Руси имела, очевидно, обменную стоимость. Уплата дани пушнинной подтверждается не только свидетельствами древнейшей письменности, но и документами XVI—XVII вв. (ср.: «Что имъ [сибирским послам] давати... дороге государеву [сборщику дани]... по бѣлке с человѣка по сибирской» Лет. Рус., 28, конец XVII в. ~ 1552—1563 гг.). Из синонимов *бѣла*, *бѣкша*, *бѣверица* в «Слове» предпочитается первый, так как он обозначал преимущественно шкурку зимней белки, которая ценилась дороже; *бѣверица* и *бѣкша* могли обозначать также шкурку летней рыжей белки. Таким образом, был выбран наиболее точный синоним. Слово *бѣлка* (*бѣлька*) фиксируется в древнерусской письменности лишь с начала XIV в. Поэтому в «Слове о полку Игореве» оно попасть не могло.

Болого в «Слове о полку Игореве» встречается дважды: «А древо не бологомъ листвіе срони», 32 (в функции наречия в значении «не к добру» или, возможно, в значении «добровольно, сам по себе», т. е. деревья сбросили листву не сами по себе, не вовремя) и «Немизѣ кровави брезѣ не бологомъ бяхуть посѣяни, посѣяни костьми Рускихъ сыновъ», 36 (синтаксический параллелизм; *посѣяти* в значении «засеять чем-л. пашню» требует твор. пад., поэтому здесь *бологомъ* можно понимать не в функции наречия: *берега были посеяны не благом* [добром], *а костьми...*). Полногласное *болото* встречается лишь изредка в северных и северо-западных письменных памятниках. Вероятно, его употребление было ограничено этой языковой территорией, поскольку «на северо-западе второе полногласие в течение многих веков было фонетической закономерностью»⁶. Исходя из этого, можно высказать два предположения: или *болото* возникло на северо-западе, но общего распространения у восточных славян не получило по ряду причин, одной из которых являлось наличие в древнерусском языке очень сильных конкурентов-синонимов *благо*, *добро* с многочисленными композитами; или *болото* в качестве общей лексемы восточного славянства (если принять гипотезу раннего развития полногласия в VIII—IX вв.) рано было вытеснено синонимами *благо* и *добро*, и осталось только на северо-западе как архаизм, став диалектной особенностью местных говоров. Таковым *болото* было, судя по данным письменных памятников и следам его в современных диалектах, вероятно, уже в эпоху создания «Слова о полку Игореве». Поэтому вряд ли оно имелось в подлиннике «Слова». Скорее всего, оно было привнесено в рукопись этого произведения писцом новгородцем или псковитянином путем замены им синонимов *благо* или *добро*.

Из трех употреблений лексемы *болото* в «Слове» лишь одно не вызывает сомнений относительно значения: «...начаша мосты мостити по болотомъ и грязивымъ мѣстомъ...», 11 — «болото». В остальных двух случаях *болото* выступает, по-видимому, в других семемах. Приведем вкратце результаты наших наблюдений. Прежде всего в «Слове» использован только полногласный дублет потому, что он господствовал в древнерусском языке уже с XI в. Неполногласие *блато* встречается в письменности нечасто, главным образом в переводных и книжно-религиозных текстах. *Блато* функционировало в значениях: «болото», «заливной луг, пойма», «источник чистых вод, озеро». С той же семантикой, наверное, употреб-

⁶ Ф. П. Ф и л и н, Происхождение русского, украинского и белорусского языков. Л., 1972, стр. 248.

лялось и полногласное *болото*, во всяком случае до XIV в. На это указывают синонимические замены в памятниках. Например: «Идохъ в дальнюю пустыню и обрѣтохъ боло(то) водное...» Прол. 1383 г., л. 85 в — *блато* Прол. XIV в., л. 97 в — в значении «озеро».

Кроме того, болота воспринимались и оценивались людьми больше как явление отрицательное, издавна их называли темными, гиблыми местами, со времен язычества населяли их в своем воображении лешими, чертами и т. п. Осушка болот представлялась мерой положительной. Вряд ли князь Святослав, по «Слову», карая Половецкую землю, стал бы осушать там болота: «наступи на землю Половецкую... замути рѣкы и озера, иссуши потоки и болота», 21 (ср.: «И положу рѣкы въ отоки, и блата исушу» (о каре божьей) Исайя, XLII, 15 — перевод: *И реки сделаю островами, и осушу озера*). В данном выражении *болото* следует, очевидно, понимать в значении «водоем чистых вод, источник». В последнем случае «...и Двина болотомъ течеть онымъ грознымъ Полочаномъ подь кликомъ поганыхъ», 33, — *болото* могло означать «заливной луг, пойму»: «Течи (тещи) болотомъ» — «разливаться, выходить из берегов».

Военная семантика в «Слове о полку Игореве» прежде всего представлена двумя наиболее широко распространенными в памятниках старшей поры синонимами *брань* («Донъ ти, княже, кличетъ и зоветъ князи на побѣду. Олговичи, храбрыи князи, доспѣли на брань», 32) и *рать* («То было въ ты рати и въ ты плѣкы, а сицеи рати не слышано!», 17) в значении «бой, битва, сражение». В этой семантике данные слова в XI—XIV вв. были очень близки друг другу: могли применяться в одной и той же языковой ситуации, часто встречались в недифференцированном обобщенном значении в контекстах «война, бой, битва», могли образовывать бинарные синтагмы *брань* и *рать* (*рать* и *брань*). Лишь стилистически *рать* было нейтрально, а *брань* чуть чаще использовалось в литературных текстах (небольшая разница в употреблении, которая привела впоследствии к серьезным стилистическим сдвигам). Использование *брань* и *рать* в «Слове» на указанных местах было продиктовано, вероятно, различиями их остальной семантики. Основным значением слова *брань* было «битва, сражение, бой» с недифференцированным элементом «война»; семема «военный поход» *брань* не имело. Очевидно, в выражении «Олговичи.. доспѣли на брань» автору надо было подчеркнуть именно данное основное значение. *Рать* же имело более широкую военную семантику: кроме значений, общих с *брань*, означало еще «военный поход», «войско» и т. д. Поэтому *рать* более естественно могло сочетаться со словом *плѣкъ*, в котором «военный поход» было сильнее, чем в *рать* («То было въ ты рати и въ ты плѣкы, а сицеи рати не слышано»). Здесь для семантического усиления и уточнения использована бинарная синтагма *рать* и *плѣкъ* (*плѣкъ* и *рать*), характерная в древнерусском языке. Интересно заметить, что во втором случае семема слова *рать* приобретает более точные очертания, чем в первом. Слово *плѣкъ* по своей семантике было ближе к *рать*, чем к *брань*, хотя развитие значений у *плѣкъ* было несколько иным. Можно предполагать, что в рассматриваемой фразе *плѣкъ* синонимично *рать*.

Полногласное *боронь* семантически дифференцировалось от неполногласного *брань*, видимо, очень рано⁷. Русское *борон* функционировало в языке в значениях «защита, оборона» и «препятствие, помеха, запрещение». В письменных памятниках слово *боронь* встречалось редко;

⁷ Ср.: Л. П. Я к у б и н с к и й, О языке «Слова о полку Игореве», «Докл. и сообщ. Ин-та русского языка АН СССР», 2, М.—Л., 1948, стр. 76—77.

оно, скорее всего, было принадлежностью живой речи северо-западной и юго-западной Руси, о чем говорят следы его в современных диалектах на этой территории. «Слово о полку Игореве» фиксирует лексему *боронь* в значении «защита» («Ярь Туре Всеволодѣ! стоиши на борони, прыщени на вои стрѣлами...», 13). Исследовав данный синонимический ряд, мы пришли к предположению, что использование слова *боронь*, редкого для письменных памятников, в «Слове» можно объяснить наличием в этом значении элементов другого значения «препятствия, помехи». Эти семантические элементы удачно усиливали выражение обороны, сопротивления князя Всеволода половцам. Что касается префиксальных форм *оборонь*, *оборона*, то они активизировались позже и были однозначны. *Оборонь* применяется в позднем списке «Задонщины» в качестве замены раннего *боронь* («Уже бо ста тур на *оборонь*» Задон. Унд. 539, середина XVII в.), что подтверждает значение «защита, оборона» в «Слове о полку Игореве».

Собирательное *братия* встречается в первой половине «Слова» в качестве обращения к читателям или слушателям («Не льпо ли ны бяшетъ, братіе, начяти старыми словесы трудныхъ повѣстїи о пълку Игоревѣ...» и т. д.). *Братіе* (зв. пад. от *братия*) было в эпоху «Слова» самым распространенным, стилистически нейтральным и наиболее удобным обращением ко всем слоям населения сравнительно с другими обращениями, например, *отцы* (обращение к старшим по возрасту или положению в обществе), *чада* (обращение к младшим по возрасту или общественному положению). Во втором значении «соратники, соплеменники, товарищи» автор «Слова» употребляет *братіе* в составе нередкого словосочетания *братіе и дружино* (*братия и дружина*): «...и рече Игорь къ дружинѣ своей: „Братіе и дружино! лупе жъ бы потяту быти, неже полонену быти...“» 5. Однако, как иногда в летописях, *дружина* здесь не является синонимом к *братия*, а служит военным термином.

Дублиеты *брѣгъ* и *берегъ* употребляются в «Слове о полку Игореве» в той же пропорции (4 : 1), что и в ранних летописях. Распределение сфер употребления обоих дублиетов было в языке XI—XIV вв. довольно четким. Литературные и переводные памятники имели только *брѣгъ*. Не случайно поэтому полногласное *берегъ* находим в «Слове» в бытовом эпизоде, описанном в летописях 1093 г. [Уношу князю Ростиславу затвори (Стugna) Дѣбрь темнѣ березѣ плачется мати Ростиславля по уноши князя Ростиславѣ, 42].

Существительное *брѣмя* встречается в «Слове о полку Игореве» с семемой синкретичной «тяжесть, груз; ноша, кладь», характерной для книжных памятников Древней Руси: «Галички Осмомыслѣ Ярославле! ... подперъ горы Угорскыи своими желѣзными плъки, ваступивъ Королеви путь, затворивъ Дунаю ворота, меча бремены чрезъ облаки, суды ряда до Дуная», 30 (описка последней рукописи «Слова» *времены* обнаруживается уже в старославянских текстах). Можно предполагать, что здесь образно говорится о торговле Ярослава Галицкого с Западной Европой: корабельные товары он перебрасывал через перевалы Карпат. Это как будто получает подтверждение в том, что переводные памятники переводили словом *брѣмя* греческие слова, означающие «корабельный груз», «корабельная снасть». Кроме того, изучение синонимического ряда показало, что слово *брѣмя* являлось самым достаточным выразителем рассматриваемой семемы. Если же предположить другую конъектуру в данном фрагменте «Слова» с семантикой «тяжесть, каменное ядро, грузило», которые Ярослав Галицкий метал из метательных снарядов для устрашения западных соседей через Карпаты (гипербола), то в этом синонимическом ряду были синонимы и более удачные, чем *брѣмя*.

Буесть употребляется в «Слове» в образных выражениях с семемой «храбрость, отвага, ярость в битве» («... Игорю и Всеволоде!.. Ваю храбрая сердца въ жестоцемъ харалузѣ скована, а въ буести закалена», 26; «А ты, буи Романе, и Мстиславе!.. Высоко плаваеши на дѣло въ буести, яко соколъ на вѣтрехъ ширяся, хотя птицю въ буиствѣ одолѣти», 31). В этом значении *буесть* не получило широкого распространения в древнерусском языке, так как остальная семантика его была отрицательной, а также было много синонимов с положительной окраской, и слово *буесть* не выдерживало конкуренции. *Буесть* выбрано автором «Слова» из-за сильной степени экспрессии, которая подчеркивала более активное состояние — горячность, ярость в битве. Из этого же синонимического ряда в «Слове о полку Игореве» попали еще два существительных *мужество* и *крѣпость* («... истягну (Игорь) умъ крѣпостию своею и поостри сердца своего мужествомъ», 5). Они были очень близки друг к другу. Элемент стойкости, твердости духа, который присутствовал в *мужество*, настолько усиливался в лексеме *крѣпость*, что переходил в оттенок значения. Это приводило к тому, что *мужество* несколько больше означало поведение человека, чем состояние; *крѣпость* же — наоборот, больше обозначало состояние. Поэтому в древнерусских памятниках слово *крѣпость* приурочивалось иногда к характеристике духовной силы, силы ума. Употребляясь в бинарной синтагме *крѣпость* и *мужество* (*мужество* и *крѣпость*), эти синонимы дополняли друг друга. В «Слове о полку Игореве» они использованы соответственно указанным семантическим особенностям. Близкие «Слову» образные употребления встречаются и в других литературных произведениях Древней Руси⁸.

С семантикой «своеволие, дерзость, смелость» используется в «Слове» *буиство* («Олеги и Святыславъ тьмою ся поволокоста и въ морѣ погрузиста, и великое буиство подасть Хинови», 25; вместе с однокоренным *буесть* — см. выше). Автор «Слова» выбрал *буиство* из большого ряда синонимов потому, что они, как и *буесть*, имело повышенную экспрессивную окраску, несмотря на его редкое употребление в данном значении. *Буиство* вообще обладало отрицательной экспрессией в значении «своеволие, дерзость, смелость»; лишь иногда контекстуально оно приобретало положительную экспрессивную окраску, хотя несколько пониженную, чем у *буесть* («хотя [сокол] птицю въ буиствѣ одолѣти», 31).

Слово *былина* употребляется в «Слове» с семантикой «действительное событие, то, что было»: «Начати же ся тѣи пѣсни по былинамъ сего времени, а не по замышленію Бояню», 1—2. История бытования слова *былина* и его синонимов во многом туманна за отсутствием ранних письменных свидетельств. Мы располагаем только поздними, порой косвенными данными, которые заставляют предполагать, что *былина* — старый северный диалектизм. Возможно, слово *былина* являлось принадлежностью не оригинала, а лишь последней новгородско-псковской рукописи «Слова о полку Игореве». Может быть, этим объясняется тот факт, что из списков «Задонщины» только один список Ундольского XVII в. повторяет вслед за «Словом»: «Начаша ти повѣдати по дѣломъ и по былинамъ», 535. По-видимому, писец этого списка имел перед собой именно известный нам текст «Слова». Что касается вопроса, почему в «Слове» взято *былина*, а не другой его синоним (*быль*, *былица* и т. д.), то на него ответить пока не удается.

Слово *вазь* означало «счастливыи случай, счастье, удачу, достигнутое с помощью языческихъ волхвованій, колдовства; счастливую судь-

⁸ См.: «Словарь-справочник „Слова о полку Игореве“», 3, Л., 1969, стр. 22—23, 116.

бу, рок, предначертанный человеку богами». Из-за этой языческой «окраски» *вазнь* нашло себе применение в описании действий князя-волшебника, князя-оборотня Всеслава («Скочи отъ нихъ лютымъ звѣремъ въ плъночи изъ Бѣлаграда, обѣсися снѣгъ мьгль, утръже вазни с три кусы отвори [оттвори — П.] врата Нову-граду...», 35), хотя в оригинальной древнерусской литературе, проникнутой христианскими мотивами, оно употреблялось редко. Другие заместители в значении «счастье, удача» не имели семантического языческого элемента; однокоренные же синонимы обладали еще дополнительными элементами значения, которые автор «Слова» считал лишними или мало подходившими к данному описанию⁹.

Лексема *вежа* встречается в «Слове о полку Игореве» в значении довольно обычном для XII в. — «кибитка, шатер кочевников»: «... стукну земля, въшумѣ трава, вежи ся Половецкїи подвизашася», 40. В связи с частыми набегами на Русь половцев и других кочевников в XI—XII вв. и последующим нашествием татар, слово *вежа* часто употреблялось в древнерусском языке XI—XIV вв. Вежа имела какие-то свои этнографические признаки по сравнению с другими аналогичными формами жилья, может быть, признаки большей легкости и подвижности (ср. дом-повозка¹⁰). Поэтому рассматриваемое значение у слова *вежа*, по-видимому, было терминологично, синонимов не имело, хотя понятийно-смысловой ряд, объединяемый общим значением «шатер, палаш» был довольно многочисленный.

Временной ряд «Слова о полку Игореве» представлен четырьмя лексемами: *вѣкъ*, *връмя*, *година*, *лѣто*. В большинстве своих значений они были синонимичны друг другу и вступали в сложные взаимоотношения между собой в системе языка. Лексема *вѣкъ* используется в «Слове» прежде всего в своем основном значении «продолжительность, время жизни» («въ княжихъ крамолахъ вѣци чловѣкомъ скратшася», 17). Данное значение наиболее полно выражалось словом *вѣкъ* и имело широкое употребление в древнерусском языке, на что указывают многочисленные данные — фольклорные и диалектные¹¹. Другое значение «время, годы, период» в «Слове» можно назвать только предположительно, так как *вѣкъ* здесь сочетается с притяжательным прилагательным *Троянъ* («Были вѣци Трояни», 4; «На седьмомъ вѣцѣ Трояни...», 35). Вопрос же о том, кто такой Троян в «Слове», до сих пор остается нерешенным. Если *вѣкъ* имеет в этих выражениях именно указанное значение, то *лѣто* (мн. ч. *лѣта*) в последующей синтагме («Были вѣци Трояни, минула лѣта Ярославля», 14) синонимично слову *вѣкъ* (мн. ч. *вѣци*). Можно предполагать, что в выборе лексемы *лѣто* автор «Слова» руководствовался следующими соображениями: избежать повторения («лѣта Ярославля», но не «вѣци Ярославля»), употребить синоним тоже во мн. ч. (в значении «время, годы, период» *лѣто* в древнерусском языке встречалось только во мн. ч. — *лѣта*) и сохранить при этом ритм всей фразы («Были вѣци Трояни, минула лѣта Ярославля; были плъци Ольговы, Ольга Святъславличя», 14—15). Вероятно, были соображения и семантического порядка, которые мы не в состоянии разгадать в этом случае, ввиду неясности «вѣци Трояни». Общей семантической особенностью рассматриваемого временного ряда в древнерусском языке была нечеткость дифференциа-

⁹ Слово *вазнь* в Муски-Пушкинской рукописи «Слова о полку Игореве» было написано *вазни*, в Екатеринбургской копии — *вазни*.

¹⁰ А. А. Потебня, К истории звуков русского языка, III, Варшава, 1881, стр. 41.

¹¹ См.: «Словарь-справочник „Слова о полку Игореве“», 1, стр. 95; «Словарь русских народных говоров», 4, Л., 1969, стр. 99.

ции значений; и в большей степени эта нечеткость была свойственна обобщенному значению времени «время, годы, период, пора». Поэтому в памятниках эти лексемы встречались с уточняющими словами. «Слово о полку Игореве» аккуратно следует этому правилу. С указанным значением автор заметно предпочитает синоним *время* (*врѣмя*): «по былинамъ сего времени», 1—2; «първыхъ времянь усобиць», 3; «старого времени», 6 и т. д. Данное значение было основным в слове *врѣмя* и, следовательно, самым распространенным, в то время как у синонимов *вѣкъ*, *лѣто*, *година* оно являлось второстепенным. Основным значением слова *година* было «пора суток, час»; вследствие этого в обобщенной семеме «время, пора», очевидно, предусматривались под воздействием элементов основного значения более короткие промежутки (отраски) времени. По-видимому, применение *година* в трех выражениях «Слова» («невеселая година въстала», 19, «на ниче ся години обратиша», 27) вызывалось стремлением автора подчеркнуть желание, чтобы неблагоприятная пора скорей миновала, либо выразить сожаление о краткости давно ушедших более счастливых и удачных времен («О! стонати Рускои земли, помянувшѣ пръвую годину, и пръвыхъ князей!», 37). *Година* вплоть до XIV в. была книжной лексической единицей. Употребление ее в «Слове» не противоречит нормам языка XII в.

Величье в значении «высокое достоинство и слава (великого)» фиксируется в «Слове» в художественном олицетворении: «Донецъ рече: „Княже Игорю! Не мало ти величїя, а Кончаку нелюбїя, а Рускои земли веселїа“», 41—42 и т. д. До XIV в. синонимы *величье*, *величѣство*, *величѣствїе* в этом значении развивались примерно одинаково. Выбор *величье* в данном случае мог диктоваться дистрибутивными отношениями противопоставления: *величїя* — *нелюбїя*.

Итак, изучение существительных «Слова о полку Игореве», проведенное функционально-синонимическим методом, позволяет в ряде случаев сделать попытку выяснить и уточнить их смысл в этом памятнике, разгадать причины выбора автором (или редактором-писцом?) данных существительных из числа синонимов или слов понятийно-смыслового ряда, предположить возможные поздние лексические замены, попытаться определить стилистическую принадлежность каждой лексической единицы «Слова» в системе (древне)русского языка. Предлагаемый функционально-синонимический метод, очевидно, можно рассматривать в качестве одного из концептуальных мостов, ведущих к синтезному исследованию лексико-семантической системы языка. Он может быть применен к лексикологическому изучению текста любого литературного произведения Древней Руси.

НИКОНОВ В. А.

ДЛИНА СЛОВА

Длина слова в каждом языке своя, выработанная веками его развития. Как все обычное, ее замечают лишь в особых ситуациях — встретив необычно-длинное слово или получив резко различный объем текста при переводе. А при переводе стихотворном различие длины слова даже катастрофично: как уложить английскую строку в русскую (или обратно) того же стихотворного размера, не нарушив ни содержания, ни стиля? Опыт лучших мастеров частично преодолевает трудность, но пока эмпирически и не располагая количественными характеристиками материала. Исследовать длину слова необходимо для технических средств связи (телеграф, телефон, радио, телевидение, звуковое кино и др.) и, конечно, для обучения языкам. Но все эти и другие очень важные практические задачи не должны заслонить ценности научной и описательной (длина слова — обязательна для характеристики каждого языка и языковой семьи), и исторической (направление и темп изменений), и теоретической (причины различий или сходств, проблема «оптимальной длины») ¹. Во всех этих направлениях сделано очень мало. Ни лексикология, ни словообразование, ни фонетика не считают это своей обязанностью, касаясь длины слова лишь бегло или не касаясь совсем.

Явление нельзя признать изученным, если неизвестны его основные количественные показатели. Подсчет длины слов имеет свои трудности, неучет которых весьма снижает или даже зачеркивает полученные результаты. В большинстве опубликованных подсчетов даже не указано основное: как разбит текст на слова, т. е. что принято за слово и как определены границы между словами. А ведь определения слова несводимы друг к другу, а нередко взаимоисключающи ². Исследователь слова может разделять то или иное толкование основного понятия, но обязан ясно оговорить то понимание, на котором основано его исследование. Пример: брать ли слово в границах фонетических — «текст, объединенный одним ударением» или графических — «текст между двумя пробелами», скажем, *с ней ли* — одно слово или три? Возможны и иные определения границы слова. Одни задачи требуют брать для подсчетов слово в фонетических границах (так в стиховедении), другие — в графических (незвуковые формы связи). Но в любом случае обязательно ясность.

Серьезен вопрос и об единице измерения. Измерять ли длину слова количеством слогов, или фонем, или звуков, или букв? Эконом-

¹ Длина слова даже введена как ингредиент в основную формулу исследований ленинградской группы математической лингвистики под руководством Н. Д. Андреева (ср. «Статистико-комбинаторное моделирование языков», М.—Л., 1965, стр. 24). Независимо от оценки формулы примечательно привлечение длины слова для решения теоретических проблем языкознания.

² Раздавались и голоса, что термин «слово» определить невозможно (у нас это мнение высказал Л. В. Щерба, см. его «Избр. работы по языкознанию и фонетике», I, Л., 1958, стр. 9), английский лингвист А. К. С. Росс пошел дальше, упрекнув Б. Мандельброта за попытку определить этот термин — «невозможную и ненужную лингвистике» (сб. «Communication theory», London, 1953, стр. 500—501).

ней подсчет слогов. Для некоторых целей нужен именно он, например, при изучении большинства систем стихосложения³. Количеством слогов измерена длина слова многих языков мира в обширных подсчетах западногерманского математика В. Фукса⁴. Но как раз для сопоставления очень равных языков этот способ непригоден, так как слог в них несопоставим и зависит от количественного соотношения гласных и согласных (разумеется, не в перечне их, а в реальной частотности употребления). Мои подсчеты⁵ показали, что это соотношение колеблется между 1 : 2 и 2 : 1. В полинезийских языках согласные почти вдвое реже гласных, а в ительменском — наоборот. По количеству слогов маорийское *aoa* втрое «длинней» ительменского *кменатх!* Длину слова объективней измерять количеством фонем или звуков, хотя это требует не только несравнимо большей затраты труда и почти во всех случаях надежно транскрибированных текстов большого объема, но и встречает дополнительные трудности — принять ли за равные единицы долгий и краткий гласный, дифтонг и одинарный гласный, геминированный (или удлинненный, двойной и т. п.) и простой согласный⁶. То же относится и к подсчету фонем⁷, но они абстрактней, чем звук языка. Понятие «звук языка» вызывало возражения, но убедительное выступление П. С. Кузнецова «за» решило спор⁸.

В ленинградской группе Н. Д. Андреева длина слова по многим и различным текстам ряда языков измерена преимущественно в графемах (буквы и другие видимые знаки)⁹ — способ наиболее простой, но наименее отражающий фонологическую и фонетическую длину слова: в русском слове *её* две буквы, а звуков четыре: *jejo*; слово *сельдь* содержит шесть букв, но только четыре звука. За исключением немногих языков, где написание очень близко к произношению (например, грузинский), измерять длину слова количеством букв нужно для практических задач, например, полиграфических и др., но не для науки о языке. Исследователи, не согласные с Н. Д. Андреевым, из узкоспециальных соображений ввода в машину текстов по определенной отрасли техники¹⁰ предложили «улучшить» способ определения длины слова: выбросить все повторяющиеся словоформы (т. е. отказаться от понятия частотности, составляющей главный смысл подсчетов группы Н. Д. Андреева) — все предлоги, союзы,

³ Подсчеты длины русских слов по количеству слогов выполнены четырехкратно и все рождались из стиховедения: Г. А. Шенгели, Траклат о русском стихе, М. — Пг., 1923, стр. 20—24; Б. В. Томашевский, О стихе, Л., 1929, стр. 104—105 и 197; В. А. Никонов, Место ударения в русском слове, «International journal of Slavic linguistics and poetics», VI, The Hague, 1963, стр. 1—5; М. Л. Гаспаров, Русский трехударный дольник, «Теория стиха», Л., 1968, стр. 65—66.

⁴ W. Fuchs, Mathematische Analyse von Sprachelementen, Sprachstil und Sprachen, Köln, 1955.

⁵ В. А. Никонов, Консонантный коэффициент, «Lingua posnaniensis», VIII, 1960.

⁶ Справедливо признавая необходимыми оба способа, П. Менцерат и его ученик В. Мейер-Эшлер предложили термины для равноразности слов различной длины: «типы слов» — по количеству слогов, «классы слов» — по количеству звуков (P. Menzeraht, W. Meyer-Eshler, Sprachtypologische Untersuchungen, «Studia linguistica», 1950, 1—2, стр. 57). Едва ли в этом есть нужда. Да оба термина и без того перегружены значениями в лингвистике.

⁷ Сопоставление подсчета звуков языка и подсчета фонем см.: С. Шеггу, M. Halle, R. Jakobson, Toward the logical description of languages in their phonetic aspect, «Language», 1955, 1.

⁸ П. С. Кузнецов, Об основных положениях фонологии, ВЯ, 1959, 2, стр. 31.

⁹ Н. Д. Андреев, Статистико-комбинаторные методы в теоретическом и прикладном языковедении, Л., 1967, стр. 244—247 (табл. 24—44).

¹⁰ Т. В. Корсакова, И. И. Меньшиков, В. И. Мордань, В. И. Качук, К вопросу об определении средней длины слова, «Вопросы прикладной лингвистики», 6, Днепропетровск 1976.

артикли, местоимения, количество знаков в полученном остатке при этом делится на количество слов. И это они называют средней длиной слова, хотя такая искусственная величина не отражает ничего реального. К науке о языке это не имеет никакого отношения, подобно тому как и техническая задача полиграфистов вогнать в строку «не влезающее» слово.

Наихудшая беда многих опубликованных подсчетов — претензия представлять среднюю длину слова для того или иного языка в целом независимо от видов речи («функциональных стилей», как очень неудачно их называют). В обстоятельном труде В. Фукса дал такие показатели по 8 языкам: английский — 1,351 слога, немецкий — 1,634, русский — 2,228 и т. д.¹¹, хотя еще в 30-х годах Н. С. Трубецкой на подсчете двух немецких текстов получил резко различные показатели длины слова: в сказке 1,4 слога, а в лингвистической монографии — 2 слога¹². В рассказе А. П. Чехова «Налим» средняя длина слова (в графических границах) в прямой речи персонажей — 1,88 слога, а в авторской речи вне диалога — 2,33 слога, т. е. внутри одного произведения различие между двумя видами речи больше, чем между английским и немецким языками по В. Фуксу. «Три источника и три составные части марксизма» В. И. Ленина имеют среднюю длину слова в 3 слога, как и передовая газеты «Правда» 19 июня 1977 г. Что же выражают «средние» В. Фукса? Они целиком зависят от тех видов речи, на материале которых произведен подсчет. Достаточно немного изменить пропорцию видов речи, избранных для подсчета и результат будет совсем иным. Книга В. Фукса — лучший пример ложного статистического вывода, особенно поучительный при бурном росте лингвистики. Предвзято убежденный, что данные по языку едины (он не раз повторяет это, хотя приведенный им материал не раз противоречит этому), Фукс считает важным не состав материала, а только объем его, поэтому смешивает вместе научный текст и пьесу, не различает диалог и авторскую речь.

Резкая дифференциация видов речи делает недопустимыми такие «средние», выведенные не из материалов по всем видам данного языка, взятых в пропорции по их весу. А какова в английском или русском языке доля разговорной речи, научной прозы и др. — лингвистика в обозримом будущем установить не сможет, да и сам перечень видов речи еще не полон. Поэтому «среднестатистические» по языку пока нереальны. Вместо них необходимы подсчеты, дифференцированные по видам речи. Это относится не только к длине слова.

Такой подсчет сделан нами по четырем видам речи русского, грузинского и казахского языков, принадлежащих к различным языковым семьям. Здесь изложены их основные результаты, первые выводы и возникающие раздумья. Подсчитываются звуки языка. Слово берется в его графических границах, так как любой иной выбор, к сожалению, не обеспечивал бы четкости и бесспорности границ. По каждой из 12 групп подсчета (четыре вида речи по трем языкам) взято как минимум 10 тыс. словоупотреблений, по некоторым — 15 тыс.; общий объем подсчета 180 тыс. словоупотреблений, больше миллиона звуков (кроме параллельных подсчетов, как упомянутые в начале статьи слоговые, и некоторых дополнительных, о которых речь дальше).

Внутри каждой группы отбор авторов подчинен задаче не выявить, а погасить индивидуальные отклонения. Длина слова сможет стать даже и средством установления авторства, но для этого необходимы: 1) знание

¹¹ В. Ф у к с, укаа. соч., стр. 84.

¹² Н. С. Т р у б е ц к о й, Основы фонологии, М., 1960, стр. 288.

нормы для данного вида речи, чему служит предлагаемая статья, 2) достаточные подсчеты по данному автору и по другим авторам в том же виде речи. В качестве материала использовались следующие источники.

I. Р у с с к и й я з ы к. 1. Разговорная речь. Пьесы: А. Н. Островский, А. П. Чехов, А. М. Горький, В. С. Розов; прямая речь персонажей из художественной прозы: А. С. Пушкин, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, А. М. Горький, М. М. Пришвин, М. А. Шолохов. 2. Художественная проза (без диалога): А. С. Пушкин, И. С. Тургенев, Н. С. Лесков, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, М. М. Пришвин, М. А. Шолохов. 3. Научная проза: В. А. Амбарцумян — астрономия, В. М. Бехтерев — невропатология, Н. И. Вавилов — ботаника, С. И. Вавилов — физика, В. И. Вернадский — биология, В. В. Виноградов — лингвистика, А. Ф. Иоффе — физика, Д. И. Менделеев — химия, В. А. Обручев — геология, И. П. Павлов — физиология. 4. Публицистика: передовые статьи газ. «Правда» — июль 1974 г., январь и май 1976 г.

II. Г р у з и н с к и й я з ы к. 1. Разговорная речь. Пьесы: К. Буачидзе, Ш. Н. Дадiani, П. Какабадзе, Д. К. Клдиашвили, И. О. Мосашвили, А. А. Цагарели, Г. Д. Эристави; прямая речь персонажей художественной прозы: А. Казбеги, К. А. Лорткипанидзе, И. Ф. Ниношвили, И. Г. Чавчавадзе. 2. Художественная проза (без диалога): В. З. Барнови, К. С. Гамсахурдия, А. Казбеги, Д. К. Клдиашвили, К. А. Лорткипанидзе, И. Ф. Ниношвили, И. Г. Чавчавадзе. 3. Научная проза: Н. А. Бердзенишвили — история, И. С. Бериташвили — физиология, П. Д. Гамкрелидзе — геология, Ш. В. Дзидзигури — лингвистика, И. С. Долидзе — право, А. З. Зурабишвили — медицина, Н. Н. Кецохели — ботаника, М. Н. Сабашвили — почвоведение, Д. Н. Ушнадзе — психология, Э. К. Харадзе — астрономия, А. С. Чикобава — лингвистика. 4. Публицистика: передовые статьи газ. «Коммунист» («Коммунист») — май и июль 1977 г.

III. К а з а х с к и й я з ы к. 1. Разговорная речь. Пьесы: А. А. Абишев, М. О. Ауэзов, М. Дузенов, К. Мукамеджанов, А. Тажикбаев, Ш. Х. Хусаинов; прямая речь персонажей художественной прозы: А. А. Абишев, Т. Алимкулов, Т. Ахтанов, С. М. Муқанов, С. Сейфуллин. 2. Художественная проза (без диалога): Т. Алимкулов, М. О. Ауэзов, Т. Ахтанов, М. Иманжолов, С. М. Муқанов, Г. М. Мусрепов, Г. М. Мустафин, С. Сейфуллин. 3. Научная проза: О. Абдурахманов — ботаника, Х. Абишев — астрономия, С. Б. Байшев — история, К. Б. Бектаев — математика, А. Б. Бектуров — химия, Т. Д. Дарқанбаев — микробиология, Т. Ж. Жанузаков — лингвистика, О. А. Жаутыков — математика, Т. Кабдырахманов — медицина, С. К. Кенесбаев — лингвистика, А. Ж. Машанов — геология. 4. Публицистика: передовые статьи газ. «Социалистик Қазақстан» («Социалистический Казахстан») — июль — август 1977 г.

Среднее количество звуков в слове

	Русск.	Груз.	Казах.
1. Разговорная речь	4,5	5,5	5,3
2. Художественная проза (без диалога)	5,2	6,2	5,8
3. Научная проза	6,7	7,2	6,6
4. Публицистика	7,0	7,8	7,0

Чрезвычайно красноречивы сопоставления по обеим координатам — вертикальной и горизонтальной, как в отдельности, так и особенно перекрестные.

Различия между языками выражены почти только одной чертой: грузинское слово длинней русского приблизительно на 1 звук, казахское

короче грузинского, но длинней русского. Разница проходит последовательно по всем ступеням длины, начиная со слов в один звук. В русском языке они очень часты (данные в промилях): от 89 в разговорной речи и 93 в публицистике до 105 в научной прозе и 120 в художественной прозе без диалога. Самое частое русское слово — союз *и*, наибольшей частотностью отличаются предлоги *в*, *с*, *к*, *у*, некоторые междометия. В грузинском и казахском языке нет слов из одного звука, кроме немногих междометий. Из казахских текстов лишь в прямой речи персонажей повести С. Сейфуллина «Сол жалдарда» («В те годы») их 24 на тысячу словоупотреблений, в речи автора — 3; у других прозаиков и у драматургов — от 3 до 6, в художественной прозе вне диалога — единственный случай на 12 тыс. словоупотреблений. В грузинской разговорной речи на тысячу словоупотреблений оказалось в среднем по 2 таких случая (только междометия *э*, *а*, *и*, *о*), в других видах речи не встретилось ни одного. Таким образом, уже с самых коротких слов задано превышение грузинского слова (в меньшей мере и казахского) над русским. Оно отражается и в более крупных рангах, например, самые частые в научной прозе словоупотребления: русские — в 5 звуков, а грузинские — в 7 звуков. В значительной мере разница вызвана тем, что в грузинском и частично в казахском языках русским предлогам соответствуют послелоги, включенные в состав слова; объединены со словом и частицы, в частности, отрицание.

Главный вывод: длина слова возрастает в каждом из всех трех языков в одинаковой последовательности — от разговорной речи, где она минимальна, к художественной прозе (за вычетом диалога), от которой — к прозе научной, а всего длинней среднее слово в публицистике. Поразительно, что различия длины слов между столь различными языками в одном и том же виде речи меньше, чем различия между видами речи в одном и том же языке. Статистическая разница, которую можно назвать расстоянием¹³, между русской разговорной речью и русской публицистикой в 2 1/2 раза больше, чем между русской и грузинской разговорной речью, — и так по каждой линии этой таблицы.

Различия слова по видам речи — один из многих примеров неоднородности каждого развитого языка. Это давно было известно в отношении лексики, но исследователи почти не видели, что различия пронизывают и другие уровни языка: грамматику¹⁴ и даже фонетику¹⁵. Несколько серьезные различия — статистически показано неоспоримо¹⁶.

Из чего складывается различие средней длины слов? Полный график распределения слов по их длине в каждой из 12 групп слишком громоздок, некоторое представление может дать табл. 1.

В разговорной речи (1) преобладают короткие слова, в научной прозе (3) и публицистике (4) — длинные. (Конечно, определения *длинное*, *короткое* условны и относительны, как и разбегание — до 5 звуков, от 5 до 8 или иное, — это не анализ, а только иллюстрация, облегчающая понимание.) Подсчет Л. В. Малаховским длины слов в английских текстах по ра-

¹³ В. А. Н и к о н о в, Фоностатистическое измерение междуязыковых расстояний, сб. «Исследования по фонологии», М., 1966.

¹⁴ В. А. Н и к о н о в, Борьба падежей, «International journal of Slavic linguistics and Poetics», IV, The Hague, 1961.

¹⁵ В. А. Н и к о н о в, Интерпретация фонетических частот, «Уч. зап. Ин-та славяноведения АН СССР», 27, 1963, стр. 263.

¹⁶ В большинстве русских научных произведений отсутствует императив, в разговорной речи причастия несравнимо реже, чем в научной прозе, совершенно различна частотность падежей, соотношение твердого и мягкого *л* противоположно в художественной прозе и прозе научной или политической (В. А. Н и к о н о в, Грамматическая характеристика видов речи, «Язык и стиль русских писателей и публицистов», Куйбышев, 1963).

Таблица 1

Количество слов по количеству звуков в каждом
(в промиллях, т. е. в пересчете на 1 тыс. словоупотреблений по каждой группе)

Длина	Русский				Грузинский				Казахский			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1—4 звука	545	446	333	252	408	274	208	175	391	286	242	206
5—8 звуков	376	418	355	406	457	513	442	416	514	593	519	519
9 и больше	79	136	312	342	135	213	350	409	95	121	239	275
Итого	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Максимальная длина	17	20	21	22	17	17	19	27	17	18	23	24

диоэлектронике (10 тыс. словоупотреблений, в подсчете — графемы) позволил сделать вывод: «для текстов по радиоэлектронике (как, возможно, для научно-технических текстов вообще) характерна более высокая по сравнению с художественными текстами вероятность употребления длинных слов и более низкая — слов средней длины (от 3 до 6 букв)»¹⁷. Это видно и на примерах слов максимальной длины. Понятно, что рекордно длинные слова не попали в подсчет, ничтожно малый по сравнению с необъятной массой всего произнесенного и написанного на этих языках, но характерно, что в текстах, охваченных подсчетом, максимальная длина словоформы ни разу не превысила 17 звуков, а в передовых статьях казахской газеты встретилось слово из 24 звуков, грузинской — 27 звуков. Лингвистам следовало бы подсказать журналистам, что удлинение слова, отделяя публицистику от живой речи (как и утяжеление синтаксиса, лексические штампы), не повышает доходчивости.

Невозможно рассмотреть распределение словоупотреблений по их длине, хотя бы в нескольких из 12 групп, но одну особенность надо отметить: во многих группах характерна двугоршинность графика распределения. Например, в русской разговорной речи очень часты словоупотребления двухзвуковые, значительно меньше — из трех звуков и еще меньше — из четырех, а словоупотребления из пяти звуков часты — это второй пик графика, дальше частотность более длинных слов убывает в строгой последовательности. Аналогичные минимумы слов из трех или четырех звуков налицо в подсчетах по ряду различных языков (но не всех), к сожалению, никем не отмеченные. Можно представить наличие двух масс слов: короткие (союзы, предлоги, междометия, основные местоимения, простейшие из существительных и глаголов), без аффиксов и флексий — они образуют первый пик частотности; другая лексическая масса — слова с аффиксами и флексиями, нередко со многими; они образуют второй пик частотности. В тех языках, где отодвинут первый пик (например, в казахском) или придвинут второй (в английском), оба пика сближены или даже слиты в один.

Вызывают раздумья подсчеты разговорной речи¹⁸, сделанные по пьесам и вкраплениям прямой речи персонажей в художественной прозе; тексты всех других видов речи — сам подлинник, а здесь — передача его писателем. Насколько адекватно здесь передается подлинная речь? Вся

¹⁷ Л. В. М а л а х о в с к и й, Некоторые статистические характеристики английских текстов по электронике, «Статистика речи», Л., 1968, стр. 225.

¹⁸ Термин «диалог» был бы не вполне точен. И термин «разговорная речь», как отметил Ф. П. Филин, тоже двусмысленный (Ф. П. Ф и л и н, О структуре современного русского языка, ВЯ, 1973. 2, стр. 2), но здесь двусмысленность исключена темой.

история литературы показывает, как нелегко выработать реалистическую подачу живой речи. Глухота к живой речи свойственна целым периодам литературы или — в иные периоды — обязана недостатку мастерства (персонажи разговаривают «по-письменному»). А у мастера речь персонажа подчинена художественным целям: не говоря уж о явной стилизации (яркий пример — сказ), и речь, казалось бы, самая естественная, в подлинном художественном произведении строга́йше отобрана. Чтобы проверить объективность передачи, проведены дополнительные подсчеты: оказалось, что в пьесах (от А. Н. Островского до В. С. Розова) средняя длина слова 4, 6 звука, а в прямой речи персонажей художественной прозы (от А. С. Пушкина до М. А. Шолохова) только 4, 4 звука (в грузинских текстах — 5, 6 и 5, 3). Возможная причина: драматург вынужден поручать действующим лицам изложение событий, происходящих вне сцены, а в художественной прозе это делает авторский текст. Теперь техника позволяет подсчеты по прямой записи живой речи, но еще неизвестно, который из двух источников лучше передает ее. В дальнейшем исследователи, может быть, обнаружат статистические различия и драматургических жанров. Писатель создает образ каждого персонажа речевыми средствами, но не примитивно и поверхностно — назойливыми «словечками» (о которых столько написано), а всем строем речи¹⁹. Средняя длина слова персонажей «Волки и овцы» А. Н. Островского: умный и образованный делец Беркутов — 4, 7, побывавшая в «свете» Глафира — 4, 4, недалекая Анфуса с почти бесформенным лепетом — 3, 0. Оставаясь в пределах амплитуды разговорной речи, показатели различны, безошибочно создавая индивидуальный образ. Вся речь Анфусы, например, состоит на 80% из частиц и местоимений, не связанных синтаксически; аффиксы и флексии, составляющие абсолютное большинство звуков в потоке русской речи, здесь единичны, — изумительная находка, сделанная за четыре десятилетия до нечленораздельных слов героини «Пигмалиона» Б. Шоу. Такова причина рекордной краткости слова.

Различия средней длины слова по видам речи и по языкам убеждают, что эти показатели не извечны, а исторически изменчивы. Куда направлены изменения? Пока отсутствуют подсчеты длины слова в прошлом, судить о ней можно лишь по различным тенденциям, которые противоположны. Соотношение данных по разговорной речи и по научной прозе показывает, что в процессе истории слово удлиняется, оно обрывает аффиксами, сливается с другим. Но известны и встречные течения, например, укорочение английского слова с утратой флексий. Новые условия жизни потребовали нового наименования из двух длинных слов *коллективное хозяйство* — 22 звука (не буквы), но оно быстро сократилось в *колхоз* — 6 звуков, однако тотчас от него возникли производные *колхозный*, *колхозник* с производными формами — *колхозниками* — 12 звуков, вместо *членами коллективных хозяйств* — 27 звуков. При высокой частотности слова разница грандиозна. Где магистраль в этой пестрой смене удлинений и сжатий?

Расчет показывает, что, располагая двадцатью различными звуками, неизменяемыми позиционно, даже при таких ограничениях, как запрет сочетания более чем двух гласных и более чем трех согласных, можно получить свыше миллиона различных звукосочетаний с максимальной длиной каждого всего в 5 звуков. Это не только покрывает количество всех различных словоформ, но и оставляет огромный запас «на рост» (готовых будущих слов). А в русской научной прозе больше 80% всей ее звуковой

¹⁹ В. А. Никонов, Речевые характеристики персонажей, «Русская речь», 1969, 1.

массы приходится на словоформы длинней пяти звуков, большинство же звукосочетаний «пустует», — даже простейшие — нет слов *ва, ол*. Если бы язык развивался не стихийно, а по плану, основанному на расчете, вся русская научная проза без ущерба для содержания уложилась бы в объем вдвое меньший, чем теперь. Развитием управляла не экономия²⁰. Для обозначения новых явлений и нового понимания старых явлений старые слова неточны, требовались новые. Эта потребность — двигатель развития. Может быть, признать обе противоположные тенденции равными? Безусловно — нет. Это факторы не одного уровня. Стремление к точности выражения — двигатель развития; экономия — очень важное, но только подчиненное, вспомогательное средство.

Длина слова обусловлена составом слова. Состав слова обусловлен строем языка, определяющим формы словообразования (изолирующим, агглютинативным, флективным), в агглютинативных и флективных языках — синтаксическим положением слова, диктующим формы словоизменения. В языках с резко разошедшимися частями речи части речи различны по составу слова. В художественной прозе (рассказы Пушкина, Чехова, Пришвина) из всей звуковой массы имен существительных на флексии приходится 17%, а в глаголах 31%, на собственно корневую часть (т. е. исключая все этапы словообразования и словоизменения) — в именах существительных 59%, а в глаголах 43%. В речи длина глагола зависит от словоизменения больше, чем длина существительного.

Но именно вследствие этого различие длины текста двух языков и средняя длина слова в тех же языках не изоморфны: казах. *уйінде*, груз. *mis saxlsi*, русск. *в его доме*. В обращении В. И. Ленина «К населению» (5) 18 ноября 1917 г.²¹ и переводах того же текста на грузинский и казахский языки длина слова и длина всего текста таковы:

	русск.	казах.	груз.
количество звуков	3247	3677	3443
» слов	503	491	461
средняя длина слова	6,46	7,49	7,39

— хотя русское слово короче грузинского и казахского, зато количество слов в казахском и грузинском переводе гораздо меньше, так как казахское слово и грузинское слово вобрали в себя предлоги и некоторые частицы, существующие в русском языке отдельно. Ясна неоднозначность между длиной слова и длиной текста в целом.

Пока в изучении длины слова сделаны лишь первые шаги. Еще предстоит решить немало вопросов в непрерывном сотрудничестве методов статистических и нестатистических, противопоставлять которые бессмысленно. Лингвостатистики не существовало бы без всего добытого другими методами; в свою очередь лингвостатистика помогает выявить феномены, которые невозможно обнаружить другими лингвистическими методами. Противники лингвостатистики, не замечая этого сами, постоянно оперируют понятиями *много, мало, реже, чаще*, т. е. пользуются именно лингвостатистикой, только приближительной, «на глазок». В сущности, сама интуиция в науке — не что иное, как вероятностно-статистическая гипотеза на основе накопленного опыта, еще не располагающая точными подсчетами.

²⁰ Об этом см. убедительную статью Р. А. Б у д а г о в а «Определяет ли принципы экономии развитие и функционирование языка?», в его кн.: «Человек и его язык», М., 1974.

²¹ В. И. Л е н и н, Полн. собр. соч., 35, стр. 65—67.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

ЗЕМСКАЯ Е. А., КУБРЯКОВА Е. С.

ПРОБЛЕМЫ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

(в связи с XII Международным конгрессом лингвистов)

Осенью 1977 г. в Вене состоялся XII Международный лингвистический конгресс. Следует отметить, что ни разнообразие лингвистических интересов, разделяемых участниками конгресса, ни чрезвычайная пестрота поднятых здесь проблем — от самых общих до самых частных, ни следование разным школам и направлениям, не могли затемнить того несомненного факта, что связи лингвистики с другими дисциплинами существенно расширились, что исследования по языку приобрели огромный размах во всем мире и что на первый план в этих исследованиях вышли проблемы, относящиеся к содержательной стороне языка и, главное, к положению языка в современном обществе. Все это нашло свое отражение и в постановке и решении проблем словообразования.

Тема «Словообразование» была включена в повестку дня Международного лингвистического конгресса впервые. Впервые ей было посвящено специальное пленарное заседание, впервые на конгрессе работала и отдельная секция по словообразованию. Подобное внимание к проблемам словообразования не было неожиданным. Напротив, это, несомненно, совпало с резко возросшим интересом к этим проблемам за рубежом, где за последнее десятилетие — главным образом в связи с осознанием серьезных пробелов в описании словообразовательных процессов в порождающей модели языка и со стремлением восполнить этот пробел или по крайней мере найти способы преодолеть его — были предприняты попытки сформулировать основы новой теории словообразования¹. Появилось также немало работ, доказывающих особую роль данных словообразования для понимания всей деятельности языка и создания адекватной модели ее описания².

¹ Ср., например: M. H a l l e, *Prolegomena to a theory of word formation*, «Linguistic Inquiry», 1973, 4; L. L i p k a, *Prolegomena to a «Prolegomena to a theory of word-formation»*, в кн.: «The Transformational — generative paradigm and modern linguistic theory», ed. by E. F. K. Koerner, Amsterdam, 1975; J. M. C a r r o l, M. K. T a n e n h a u s, *Prolegomena to a functional theory of word-formation*. Chicago Linguistic Society, 1975; «Papers from the Parasession on Functionalism. April 17, 1975», ed. by M. E. Grossman and oth.; D. K a s t o v s k y, *Problems of word-formation*, «Grundberiffe und Hauptströmungen der Linguistik», München, 1977.

² Из работ зарубежных исследователей здесь следует назвать в первую очередь интересные публикации Д. Уорта (см.: D. S. W o r t h, *On the structure and history of Russian. Selected essays*, München, 1977), а также исследования школы Г. Маршана (J. Липка, Г. Брекле, Д. Кастовский и др.); см. также: T. M. L i g h t n e r, *The role of derivational morphology in generative grammar*, «Language», 57, 3, 1975.

Между тем как в зарубежной лингвистике обращение к проблемам словообразования, действительно, знаменует переход к более широким концепциям языка и к заметному расширению сферы интересов лингвистики именно в последнее десятилетие, в отечественном языкознании традиции изучения словопроизводства и словосложения восходят еще к временам М. В. Ломоносова. В трудах же Ф. Ф. Фортунатова, И. А. Бодуэна де Куртене, Н. В. Крушевского, М. М. Покровского, Л. В. Щербы содержится тонкий и всесторонний анализ многих аспектов словообразования. Важную роль в становлении словообразования как отдельной области науки о языке сыграли также труды В. В. Виноградова, Г. О. Винокура, А. И. Смирницкого, М. Д. Степановой и многих других наших языковедов.

Уже в 50-х годах нашего века в работах В. В. Виноградова были ярко продемонстрированы те конкретные особенности словообразования, которые вызываются его сложной природой и одновременной обращенностью как к грамматике, так и лексике языка³. Но, пожалуй, наибольшее значение для развития теории словообразования в советской лингвистике сыграл выдвинутый В. В. Виноградовым «конструктивный тезис об особом месте словообразования в системе лингвистических дисциплин»⁴. Теперь уже не вызывает сомнения, что хотя те или иные конкретные черты в процессах словообразования и результатах этих процессов объясняются взаимодействием явлений разных уровней, а порою — и прямой зависимостью указанных процессов от закономерностей, относящихся к морфологическому, синтаксическому, фонологическому или же лексическому уровням, словообразование образует самостоятельную подсистему языка и, соответственно, представляет собою особую область науки о языке⁵.

Специфика словообразования, автономность его статуса объясняется тем, что из всех лингвистических подсистем оно одно специально предназначено для осуществления номинативной деятельности человека — для образования новых наименований⁶, для формирования и обеспечения нормального функционирования особых единиц номинации — производных слов. В рамках словообразования происходит создание такой единицы системы языка, свойства которой уникальны и не повторяются в своей совокупности ни у одной другой лингвистической единицы, — производного слова⁷. В ведении словообразования оказываются, таким образом, все аспекты создания, функционирования, и, соответственно, адекватного описания этих единиц и их объединений, исследование строения сложных и разнообразных функций этой подсистемы языка.

В словообразовании, как в фокусе, сходится проблематика таких разных дисциплин, как синтаксис и морфология, морфонология и фонология, лексика и семантика, и само оно вбирает в себя и преломляет через свои нужды и задачи закономерности всех указанных подсистем. Естественно поэтому, что на разных этапах развития науки на первый план по своей

³ См.: В. В. Виноградов, Словообразование в его отношении к грамматике и лексикологии, в кн.: В. В. Виноградов, Избранные труды. Исследования по русской грамматике, М., 1975.

⁴ См.: Н. [Ю.] Шведова, Грамматические труды академика Виктора Владимировича Виноградова, там же, стр. 8.

⁵ Красноречивым свидетельством самостоятельности словообразования как особой лингвистической дисциплины является содержащая 3511 названий библиография работ по русскому словообразованию. См.: D. S. Worth, A Bibliography of Russian word-formation, Ohio, 1977 («Slavica Publ.»).

⁶ Ср.: Е. С. Кубрякова, Еще раз о месте словообразования в системе языка, сб. «Актуальные проблемы русского словообразования», I, Ташкент, 1975.

⁷ См.: Е. С. Кубрякова, Производные как особая единица системы языка, в кн.: «Теория языка. Англистика. Кельтология», М., 1976, стр. 79—80.

важности может выходить признание связей словообразования с разными уровнями языка. Так, в становлении словообразования на первых порах важную роль сыграло рассмотрение его связей с морфологией языка. В советском языкознании это привело к описанию тонких и важных различий между морфемными и словообразовательными структурами слова (Н. Д. Арутюнова и др.). В свою очередь анализ расхождений между членимостью слова на морфологическом уровне, с одной стороны, и словообразовательном, с другой, привел к необходимости обратить особое внимание на значимость элементов в расчленяемых структурах. Большим достижением советского языкознания оказалось обращение к содержательной стороне словообразования, во многом опередившее постановку аналогичных проблем в генеративной семантике. Так, важный шаг в теории языкознания оказался связанным, например, с выдвиганием понятия о словообразовательном значении как особом типе лингвистического значения, отличного и от лексического, и от грамматического значений слова. Многие описания словообразовательных систем, выполненные советскими учеными, были ориентированы на описание семантики производных и семантики словообразовательных категорий, а главные единицы этих систем всегда получали не только формальную, но и содержательную интерпретацию. В трудах З. М. Волоцкой, О. П. Ермаковой, Е. А. Земской, Е. С. Кувряковой, Р. С. Манучаряна, О. М. Соколова, А. Н. Тихонова, И. С. Улуканова нашли отражение разные подходы к исследованию словообразовательного значения, но всем им была присуща тенденция соотносить структурные особенности процессов словообразования с их семантикой.

Стремление изучить словообразование как особую подсистему языка необходимо связано с выявлением ее единиц. В связи с этим в последнее время наряду с основной единицей словообразования (производным словом) и минимальной единицей (аффиксами и другими формантами) было предложено выделять комплексные единицы: «словообразовательный тип», «словообразовательное гнездо», «словообразовательная категория» и «словообразовательная парадигма». Наименее изучена из этих единиц словообразовательная парадигма. (Знаменательно, что этот термин начали почти одновременно использовать разные ученые разных стран.) На Венском конгрессе понятие «словообразовательная парадигма» подробно рассматривалось в докладе Е. А. Земской «Об основных единицах системы синхронного словообразования». Указывая, что разные лингвисты вкладывают в этот термин разное содержание, автор считает, что наиболее целесообразно называть словообразовательной парадигмой набор производных, имеющих одну и ту же производящую основу⁸. Подобно тому, как словоформы склонения и спряжения образуют морфологические парадигмы, набор производных от одного и того же слова образует его словообразовательную (деривационную) парадигму. Автор предлагает различать конкретные и типовые словообразовательные парадигмы⁹. Последние представляют собой единицы плана содержания, получаемые при отвлечении от способов выражения тех или иных деривационных значений.

Выделение подобных единиц помогает осознать сложность организации словообразовательной подсистемы и объяснять эту сложность не только

⁸ См. об этом подробнее: Е. А. Земская, О парадигматических отношениях в словообразовании, в кн.: «Русский язык: вопросы его истории и современного состояния. Вытоградские чтения — I—VIII», М., 1978 (в печати). См. там же критический разбор равнообразных применений термина «словообразовательная парадигма».

⁹ Ср.: Р. С. Манучарян, Проблемы исследования словообразовательных значений и средств их выражения (на материале сопоставления русского и армянского языков). ДД, Ереван, 1975.

многосторонними связями словообразования с другими подсистемами языка и не только разнообразием функций словообразования, но и принципами устройства этой подсистемы — большим количеством и разнородностью представленных здесь единиц, сложной иерархией их связей в синтагматическом и парадигматическом планах.

В силу перечисленных особенностей словообразования не случайно, что достижения в области развития самых разных сфер лингвистического знания неизменно сказываются на совершенствовании и уточнении теории словообразования и что, напротив, успехи теории словообразования способствуют адекватному решению целого ряда проблем в грамматике и семантике.

Осуществляя новый подход к явлениям словообразования и осознавая важность места словообразования в кругу других лингвистических дисциплин и значимость данных этой подсистемы для решения многих актуальных проблем современного языкознания, специалисты в рассматриваемой области уже не раз встречались в последние годы, чтобы обсудить проблемы образования производных слов и методов их адекватной классификации и представления в описании языка. Состоялись такие встречи как у нас в стране¹⁰, так и за рубежом¹¹. Еще один шаг для определения перспективных направлений в развитии теории словообразования был сделан и на XII Международном конгрессе лингвистов, где было заслушано более 20 докладов на темы, связанные со словообразованием, и около 100 выступлений по этим докладам¹².

Не ставя себе целью охарактеризовать содержание всех этих докладов, мы пытаемся ответить в настоящей статье на вопрос о том, каковы наиболее характерные особенности изучения словообразования на современном этапе развития науки и какое отражение это нашло в работе конгресса.

Наиболее примечательным на конгрессе, с нашей точки зрения, было сочетание интереса к общей теории словообразования и разным подходам к ее созданию с пристальным вниманием к частным, а иногда даже периферийным явлениям в области словообразования. Наиболее широко обсуждались проблемы, связанные с деривационной семантикой, с путями возникновения производных слов разных типов и существующими здесь ограничениями на разных уровнях строения языка, с соотношением слово-

¹⁰ Так, специальная секция по словообразованию работала на Всесоюзной научной конференции по теоретическим вопросам языкознания (ноябрь 1974 г.) (см. «Тезисы докладов секционных заседаний», М., 1974), а также на научной конференции «Проблемы синтаксической семантики» в МГИИИЯ им. М. Горького в 1976 г. (см. «Материалы научной конференции», М., 1976). Нельзя не отметить также регулярно проводимые Межвузовские научные конференции «Актуальные проблемы русского словообразования», материалы которых были опубликованы под тем же названием в 1972 г. (т. I—II) и 1976 г. (т. I—II) в Ташкенте.

¹¹ См. материалы конференции, состоявшейся в Регенсбурге в 1973 г. и выпущенные X. Риксом под заглавием «Flexion und Wortbildung. Akten des V. Fachtagung der Indogermanischen Gesellschaft Regensburg, 9—14 September 1973», Wiesbaden, 1975, а также публикуемые в настоящее время Г. Брекле и Д. Кастовским материалы коллоквиума по словообразованию: «Perspektiven der Wortbildungsforschung. Akten des Wuppertaler Wortbildungskolloquiums, 9—10. Juli 1976». См. также работы коллектива лингвистов Лейпцигского университета, посвященные изучению русского словообразования: «Beiträge zur Russischen Wortbildungslehre» («Linguistische Arbeitsberichte», 9), Leipzig, 1974. См. там же: «Bibliographie zur Russischen Wortbildungslehre» von E. Eichler, G. Lehnert, I. Ohnheiser, E. Zimmermann.

¹² На пленарном заседании были заслушаны доклады Е. А. Земской (СССР), Г. Брекле (ФРГ); с докладом М. Докулила (ЧССР) можно было ознакомиться только по кратким тезисам. На секции по словообразованию были представлены доклады Е. С. Кубряковой, И. С. Улукханова, А. В. Бондарко (СССР), В. И. Георгиева (НРБ), В. Флейшера (ГДР), Я. Пачесовой (ЧССР), Дж. Фидельхольтца (ПНР); В. Дресслера, М. Майрхофера, В. Мейда и О. Панаглия (Австрия); В. М. Кристи, Л. Судека, С. Гариса, М. Шапиро (США); А. Маршала и Э. Тифу (Канада) и др.

образования и синтаксиса, с уточнением статуса разных единиц словообразования, их иерархии, а также особенностей их использования.

Общим для многих докладов было стремление согласовать методы словообразовательного анализа с новейшими веяниями в общей теории языка (например, с достижениями в области падежной грамматики и семантического синтаксиса), стремление применить для описания и характеристики словообразовательных явлений новые понятия и категории. Нельзя также не признать, что в подходе к рассматриваемым явлениям явно преобладало динамическое, процессуальное, а не статическое начало: в центре внимания исследователей находились не столько результаты актов деривации, сколько протекание процессов словообразования и уточнение условий их осуществления. В целом, несмотря на известное критическое отношение к ряду положений генеративной грамматики и генеративной семантики, в выступлениях многих докладчиков звучали доводы как в защиту, так и в опровержение тех концепций, которые определили знаменитый спор «лексикалистов» и «трансформационалистов», начавшийся еще в 60-х годах и продолжающийся вплоть до настоящего времени¹³.

Мало, к сожалению, освещенный в нашей печати, спор этот затрагивает самые кардинальные проблемы словообразования и суть его заключается в выяснении того, как именно, в результате каких процессов (регулярных или же сугубо индивидуальных) образуются производные наименования в речевой деятельности человека, какой компонент в описании системы языка — лексика или грамматика — обеспечивают адекватное отражение словообразования и, наконец, как в конечном итоге должен отразить словарь конкретного языка структурно-семантические особенности производных единиц: общими правилами и отсылкой к этим правилам или же индивидуальным объяснением каждого отдельного производного. Несомненно, что эти проблемы были и остаются самыми насущными проблемами теории словообразования не только потому, что они относятся к исследованию наиболее важных аспектов словообразования (определению его регулярного или же нерегулярного характера; творческого или же репродуктивно-пассивного характера номинативной деятельности, связанной со словообразованием; установлению факторов, ограничивающих действие словообразовательных правил или диапазон использования той или иной словообразовательной модели; изучению причин лексикализации в актах деривации и т. д. и т. п.), но и потому, что они самым прямым и непосредственным образом связаны с общей оценкой порождающей грамматики и порождающей семантики.

Так, не вызывает, например, сомнения, что недостатки этой теории весьма ощутимо дают о себе знать именно потому, что, по общему признанию, в рамках трансформационно-порождающей грамматики адекватного описания процессов словообразования достигнуто не было и, несмотря на многочисленные попытки этого рода, словообразовательному компоненту в генеративной грамматике еще не найдено надлежащего места. Ведь в словообразовании наряду с процессами, которые можно описать трансформационно (констатацией правил перехода от одной структуры к другой, ср., например, некоторые типы номинализаций), существуют множество процессов, не укладывающихся в эти схемы.

¹³ См. подробнее: N. Chomsky, Remarks on nominalizations, «Readings in English transformational grammar», ed. by R. A. Jacobs and P. S. Rosenbaum, Toronto, 1970; В. Фрагер, Some remarks on the action nominalizations in English, там же; R. Bortha, The justification of linguistic hypothesis, The Hague, 1973, стр. 120 и сл.; W. Motsch, Ein Plädoyer für die Beschreibung von Wortbildungen auf der Grundlage des Lexicons, Berlin, 1976 (роталпринт); Е. С. Кубрякова, Теория номинации и словообразование, в кн.: «Языковая номинация (виды наименований)», М., 1977, стр. 229 и сл.

Всестороннему рассмотрению природы словообразовательных явлений и причин наступающей в актах деривации лексикализации было уделено немало времени и на конгрессе. Так, в докладе Е. А. Земской специально анализировались семантические особенности основной единицы словообразования — производного слова. Производное слово — это одновременно и структура, составленная из морфем, и единица лексическая, номинативная. Как единица номинативная производное слово «работает по заказу» лексической системы, и поэтому обычно его морфемное строение не выражает полностью его номинативную семантику. В борьбу вступают абстрактные возможности системы, репрезентирующие схемы словообразования, и их конкретная реализация нормой языка и узусом.

Как правило, в производном слове имеются семантические компоненты, не выводимые из значения составляющих его частей. Эта особенность семантики производного слова сближает его с идиомой (фразеологизмом). Ведь в идиомах, по мнению В. В. Виноградова, связь компонентов может быть объяснена с исторической точки зрения, но она не понятна, не мотивирована с точки зрения живой системы современных грамматических отношений. Аналогия между семантикой производного слова и идиомы способствовала тому, что указанную особенность производного слова в советском языкознании называют идиоматичностью (или фразеологичностью) его значения. Эта особенность свойственна производным словам разных языков. По-видимому, ее можно считать общей отличительной чертой производного слова в фузионных языках¹⁴.

Следует подчеркнуть, что фразеологичность семантики — живое явление языка. Неверно было бы думать, что каждое новое производное слово сначала имеет нефразеологическое значение и лишь впоследствии становится идиоматичным. Многие новообразования сразу рождаются с идиоматической семантикой¹⁵. Слова с фразеологической семантикой не могут быть заданы правилами, они резко отличаются от тех регулярных образований, которые могут быть порождены с помощью синтаксических трансформаций¹⁶.

По нашему мнению, такой подход неверен. Ведь многие слова, которые не могут быть подвергнуты единообразным трансформациям, сохраняют одновременно семантическую мотивированность и членимость, и тем самым не должны исключаться из сферы словообразования. Однако такие слова не являются лексикализованными, т. е. утратившими семантическую мотивированность и членимость. Мы считаем необходимым различать эти два понятия — идиоматичность семантики производного слова (при этом оно остается мотивированным и членимым, ср. *Lehrer*, *громкоговоритель*) и лексикализацию производного слова (слова, подвергшиеся лексикализации, не мотивированы семантикой их конститuentов, ср. нем. *Augenblick*, *herrlich*, русск. *лапоть* и *лапа*).

¹⁴ Знаменательно, что в наши дни эту особенность производного слова отмечают в разной связи разные лингвисты. Так, Г. Зейлер пишет, что немецкое существительное *Lehrer* не обозначает «тот, кто учит», а имеет дополнительный семантический компонент «профессиональная деятельность» (H. Seiler, *Language universals and interlinguistic variation*, «Arbeiten des Kölner Universalien-Projekts», 1975, 18, стр. 6). Характерно, что тот же семантический довесок («профессиональная деятельность» + «в школе») входит в семантику русского слова *учитель*.

¹⁵ Приведем в качестве примера немецкое разговорное существительное от глагола *heulen* («громко кричать») — *die Heule*, которое обозначает транзистор, а не крикуна или любой механизм, который издает шум. Ср. также русск. *громкоговоритель*, нем. *Lautsprecher*, франц. *haut-parleur*.

¹⁶ Ср., например, взгляды В. Мотта, который относил ранее к сфере синхронного словообразования лишь те слова, которые могут быть единообразно трансформированы в синтаксические структуры (W. Motsch, *Zur Stellung der Wortbildung in einem formalen Sprachmodelle*, «Studia Grammatica», I, Berlin, 1966, стр. 33).

С нашей точки зрения, фразеологичность семантики — типическая черта производного слова. Она охватывает основной массив производных узуальных слов. Именно поэтому слова с фразеологической семантикой нельзя исключить из изучения системы словообразования¹⁷. Эти слова составляют специфику словообразования как особой подсистемы языка и вместе с тем являются камнем преткновения в споре лексикалистов и трансформационалистов, ибо, с одной стороны, они не могут рассматриваться как немотивированные знаки и задаваться списком. С другой стороны, они не могут порождаться строгими грамматическими правилами, так как их значение всегда содержит нечто специфическое, индивидуальное. Таким образом, производное слово как лингвистический феномен представляет собой явление исключительно своеобразное, отражающее напряжение между лексикологией (тенденцией к знаку произвольному) и грамматикой (тенденцией к знаку мотивированному)¹⁸.

Изучение соответствующего круга вопросов крайне важно для теории словообразования, потому что производным разных словообразовательных типов, производным разных частей речи, производным от разных основ фразеологичность семантики свойственна не в одинаковой степени.

В советском языковедении проблемы фразеологичности семантики изучаются уже давно и весьма интенсивно¹⁹.

Вопрос о фразеологичности производного слова тесно связан с вопросом о том, какие именно структуры мотивируют производные слова разных типов и могут рассматриваться в качестве непосредственного источника деривации. Решению этой проблемы был посвящен доклад Е. С. Кувряковой, в котором было подчеркнуто, что как по своему уровневому статусу, так и по своему объему источники производных наименований могут широко варьироваться. Актуальной задачей словообразования является в этой связи установление набора тех формальных и семантических признаков, которые сохраняются в структуре производного слова или, напротив, устраняются из нее, при разных источниках деривации. Другой стороной этой проблемы оказывается вопрос о том, насколько полно отражает морфологическая структура производного слова формальные и семантические свойства мотивировавшей его единицы.

Анализ производных слов показывает, что отыменное словообразование отлично в этом смысле от отглагольного и что морфологические структуры этих производных отражают по-разному мотивировавшие их единицы. Так, отглагольные образования могут быть обычно соотнесены с такими синтаксическими конструкциями, предикат которых повторяется в основе производного (ср. *Он заикается* → *он — заика*; *он работает* → *он — рабочий*). Ясно, однако, что для объяснения семантики отглагольного производного важно «реконструировать» не только предикат исходной конструкции, но и уточняющие его обстоятельства или дополнения (ср. *он водит машину* → *он — водитель*; *он начал громко кричать* → *он раскричался* и т. п.). Для производных отыменных надо, напротив, определить (восстановить) предикат исходной или мотивирующей конструкции и отношение к нему непосредственно мотивирующего слова (ср. *школьник* — «тот, кто учится в школе», *пожарник* — «тот, кто тушит пожар»).

¹⁷ См. подробнее: Е. С. Куврякова, *Словообразование*, в кн.: «Общее языковедение. Внутренняя структура языка», М., 1972, стр. 380 и сл.

¹⁸ Ср.: S. K a r s e v s k i, *Système du verbe russe*, Prague, 1927, стр. 15.

¹⁹ М. В. Панов рассматривает фразеологичность семантики как типическую черту производного слова, см.: М. В. П а н о в, *О слове как единице языка*, «Уч зап. МГПИ им. Потемкина», 51, М., 1956. Ср. также: L. Z a w a d o w s k i, *Podźelność morphologiczna a znaczenie wyrazu*, «Językoznawstwo», 1957, 5.

Важную роль в исследовании семантики производных слов играет изучение сочетаемости исходного (мотивирующего) слова. И здесь в глаза бросается принципиальное различие деноминативных и девербативных производных. Если производное образовано от глагола, оно включает семантику тех существительных, которые могут быть объектами при данном глаголе: *регулирующий* — это «тот, кто регулирует у л и ч н о е д в и ж е н и е»; *наборщик* — «тот, кто набирает ш р и ф т в т и п о г р а ф и я»; *водитель* — «тот, кто водит м а ш и н у» и т. п. Если же производное образовано от существительного, оно может включать семантику того глагола, с которым данное существительное обычно сочетается, обозначая объект действия: *печник* — «тот, кто к л а д е т печи»; *глазник* — «тот, кто л е ч и т глаза». В отглагольных именах, образованных от одной и той же основы, часто наблюдается закрепление за данным производным значения, связанного с различием в сочетаемости глагола с разными его уточнителями, ср. *ходок* и *ходатай*, *писец*, *писатель* и *писарь*, *чтец* и *читатель*, *игрок* и *игрун* и т. д.

Привычные связи исходного слова и их отражение в семантике производного составляют важную особенность смысловых структур дериватов. Ее изучение заставляет предположить, что набор тех семантических компонентов, которые не находят отражения в морфологической структуре слова, не безграничен. Он определяется теми естественными ассоциациями, которые существуют у говорящего в связи с мотивирующим словом и которые предопределяют выбор данного слова в качестве источника (базы) нового наименования. Для существительного *пожар* характерна связь с глаголом *тушить*, поэтому *пожарник* — это «тот, кто тушит пожар».

Сопоставление семантики производных слов и тех синтаксических конструкций, с которыми они соотносительны, обычно используется генеративистами для того, чтобы выявить регулярные явления словообразования. Между тем оно полезно и в других отношениях: для выявления всех компонентов значения, не выраженных морфемным составом слова²⁰.

Наличие в семантике производных и сложных слов сем, не выраженных в их составе, рассматривалось в докладах многих участников конгресса (В. Дресслера, Г. Брекле и др.). Как признак, характерный для слов, образованных телескопическим способом (blends), рассматривал это явление В. Мейд в содержательном докладе «Отношения между внешней и внутренней языковой формой: скрещенные знаки и фузионное содержание»; посвящен построению типологии этих своеобразных производных в английском языке (например, *liger* из *lion* + *tiger*) был и доклад Л. Судека.

Обращая особое внимание на идиоматичность семантики производного слова, необходимо отметить, что словообразование включает и единицы, лишенные этого признака, т. е. семантика которых целиком выводится из значения их компонентов. Какие же это единицы? Прежде всего это так называемые потенциальные слова, которые являются чистой реализацией словообразовательной модели. Они не имеют особого лексического значения (иначе говоря: их лексическое и деривационное значения совпадают). Такие слова образуются по моделям очень высокой продуктивности особенно легко в детской речи, в непринужденной разговорной речи и в языке поэзии.

²⁰ Так, например, О. П. Ермакова, анализируя различные типы производных, показывает различие и сходство в семантическом «устройстве» отглагольных и отсубстантивных образований, связанные с более частой фразеологичностью имен (О. П. Ермакова, Проблемы лексической семантики производных и членимых слов. ДД, М., 1977).

Одна часть таких единиц тяготеет к сфере словосочетаний (например, русские существительные с приставками *арти-, сверх-, пре-, супер-, ультра-, анти-* и др.). Другой класс слов, лишенных фразеологической семантики, составляют синтаксические дериваты, т. е. отвлеченные имена признаков и действий. Синтаксические дериваты заполняют ту часть системы словообразования, которая тяготеет к формам словоизменения. Именно поэтому неоднократно ставился вопрос, не следует ли считать продуктивные типы синтаксической деривации формами слова (Н. С. Трубецкой, М. В. Панов).

Особый класс синтаксических дериватов в русском языке составляют отсубстантивные прилагательные, которые вне сочетания с существительными выражают общее недифференцированное отношение к тому, что названо производящей основой²¹ (типа *лесной, морской, бензиновый*). Характер отношения, выражаемого прилагательным, получает конкретизацию лишь в сочетании с существительным или в более широком контексте.

В тесной связи с полемикой лексикалистов и генеративистов находится и вопрос о соотношении словообразования и синтаксиса, хотя в некоторых направлениях современного языкознания этот вопрос ставился и безотносительно к узко порождающему рассмотрению языковых явлений²².

Вместе с тем, несомненен и тот факт, что с развитием семантического синтаксиса проблема связи словообразования и синтаксиса приобрела особую остроту и актуальность. Однако, как было подчеркнуто в докладе Е. С. Кубряковой, подход от синтаксиса не может объяснить всего многообразия процессов словообразования²³. И действительно, уточняя механизм тех процессов, которые протекают на основе высказывания, предложения, дефиниции обозначаемого предмета как единицы, обладающей предикативной структурой, синтаксический подход в целом ряде случаев излишен. Так, он не может объяснить: а) закономерностей словообразования по аналогии (ср. *танкодром, автодром*); б) тех процессов, которые традиционно считались созданием слова от слова и которые могут рассматриваться как специфические типы ассоциативных процессов (*мяч: мячик = стол: столик*).

С разработкой проблем синтаксического словообразования был связан доклад О. Панаглы (Австрия) «Агенса и инструмент в словообразовании», в котором с точки зрения падежной грамматики рассматривалось соотношение агентивных и инструментальных значений в пределах суффиксальных отглагольных существительных²⁴.

Серьезные аргументы против узкогенеративного представления и объяснения процессов словообразования были приведены в докладе Г. Брекле. Хотя, судя по заглавию, доклад был посвящен «Размышлениям об условиях образования, использования и понимания именных сложных слов» и,

²¹ См. подробнее: Е. А. Земская, О семантике и синтаксических свойствах отсубстантивных прилагательных в современном русском языке, «Историко-филологические исследования», М., 1967; е е ж е, Производные слова в толковых словарях русского языка, в кн.: «Современная русская лексикография. 1976», М., 1977, стр. 112—115.

²² Ср. польскую лингвистическую школу, начиная с работ Я. Розвадовского и В. Дорощевского; ср. также работы В. М. Павлова, Л. В. Сахарного и др.

²³ См. также: Е. С. Кубрякова, Семантика синтаксиса и некоторые проблемы словообразования, в кн.: «Проблемы синтаксической семантики (Материалы научной конференции МПНИИ им. М. Горького)», М., 1976.

²⁴ Соотношение агентивных и инструментальных значений в структуре русских суффиксальных существительных плодотворно изучалось в отечественном языкознании. См., например: Н. А. Яко-Тришца, Закономерность связей словообразовательного и лексического значений в производных словах, в кн.: «Развитие современного русского языка», М., 1963, стр. 90—95.

как подчеркивал автор, в центре его внимания находился вопрос об определении прагматических факторов в создании и апробации обществом новых (оказиональных) сложных слов, большая часть доклада была на деле посвящена критическому рассмотрению новых подходов к описанию словообразовательных процессов.

Как подчеркнул докладчик, в актах коммуникации, конкретных речевых ситуациях, говорящий использует необходимый ему лексический материал, прибегая к двум разным способам — с одной стороны, он извлекает его из известного ему инвентаря лексических единиц; с другой стороны (и это особенно ощутимо в детской речи), привлекая свое знание языковых моделей и образуя свои собственные новые лексические единицы (производные или сложные слова). Два этих аспекта речевой деятельности должны изучаться по отдельности. Нельзя не отметить, что Брекле повторляет почти буквально слова Л. В. Щербы.

При систематическом различении области производных слов, уже зафиксированных словарем и по большей части лексикализованных (аналогичной точки зрения, по словам Г. Брекле, придерживается и М. Юнг), словообразование в подлинном смысле этого термина оказывается связанным с изучением продуктивных правил образования производных и сложных слов современного языка. Важным понятием теории словообразования становится, таким образом, понятие *правила словообразования* как отличного по многим признакам от правила грамматического. Словообразовательное правило, или правило-схема (a rule-scheme) близко по своей природе правилам топикализации, и в определении места этих правил в системе языка еще нет окончательной ясности; сам Брекле не исключает возможности их отнесения к грамматике языка. При образовании производных, кроме того, чрезвычайно важны социальные условия их появления.

Мысль об особом месте правил словообразования в системе языка, о его связях с «соседними» подсистемами, лежала в основе доклада В. Дресслера «Элементы полицентрической теории словообразования»²⁵. Автор убедительно показал, что объяснения многих фактов словообразования можно достичь лишь учитывая взаимодействие явлений разных уровней языка. В. Дресслер предложил «правила блокировки» (blocking rules), с помощью которых устанавливаются запреты на появление тех или иных словообразовательных единиц²⁶.

Рассматривая разные действующие в словообразовании правила, в том числе, например, правила, препятствующие образованию омонимов, или же правила конкуренции синонимичных производных, а также многочисленные случаи столкновения нескольких правил, В. Дресслер привлекал для анализа факты не только центра, но и «периферии» словообразовательной системы — языка поэзии, детской речи, речи афатиков и т. п.

Сфера действия закономерностей словообразования тесно связана с влиянием социальных факторов. Мысли этого рода, высказанные многими

²⁵ См. подробнее: «Wiener linguistische Gazette», 15, стр. 13—32.

²⁶ Ср. классификацию разных видов ограничений, накладываемых на реализацию словообразовательных явлений: В. Н. Т о п о р о в, О некоторых фонетических особенностях славянских языков в связи со словообразованием, «Prace Filologiczne», XVII, 2, 1964; Е. А. З е м с к а я, Современный русский язык. Словообразование, М., 1973, стр. 194—204; И. С. У л у х а н о в, О закономерностях сочетаемости словообразовательных морфем (в сравнении с образованием форм слов), в кн.: «Русский язык. Грамматические исследования», М., 1967, стр. 166—177; е г о ж е, Словообразовательная семантика в русском языке и принципы ее описания. ДД, М., 1975; Е. С. К у б р я к о в а, З. А. Х а р и т о н ч и к, О словообразовательном значении и описании смысловой структуры производных суффиксального типа, в кн.: «Принципы и методы семантических исследований», М., 1976, стр. 208—211, 218—220.

докладчиками на конгрессе, нашли обоснованное подтверждение в докладе В. Флейшера. Как справедливо подчеркнул В. Флейшер, производные, созданные в соответствии с системными закономерностями, подлежат в дальнейшем их использовании и употреблении всевозможным преобразованиям. Функциональное расслоение речи играет в этом процессе свою заметную роль, и модели, продуктивные в одном стиле, менее продуктивны в другом. Факторы указанного порядка оказывают влияние при возникновении синонимов и, напротив, в процессе устранения излишней синонимии производных наименований.

Вопросы синонимии словообразовательных средств освещались также и в докладе И. С. Улуханова, посвященном новому подходу к изучению словообразовательной семантики. В этом интересном докладе, свидетельствующем о том, что анализ значения интересовал автора задолго до появления порождающей семантики, были рассмотрены как синтагматические, так и парадигматические связи в деривационной семантике аффиксальных производных и было предложено деление аффиксов на семантически варианты и неварианты²⁷.

Стремление расширить горизонты словообразования, вывести его за пределы узкотрансформационалистских рамок вызвало интерес к изучению фактов, относимых обычно к этимологии языка (ср. Лайтнер, 1975). Poleмику с таким подходом содержал доклад В. Кристи, в котором он рассматривал статус уникальных сегментов, вычленяемых из состава слова в английском языке²⁸. По мнению автора, при определении границ деривационной морфологии в синхронном плане следует обязательно принимать во внимание критерий приемлемости тех или иных моделей для говорящих, что проверяется специальными лингвистическими экспериментами.

Проблемы словообразовательной морфологии на конгрессе затрагивались в ряде докладов. При этом выявился разный подход в трактовке некоторых явлений. Так, М. Шапиро, рассматривая соотносительные пары русских слов (типа *Михаил — Миша, кровь — кров-оподтек*), применял понятие маркированности, считая, что в парах *x/ш, в'/в* маркированным является тот член, который выступает в производном слове. Нам представляется такое решение спорным, ибо факты, подобные приведенным, занимают разное место в системе русского словообразования. Для русского словообразования характерно смягчение (а не отверждение!) согласных в производных. Кроме того, среди производных от слова *кровь* многие не содержат чередования (например, *кров-е-носный, кров-е-творный* и др.). Таким образом, в паре *в'/в* твердый согласный не может рассматриваться как маркированный, так как это понятие, на наш взгляд, имеет смысл лишь если оно применяется к ряду находящихся в одинаковых соотношениях фактов. Строить теорию оппозиций на основе единичных соотношений вряд ли целесообразно.

Мы подвели некоторые итоги обсуждения проблем словообразования на XII Международном конгрессе. Как видно из вышеизложенного, несмотря на широкий круг затронутых вопросов, здесь рассматривались далеко не все актуальные проблемы теории словообразования и многие перспективные направления в области словообразования остались вне

²⁷ См. подробнее: И. С. У л у х а н о в, Словообразовательная семантика в русском языке, М., 1977.

²⁸ В иной связи эта проблематика исследовалась в работе: Е. А. З е м с к а я, Унификсы (Об одном виде морфем русского языка), сб. «Вопросы филологии. К семидесятилетию И. А. Василенко», М., 1969; в е ж е, Современный русский язык. Словообразование, М., 1973, стр. 53—61. Применяя лингвистический эксперимент, автор доказывает, что сегменты *-амт* в *почтамт*, *-арус* в *стекларус*, *-адья* в *попадья* представляют собой особый класс вычленяемых из состава слова единиц — унификсы.

рамки дискуссии. Достаточно упомянуть в этой связи работы, относящиеся к описанию явлений, смежных с собственно словообразованием (Д. М. Шмелев, О. М. Соколов, В. М. Никитевич), к анализу словообразовательных гнезд (ср. исследования П. А. Соболевой, А. Н. Тихонова, Е. Л. Гинзбурга и др.), многочисленные исследования, связанные с разработкой ономаσιологического подхода к явлениям словообразования (ср., с одной стороны, работы коллектива М. Докулила и исследования по теории номинации сектора общего языкознания Института языкознания АН СССР, с другой), а также работы, связанные с метасемиотическим изучением словообразовательных систем (ср. исследования О. С. Ахмановой и ее учеников) или с экспрессивно-стилистическими функциями этих систем (ср. работы И. Р. Гальперина, Э. С. Азнауровой, В. Н. Виноградовой и др.).

Представляется вместе с тем, что конгресс выявил с отчетливой ясностью сложность словообразовательной проблематики и ее широкую разветвленность. Не вызывает также сомнения, что постановка и решение многих проблем словообразования важны не только для теории и практики работы в данной области, но и для целого ряда проблем общего языкознания. У нас в стране традиции изучения словообразования имеют глубокие корни. Можно надеяться поэтому, что советские языковеды внесут свой вклад в развитие теории словообразования на современном его этапе.

РЕЦЕНЗИИ

«Социальная и функциональная дифференциация литературных языков». — М., «Наука», 1977. 343 стр.

В большинстве работ, посвященных социальной дифференциации языка, центральное место занимают проблемы социальной диалектологии. При этом литературный язык чаще всего предстает в них как единое гомогенное целое, которое не является специальным предметом анализа, а лишь служит в качестве эталона для выявления дифференциальных признаков социальных и территориальных диалектов. Поэтому следует всячески приветствовать выход в свет коллективной монографии, специально посвященной проблеме социального варьирования литературных языков и восполняющей существенный пробел в социолингвистической литературе.

В написании работы принял участие большой авторский коллектив. Несмотря на разнообразие языкового материала, охватывающего самые различные ареалы и самые различные социально-исторические условия, во всех работах можно проследить общность некоторых исходных установок. Эти установки изложены во «Введении». Здесь, в частности, указывается, что наблюдаемый в настоящее время интерес к проблемам языкового варьирования является в известной степени реакцией против рассмотрения языка как абстрактной, гомогенной и самодовлеющей системы и подчеркивается, что наряду с языковым варьированием, связанным с наличием основных форм существования языка (литературный язык, просторечие, диалект), существует еще одна разновидность варьирования в пределах определенной формы существования языка. Отвлекаясь от специфики конкретных языков, автор «Введения» выделяет следующие разновидности варьирования, потенциально возможные в системе литературного языка: социальные модификации, варьирование функционально-стилистическое, жанрово-стилистическое, пространственное и временное. Среди разных типов варьирования литературных языков центральную позицию занимает социальная и непосредственно связанная с ней функционально-

стилистическая дифференциация. Именно поэтому выбор авторов пал на эти формы варьирования литературных языков. Фиксируя внимание на сопряженности разных типов дифференциации литературного языка, авторский коллектив исходит из того, что хотя «сам набор типов не тождествен не только в разных литературных языках, но и в разные периоды истории одного и того же языка, а реализация любого типа варьирования в конкретном литературном языке в свою очередь может иметь неодинаковые проявления, совокупность разновидностей дифференциации, представленная данными отдельного литературного языка, выступает не как ряд изолированных закономерностей, но как индивидуальная система соотносенных друг с другом категорий» (стр. 10).

Общетеоретические проблемы соотношения социальной дифференциации и других типов варьирования литературного языка ставятся в статье М. М. Гухман. Здесь указывается, что социальные характеристики литературного языка включают два аспекта — «внешний» и «внутренний». К первому аспекту относятся социальный статус литературного языка среди других языковых образований, распределение коммуникативных сфер между литературным языком и остальными формами существования языка, социальная база литературного языка и др., а ко второму — весь комплекс вопросов, связанных с социальной дифференциацией, присущей самому литературному языку (например, социальная обусловленность полифункциональности литературного языка, охвата им тех или иных коммуникативных сфер и т. п.). На материале немецкого литературного языка XII—XVI вв. автор раскрывает сложную картину соотношения между социальными и территориальными варьированиями.

Актуальной проблеме функциональных особенностей «трансплантационных» литературных языков, т. е. литературных языков, утвердившихся за пределами их

исконного ареала, посвящены статьи В. Н. Ярцева и Г. В. Степанова. Рассматривая некоторые модификации стиля и нормы английского языка в Австралии, США, Шотландии и Ирландии, В. Н. Ярцева приходит к выводу о том, что синхронный план сопоставления имеет наибольший вес для социально-функциональной оценки грамматико-стилистических вариантов. При этом решающее значение придается социальным установкам говорящих в отношении тех или иных фактов речи. Эти установки определяются социальным узусом, влиянием письменной речи, ориентацией на определенные стили речи, модой или подражанием. Языковые процессы, связанные с влиянием аналогии, написания и др., по-разному проявляются в речи разных социальных групп. Чрезвычайно важным для методики сопоставительного анализа социально-территориального варьирования литературных языков является вывод о необходимости рассматривать языковые проявления этого варьирования не по отдельным элементам, а в целостной системе.

Анализируя социально-функциональную дифференциацию литературного языка Испании и Латинской Америки, Г. В. Степанов отмечает, что главной особенностью языковой эволюции и дифференциации в испаноязычных странах Америки было то, что здесь наблюдался процесс, обратный тому, который происходил в Испании. Если в Европе определяющим направлением было «от диалекта к синтопии», т. е. от диалектного многообразия к единой форме литературного языка, то в Латинской Америке доминировала обратная тенденция — «от синтопии к диалекту». На раннем этапе дифференциация затронула народно-разговорную речь, слабо регулируемую нормой, а позднее, при формировании наций, и литературный язык. По мнению автора, специфику социально-функциональных черт национальных вариантов испанского языка Испании, Аргентины, Кубы, Боливии, Перу и др. определяет выбор на уровне нормы: каждый «национальный лингвосоциум» может по-своему распределять вариации, допускаемые системой как в плане социальной стратификации, так и в функционально-стилистическом отношении.

В центре внимания ряда авторов находится проблема функционально-стилистической дифференциации языка. Их исследования убедительно свидетельствуют о том, что сама номенклатура функциональных стилей и их соотношение с теми или иными коммуникативными сферами не являются постоянными величинами, а варьируются от одного общества к другому, от одной культуры к другой и от одной эпохи к другой. Так, в древнеугорском литературном языке различались, по свидетельству Э. Р. Тенешева,

стиль религиозной (философско-дидактической) литературы, стиль художественной литературы (легенд [светского содержания] и других крупных повествований нерелигиозного характера), стиль научных произведений (памятников медицинского содержания, трактатов по астрономии), стиль деловых документов (юридических и хозяйственных) и стиль частной переписки. В определенных социально-исторических условиях тот или иной функциональный стиль может приобрести относительную самостоятельность, образуя промежуточное звено между системой литературного языка и системой территориальных диалектов. Такова, по-видимому, языковая ситуация в ареалах адгских языков, где, по данным Э. Ю. Кумаховой, устно-поэтическая речь образует особый функциональный стиль, не входящий в состав территориальных диалектов и обладающий собственным арсеналом языковых средств, отличающих его от других форм существования языка.

Как показывает исследование Н. Н. Семенов, одна и та же разновидность литературного языка может радикально изменять свои функционально-стилистические характеристики и, соответственно, свое место в системе функционального расслоения языка в разные исторические эпохи. Так, в XVIII в. немецкие газеты, выполнявшие лишь узкоинформационные функции, входили по своим языковым характеристикам в систему делового языка. Положение языка газет в системе функциональных стилей было принципиально иным, чем сейчас, когда газета представляет собой сложный полифункциональный вид письменности. Влияние социальных факторов на функционально-стилистическую дифференциацию национального литературного языка в период его становления четко прослеживается и в работе С. А. Миронова, посвященной социальной и функционально-стилистической дифференциации нидерландского литературного языка XVII в. В этой работе убедительно показана органическая связь между различными типами функциональной и жанрово-стилистической дифференциации нидерландского языка этого периода и определенными модификациями в системе формирования языка, обусловленными возникновением наряду с литературным языком и диалектами новой промежуточной формы — городского просторечия, выступавшего в двух вариантах: «низкого» просторечия, близкого к диалекту, и более nivelированного разговорного койне, ставшего основой для последующего формирования обиходно-разговорного нидерландского языка.

Особой сложностью характеризуется функциональная дифференциация литературного языка в условиях двуязычия, осложненного диглоссией типа «литера-

турный язык + диалект». Об этом, в частности, свидетельствует работа М. И. Исаева, посвященная функциональной дифференциации осетинского литературного языка. Особенности функциональной дифференциации младописьменных языков обусловлены, как полагает автор, их слабой нормированностью и недостаточной монолитностью, относительной бедностью функциональных стилей и значительной привязанностью к территориальным диалектам.

Функционально значимые оппозиции стилистически маркированных элементов литературного языка отражают в своих конкретных реализациях национальную специфику данного языка, его исторические источники, контакты с другими языками, взаимосвязи его исконных и заимствованных элементов. Так, по свидетельству А. С. Бархударова, основным признаком, лежащим в основе такого рода оппозиций, для литературного языка хинди является степень санскритизации его функциональных ответвлений, связанная с вводом в употребление заимствований из санскрита или новообразований на санскритской основе. Для армянского литературного языка на донациональном этапе его развития решающую роль, как отмечает Э. Г. Туманян, играла социально-функциональная оппозиция грабара и новармянского литературного языка.

В определенных социально-исторических условиях насыщение той или иной функциональной разновидности языка заимствованными элементами может приводить к ее социальному обособлению. Так, в эпоху феодализма сформировался «высокий стиль» литературно-письменного турецкого языка, изобилующий иноязычными (арабскими и персидскими) элементами и обслуживавший узкий социальный слой (султанский двор, феодальную верхушку, духовенство). Об этом и о последовавшей за буржуазной революцией реформой турецкого языка идет речь в статье А. Н. Баскакова. Сходные явления отмечает в своей работе А. А. Керимова на материале литературного таджикского языка, который в дооктябрьскую эпоху был перегружен арабизмами и архаизмами, резко обособившими его от живого разговорного языка. Развитие таджикского литературного языка после Октября характеризуется его демократизацией, сближением его с народно-разговорной речью и связанным с этим очищением его от непонятных арабизмов и архаичной лексики.

Принципиально новую роль играют заимствования в той языковой ситуации, когда литературный язык становится достоянием широких слоев населения и когда сами процессы заимствования являются отражением широких и плодотворных межъязыковых и межэтнических контактов. Так, по наблюдениям А. П. Феок-

тистова, русизмы имеют широкий доступ в самые различные стили мокшанского и эрзянского литературных языков, что объясняется, в частности, билингвизмом, широко распространенным среди носителей мордовской речи. Особый интерес представляет собой изучение структурных последствий такого рода процессов. Как отмечает А. А. Дарбеева, в литературном бурятском языке возникают новые фонемы, встречающиеся лишь в заимствованных единицах — русизмах и интернационализмах. Процесс их освоения охватывает два этапа (от замены их звуками заимствующего языка до уподобления звукам языка-источника).

Анализ конкретных языковых ситуаций свидетельствует о том, что такие формы существования языка, как литературный язык и диалект, далеко не всегда и далеко не во всех ареалах представлены «в чистом виде». Так, по мнению Г. С. Шура, голландский диалект английского языка сохранил больше характерных черт литературного языка, чем какой-либо другой английский диалект. Еще более сложны взаимоотношения и взаимосвязи между функциональными стилями, которые представляют собой отнюдь не замкнутые системы и элементы которых нередко сосуществуют в рамках реальных речевых произведений. Об этом наглядно свидетельствует интересная статья Т. Г. Винокур, посвященная анализу языковых и внеязыковых детерминантов стилистической неоднородности высказывания в современном русском языке и рассматривающая стилистическую неоднородность как регулярное свойство современного стилистического узауса.

Рецензируемая книга содержит интересный и весьма представительный материал, дающий представление о многообразии и взаимообусловленности различных форм дифференциации литературных языков, находящихся на разных этапах формирования и развития — от младописьменных до старописьменных. Вместе с тем ценность ее определяется тем, что при всем разнообразии представленного в ней материала и различной степени его изученности она дает возможность выявить ряд общих закономерностей и тенденций социально обусловленной вариативности литературных языков.

Оценивая эту работу, следует иметь в виду, что она представляет собой, по замыслу авторов, «лишь первое звено в серии работ, которые должны использовать более широкий языковой материал и содержать дальнейшую разработку тех проблем, которые наметились в этой работе» (стр. 11). Наряду с некоторыми проблемами, которые, по мнению авторов, нуждаются в дальнейшем изучении (функционально-стилистическое варьирование младописьменных литературных языков, соотношение между последними и

языком устной народной поэзии, некоторые аспекты социальной стратификации литературного языка), можно указать на такой важный аспект вариативности литературного языка, как ситуативную вариативность. Эта проблема затрагивается лишь частично в статье Т. Г. Винокур. Нуждается в известном уточнении само понятие функциональной дифференциации, противопоставляемой дифференциации социальной. Думается, что речь здесь идет скорее о двух видах социальной дифференциации. Это фактически признают и авторы книги, когда они рассматривают функционально-стилистическую дифференциацию литературного языка как одну из разновидностей его социального варьирования. Поэтому точнее было

бы, на наш взгляд, говорить о двух типах социальной дифференциации — стратификационном, связанном с социальной структурой общества, и функциональном, связанном с теми или иными социально-коммуникативными сферами использования языка.

Думается, что пользоваться книгой было бы легче, если бы содержащийся в ней материал был размещен под соответствующими тематическими рубриками и снабжен библиографическим и предметным указателем. В целом, следует отметить, что рецензируемая книга может быть оценена как важный этап на пути социолингвистического изучения литературных языков.

Швейцер А. Д.

«Satzstruktur und Genus verbi». Herausgegeben von R. Lötzsch und R. Růžička. — Berlin, Akademie-Verlag, 1976. 211 стр. («Studia Grammatica», XIII)

Большинство статей сборника «Структура предложения и залог» написано на основе докладов, прочитанных на проходившей в Берлине в 1972 г. одноименной конференции, которая была организована Центральным институтом языкознания АН ГДР и секцией теоретической и прикладной лингвистики Лейпцигского университета им. Карла Маркса. В сборнике принимают участие ученые ГДР, Советского Союза и Чехословакии. Основные темы сборника: 1) общая теория залога (опозиция «актив/пассив») и родственных грамматических категории; 2) сопоставительный анализ этих категорий в двух или нескольких языках; 3) описание залоговых конструкций в отдельных языках.

К работам общетеоретического плана полностью или в основном относятся статьи М. М. Гухман «Уровни анализа предложения и категория залога», А. В. Бондарко «Залог и его функционально-семантическое поле», В. С. Храковского «К определению пассивных конструкций», Р. Лёча, В. Фидлера и К. Костова «Категория залога в соотношении с некоторыми родственными морфологическими категориями», Р. Ружички, А. Штойбе и Г. Вальтер «Синтаксическая и семантическая рефлексивность (Теоретический и — на материале русского и немецкого языков — сопоставительный этюд)».

М. М. Гухман считает необходимым при определении залога четко и последовательно разграничивать три уровня предложения: 1) формально-синтаксический; 2) уровень коммуникативного членения; 3) семантико-синтаксический. Большой интерес представляет характеристика первого и третьего уровней. Применительно к модели предложения с переход-

ным глаголом на формально-синтаксическом уровне выделяются два аспекта — структурный статус единиц этого уровня (грамматический субъект, грамматический предикат, грамматический объект) и способы их выражения (падеж существительного, служебные слова, порядок слов и др.). Семантико-синтаксический уровень гораздо сложнее. Каждая из его основных единиц — смысловой субъект, смысловой предикат, смысловой объект — распадается на ряд более конкретных вариантов. Так, например, важнейшими вариантами смыслового субъекта являются агенс, инактивный носитель предиктируемого признака и пациенс. В качестве показателей того или иного конкретного варианта смыслового субъекта обычно выступают семантика предиктируемого признака, морфологическая форма глагола, синтаксическая конструкция. Семантико-синтаксический уровень отражает конкретные внеязыковые ситуации, однако отражение это не является фотографическим (агенсом, например, может быть не только живое существо, но и несуществующий предмет, ср.: *Мальчик шел медленно — Поезд шел медленно*).

Опозицию «актив/пассив» М. М. Гухман характеризует двумя типами межуровневых отношений: 1) отношением между единицами формально-синтаксического и семантико-синтаксического уровней (в активе позицию грамматического субъекта занимает агенс, в пассиве — пациенс; в активе грамматический предикат обозначает центробожную направленность процесса, в пассиве — центростремительную); 2) отношением между единицами формально-синтаксического и коммуникативного уровней (в активе грамматический субъект является темой,

в пассиве — ремой; в активе грамматический предикат является ремой, в пассиве — темой). Есть основания, однако, утверждать, что второй тип межуровневых отношений не играет значительной роли в залоговой оппозиции и что важное значение здесь имеет отношение между единицами коммуникативного и семантико-синтаксического уровней: в активе темой (или ее составной частью) обычно бывает агенс, в пассиве — пациенс, в активе ремой (или ее составной частью) обычно бывает пациенс, в пассиве — либо агенс, либо предикативный признак, который его имплицитует.

В статье А. В. Бондарко, которая опирается на материал русского языка, обсуждаются две проблемы: 1) залог как грамматическая категория, 2) функционально-семантическое поле залоговости. Категория залога, по мнению А. В. Бондарко, имеет и синтаксическую, и морфологическую стороны. Господствующее положение занимает синтаксическая сторона, поскольку двучленность залоговой оппозиции «актив/пассив» обусловлена противопоставлением именно синтаксических конструкций (используемые здесь морфологические средства образуют трехчленную систему: невозвратные глаголы — возвратные глаголы — пассивные причастия). Автор показывает место залога в системе морфологических категорий, анализирует его синтаксическую структуру.

А. В. Бондарко справедливо обращает внимание на то, что обычные определения залоговых конструкций не охватывают всей их совокупности, так как используемый в них термин «подлежащее» непригоден для активных и пассивных словосочетаний, как, например, *Отцу, написавшему статью... — В написанной им статье...* Поэтому автором предложен более широкий термин «носитель глагольного признака», который включает не только подлежащее, но и другие разновидности той функционально-структурной величины, от которой зависит глагольный признак (также билатеральная, функционально-структурная величина). Веские возражения выдвигает А. В. Бондарко против утверждения о том, что неопределенно-личные предложения являются равновидностью пассива. Важнейшие из этих возражений: 1) в неопределенно-личных предложениях в одной и той же словоформе представлены и глагольный признак, и его логический субъект (точнее — указание на его логический субъект¹); 2) при наличии пря-

мого дополнения неопределенно-личные предложения допускают пассивное преобразование, ср.: *Статью пишут — Статью пишется*.

Понятийной основой поля залоговости А. В. Бондарко считает отношение нятия действия к логическому субъекту и логическому объекту. Это поле состоит из трех функционально-семантических сфер: 1) активности/пассивности; 2) переходности/непереходности; 3) частных значений возвратности. Автор отмечает, что каждая из указанных сфер обладает достаточно четкой качественной спецификой, так что их можно рассматривать и в качестве самостоятельных полей. Мы отдаем предпочтение этому второму подходу, поскольку, с нашей точки зрения, различия между данными сферами более существенны, чем то, что их объединяет.

Основную задачу своей статьи В. С. Храковский видит в модификации предложенного им ранее определения пассивных конструкций. Согласно прежнему определению, в пассиве нарушается соответствие «агенса — подлежащее»: агенс здесь либо получает форму дополнения, либо вообще не упоминается. В основу модифицированного определения положено взаимоотношение между иерархией партиципантов, представляющих семантическую валентность глагола, и иерархией актантов, представляющих его синтаксическую валентность. В соответствии с лексикографической практикой агенс считается первым партиципантом, пациенс — вторым, адресат — третьим. Иерархия актантов зависит от их синтаксического веса: наибольшим синтаксическим весом обладает первый актант, синтаксический вес второго актанта меньше, чем первого, третьего — меньше, чем второго, и т. д. В активе иерархии партиципантов и актантов совпадают: позицию первого, второго и третьего актантов соответственно занимают первый, второй и третий партиципанты. Пассив характеризуется отсутствием такого совпадения: теперь первый партиципант либо помещается в позицию второго или третьего актанта, либо не получает словесного выражения.

В статье В. С. Храковского значительный интерес вызывают его заметки об относительном характере иерархии членов предложения по синтаксическому весу и о факторах, определяющих синтаксический вес актанта. Что же касается определения пассивных конструкций, то оно слишком широкое, так как охватывает не только такие конструкции, которые традиционно считаются пассивными, но и неопределенно-личные предложения типа *Дают стипендию*, которые традиционно и с достаточным основанием считаются активными конструкциями.

В коллективной работе Р. Лёча, В. Фидлера и К. Костова убедительно показано, что пассив, рефлексив/медий

¹ Мы разделяем точку зрения, согласно которой в неопределенно-личном предложении имеется нулевая форма подлежащего со значением агенса. Из участников рецензируемого сборника такого же мнения придерживается Э. Ш. Генюшене (стр. 142).

и каузатив являются маркированными членами хотя и родственных, но все же самостоятельных морфологических категорий, так что их нельзя объединять в рамках одной категории, категории залога, как это нередко делается. Авторами использовано понятие диатезы в двух смыслах: под диатезой в узком смысле имеется в виду диатеза в трактовке А. А. Холодовича, т. е. соотношение между элементами семантического уровня (партиципанты) и элементами синтаксического уровня (актанты). Понятие диатезы в широком смысле учитывает элементы еще одного уровня — уровня реальной действительности (денотаты).

К пассивным формам глагола авторы, вслед за В. С. Храковским, относят такие формы, которые сигнализируют об отсутствии соответствия между агенсом и подлежащим. Глагольные формы рефлексива/медия сигнализируют о тождестве денотатов двух партиципантов — либо агенса и пациенса (рефлексив), либо агенса и адресата (медия). Семантика каузативных форм глагола включает особый класс партиципантов — каузаторы, отображающие такие явления реальной действительности, которые служат толчком к действию. Очень богат и разнообразен материал статьи — языки славянские, немецкий, турецкий, албанский, литовский, латинский и греческий.

Р. Ружичка, А. Штойбе и Г. Вальтер посвятили свою статью вопросам разграничения двух типов рефлексивности — синтаксической и семантической. Синтаксическая рефлексивность рассматривается авторами как особый случай анафорических отношений между именными членами предложения с денотативным тождеством. Сущность семантической рефлексивности состоит в полном или частичном тождестве аргументов семантической структуры глагола. В статье много внимания уделено закономерностям синтаксической рефлексивизации в русском и немецком языках, вопросы же семантической рефлексивизации, к сожалению, только намечены. Теоретические размышления Р. Ружички и его коллег будут действовать более глубоко к пониманию специфики рефлексивных образований в грамматике и лексике.

В двух последних работах, особенно в первой из них, значительное место занимает сопоставительное описание языков. Специально этой теме посвящены статьи Ф. Данеша и Я. Повейшила.

В статье Ф. Данеша «Семантическая структура глагола и косвенный пассив в чешском и немецком языках» утверждается, что назначение косвенного пассива состоит в семантическом выделении роли реципиента (адресата). Однако этим, на наш взгляд, назначение косвенного пассива не исчерпывается. Его другая важная функция — выдвигать роль реципиента в позицию темы сообщения.

Ф. Данеш установил глубокое различие между исследуемыми языками по степени грамматизации косвенного пассива: в немецком языке косвенный пассив образуется почти от всех глаголов с дативным управлением, между тем в чешском этой способностью обладает лишь один семантический подкласс таких глаголов.

Я. Повейшил в статье «О рефлексивном пассиве в чешском и немецком языках» констатирует, что рефлексивные конструкции с пассивным значением в чешских текстах встречается очень часто, в немецком же — крайне редко. Автор раскрывает семантико-синтаксические особенности этих конструкций в каждом из сопоставляемых языков.

Обратимся к работам, в которых рассматриваются залоговые конструкции в отдельных языках. В статье Й. Ружички «Рефлексивные глаголы и рефлексивные формы глагола» защищается тезис о необходимости различать в словачском языке три типа рефлексивных образований: 1) рефлексивные глаголы — лексические единицы, в которых словечко *za* или *si* выступает в качестве словообразовательного элемента; 2) синтаксические сочетания — здесь *za* или *si* является возвратным местоимением в функции члена предложения; 3) рефлексивные формы глагола — члены парадигматической системы личных нерефлексивных глаголов (*sa* — грамматическая морфема). Можно вполне согласиться с утверждением автора о том, что только последний тип рефлексивных образований принадлежит к числу грамматических средств выражения залоговых отношений.

О словачском языке идет речь также в статье Я. Качалы «Залог, интенционная ценность глагола и интенционная структура предложения». Автор рассматривает залог в качестве составной части более обширной лексико-грамматической категории — интенционной ценности глагола, т. е. его способности сочетаться с наименованиями исходной и целевой субстанции. На основе интенционной ценности выделяются четыре типа глаголов: 1) глаголы с субъектом и объектом; 2) глаголы с субъектом, но без объекта; 3) глаголы с объектом, но без субъекта; 4) глаголы без субъекта и без объекта. По мнению Я. Качалы, категория залога в словачском языке свойственна только глаголам первого типа; здесь, следовательно, структура предложения зависит в основном не от залога, а от интенционной ценности глагола. Статья Я. Качалы носит конспективный характер (она занимает всего две страницы).

Статья Э. Ш. Генюшене «Пассив в литовском языке и его употребление» посвящена образованию пассивных конструкций и их функциям. Главными функциями пассива в литовском языке автор считает перераспределение семантических акцентов в высказывании (прежде всего

выделенче пациенса в ущерб агенсу) и выражение стального значения. Кроме того, пассив служит для выражения неопределенности или обобщенности агенса и в качестве средства стилистической экспрессии. Э. Ш. Генюшова отвергает мысль о том, что литовский пассив используется также в целях изменения актуального членения, однако приводимые ею же факты говорят об обратном: в пассивных конструкциях с агенсом и пациенсом именно пациент является, как правило, темой сообщения, тогда как в аналогичных активных конструкциях такая коммуникативная нагрузка пациенса представлена редко.

В статье Е. Е. Корди и Т. Бердыевой «Пассивные конструкции в современном таджикском языке» внимание авторов сосредоточено на способах образования пассива. Здесь сделан обзор грамматических форм пассива и их лексических эквивалентов, подробно рассказано о различных механизмах пассивных трансформаций, указаны мотивы употребления разнообразных форм агентивного дополнения.

Статья И. Б. Долиной «Пассивные преобразования в английском языке (глаголы с двумя актантами)» выделяется скрупулезной обработкой материала. Автором предложена многоступенчатая классификация активных конструкций в зависимости от их способности к образованию того или иного варианта пассивной

конструкции. В этой классификации учитываются форма выражения актанта, их местоположение, синтаксическая функция и целый ряд других признаков.

Сборник завершается содержательной статьей В. П. Недялкова «Диатезы и структура предложения в чукотском языке». Автор использует разработанное А. А. Холодовичем понятие диатезы для описания важнейших валентных оппозиций чукотского глагола. В статье проанализировано 80 конструкций в двух планах — семантическом и синтаксическом. Все они разбиты на исходные и производные; последние образуются из первых по определенным правилам (некоторые производные конструкции выступают также в роли исходных). В. П. Недялков систематически отмечает особенности конструкций в отношении их формы, семантики, употребления.

В общем, не может быть сомнения в том, что сборник будет встречен с удовлетворением широким кругом ученых и преподавателей различных языковых специальностей. В сборнике обстоятельно рассмотрены многие важные вопросы теории залогов и родственных категорий. Здесь читатель найдет немало убедительных решений и плодотворных идей. Огромный и хорошо обработанный материал будет с успехом использован в преподавательской практике.

Шубик С. А

Жуковская Л. П. Текстология и язык древнейших славянских памятников. — М., «Наука», 1976. 368 стр.

Л. П. Жуковская давно зарекомендовала себя в нашей стране и за рубежом как серьезный и авторитетный палеославист, имеющий собственный метод анализа и регулярно вводящий в научный оборот новый, обширный и систематизированный фактический материал. Именно поэтому каждая публикация исследовательницы вызывает живой интерес у ее коллег и сопровождается чувством благодарности за проделанный труд. Однако рецензируемая книга привлекает к себе повышенное внимание и заслуживает особого рассмотрения еще и потому, что она, несомненно, занимает центральное место в творчестве автора и, на наш взгляд, является значительным событием в лингвистике, текстологии и археографии.

Книга имеет итоговый характер — в ней, как об этом упоминает и сам автор (стр. 129), суммирован тридцатилетний опыт работы в древлехранилищах нашей страны, а также Болгарии и Югославии. Книга отличается самым широким охватом материала, — привлечено около 600 рукописей (славянских X—XV вв. и

греческих VIII—XII вв.). Насколько мы знаем, ни один славист до сих пор не оперировал таким числом самостоятельно добытых фактов. Наконец, данное исследование содержит систематическое описание предложенного Л. П. Жуковской лингвотекстологического метода разысканий в области «памятников традиционного содержания» (хотя общее представление о названной исследовательской процедуре специалисты могли иметь из предшествующих статей автора).

Лингвотекстологический метод покоится на двух текстологических понятиях, выдвинутых автором монографии. Первое из них мы только что упомянули — «памятник традиционного содержания». Для его выработки необходимо различать *п а м я т н и к* письменности (т. е. литературное произведение, литературный или деловой и бытовой текст) и *с п и с о к* этого памятника (т. е. вариант, языковой и графический вариант текста), что и делает Л. П. Жуковская, указывая при этом, что если в списках «по содержанию» текст в основном остается неизменным,

то следует говорить о памятнике традиционного содержания (стр. 11). К таким именно «традиционным» памятникам и относится Евангелие, а анализ списков Евангелия и является непосредственным предметом рецензируемого исследования. Евангелие отличается устойчивостью содержания и вместе с другими библейскими и богослужебными книгами с этой точки зрения противопоставляется, например, Изборникам и Цветникам. Второе новое текстологическое понятие, понятие типа памятника, Л. П. Жуковская применяет исключительно к памятникам традиционного содержания. «Под типологическим изучением, — говорит она, — понимаем такую часть текстологического исследования, которая охватывает лишь элементы структуры изучаемых списков одного и того же по происхождению памятника» (стр. 19). Термин «тип памятника» отграничивается от таких привычных текстологических категорий, как вывод, редакция, вид, класс, семейство, группа¹, хотя он, будучи инструментом классификации, — явление одного порядка с ними.

Применительно к славянскому Евангелию Л. П. Жуковская выделяет пять типов этого памятника: четыре из них были известны и раньше (апракос краткий, апракос полный, тетр, толковое Евангелие), а пятый тип — сверхкраткий (явчяе праздничный, воскресный) апракос — выявлен в результате исследований автора².

Праздничный апракос (это наименование все же предпочтительнее, так как этот тип книги обычно содержит чтения не только на воскресенья, но и на субботы, а на страстной и светлой седмицах даже на каждый день) способен, вероятно, пролить свет на этапы переводческой деятельности первоучителей славян Кирилла и Мефодия, что очень важно для истории древнеславянского языка³. Уче-

ные, учитывая обычную практику византийских миссий и прямые свидетельства житийных источников, не сомневаются, что первой переведенной книгой было какое-то краткое Евангелие, но в отношении степени этой «краткости» нет единодушия. Большинство палеославистов думает, что первой книгой был краткий апракос (подобный Ассеманьеву), который затем дополнялся — сначала до тетры, а потом до полного апракоса (Горалек, Врба, Мошинский, Неделкович и многие другие⁴). М. Решетар, однако, основываясь на указании месящеслова Охридского апостола, предположил, что солунские миссионеры сначала перевели всего лишь одиннадцать чтений, положенных на воскресные утреди, — эти так называемые *вскрсьбьнама* (*воскрѣсна аѡагѣдѣна*), т. е. чтения о воскресении (потому что все они имеют содержанием воскресение Христа), или так называемые *заутрѣнама*, т. е. чтения на заутрених (потому что они читаются на утрених, начиная с Фомини недели до Великого поста), имеют циклический характер (после одиннадцатого чтения идет снова первое и т. д.), так что они действительно относительно самостоятельны и именно как целое прилагаются к кратким апракосам (так, они вошли в Ассеманьево и Остромирово евангелия)⁵. Открытый Л. П. Жуковской тип книги («сверхкраткий апракос») удачно устранивает слишком разительный количественный разрыв между «суперкратким» циклом Решетара и довольно пространным кратким апракосом, а ее предположение о том, что Кирилл и Мефодий сначала перевели среднюю по объему книгу (т. е. праздничный апракос), кажется очень заманчивым, и, пользуясь ее словами, это должно глубоко заинтересовать «лиц, изучающих кирилло-мефодиевскую проблематику» (стр. 253). Правда, если в ранних статьях по данному вопросу исследовательница

памятников славянской письменности, «Советское славяноведение», 1966, 1; Н. А. Мещерский, Древнеславянский — общий литературно-письменный язык на раннем этапе культурно-исторического развития всех славянских народов, «Вестник ЛГУ», История, язык, литература, 1975, 8.

⁴ Взгляды указанных и других ученых на последовательность первоначальных евангельских переводов сопоставлены в кн.: Е. М. Вережанин, Из истории возникновения первого литературного языка славян. Переводческая техника Кирилла и Мефодия, М., 1971, стр. 14 и сл.; а также, Из истории возникновения первого литературного языка славян. Варьирование средств выражения в переводческой технике Кирилла и Мефодия, М., 1972, стр. 20 и сл.

⁵ M. Rešetar, Zur Übersetzungstätigkeit Methods, AfsPh, 1912, 34, 1—2, стр. 238 и сл.

¹ Анализ этих категорий см.: Д. С. Лихачев, Текстология. На материале русской литературы X—XVII вв., М.—Л., 1962.

² Заслуживает внимания разработанная Л. П. Жуковской система сокращенных обозначений типов Евангелия: одной буквой предлагается обозначать праздничный апракос, двумя — краткий, тремя — полный, четырьмя — тетр и пятью — толковое Евангелие. Благодаря такой остроумной записи сразу ясно, с каким типом книги имеешь дело.

³ Аргументацию в поддержку наименования первого литературного языка славян именно древнеславянским см.: Н. И. Толстой, К вопросу о древнеславянском языке как общем литературном языке южных и восточных славян, ВЯ, 1961, 1; М. М. Копыленко, Как следует называть язык древнейших

уверенно считала первой книгой, переведенной с греческого, именно праздничный апракос⁶, то в итоговой монографии она приходит к более осторожным выводам и даже предупреждает: «Можно думать, что он (праздничный апракос. — В. Е., Т. Н.) восходит к первым годам славянской письменности, но можно думать и то, что сохранившиеся списки являются выборками из более полных и отражают средневековую практику каких-то бедных церквей, в которых богослужение проводилось редко» (стр. 241—242); Рассмотренный тип воскресного апракоса... побуждает сделать соблазнительный вывод о том, что именно таким кратким и простым по составу чтений должен был быть первый перевод Константина. Но такое заключение нам пока представляется преждевременным» (стр. 251—252). Далее исследовательница приводит и аргументы, подтверждающие суждение о том, что первой переведенной книгой был все-таки не праздничный, а краткий апракос. Как бы то ни было, открытие Л. П. Жуковской нового, неизвестного типа Евангелия навсегда сохранит свое значение и еще сыграет свою роль в палеославистике, в частности, в дальнейшем изучении кирилло-мефодиевской проблематики.

Основное внимание Л. П. Жуковская уделяет спискам полного апракоса — потому что с ними «ближе связаны вопросы формирования древнерусского литературного языка» (стр. 253). Здесь ею выделены два основных подтипа данного типа Евангелия: мисрославский (отражающий южнославянскую редакцию) и мстиславский, который характерен для древнерусской редакции. Мстиславский подтип делится далее на два класса: мититинский и собственно мстиславский. Наконец, мстиславский класс содержит в себе еще три вида рукописей с двумя подтипами и внутри третьего вида. Может быть, не совсем удачно сохранение одного и того же наименования («мстиславский») как для подтипа полного апракоса, так и для целого класса, — возникает известная путаница, — но сейчас нам важно выделить главное: благодаря различению пяти ти-

пов Евангелия и выделению еще подтипов, классов, видов и подвидов в пределах полного апракоса Л. П. Жуковская построила классификационную матрицу, применение которой сразу позволяет идентифицировать любую конкретную рукопись славянского Евангелия (конечно, при условии, что список достаточно пространен) с текстологически родственными ей рукописями. Д. С. Лихачев назвал эту матрицу «периодической системой элементов»⁷, которая систематизирует знание, наличествующее к настоящему времени, и может заполняться в будущем. Лучше, пожалуй, не сважать.

Мы подходим теперь к вопросу о связи текстологии с лингвистикой, который составляет пафос рассматриваемой работы и объясняет, почему разработанный Л. П. Жуковской метод анализа — лингвотекстологический — обозначен именно двусоставным термином. По вполне оправданному предположению Л. П. Жуковской, каждый тип Евангелия на славянской почве имеет собственную историю сложения и бытования и поэтому характеризуется собственными языковыми (в частности, лексическими) особенностями, так что если некоторую рукопись удастся идентифицировать, включить в «периодическую систему элементов», то заранее, еще до детального знакомства с ее языком, можно судить о вероятном месте, а иногда и времени происхождения списка и об ожидаемых языковых особенностях его текста. Так текстология смыкается с лингвистикой и тем самым лингвистическое источниковедение может опереться на прочный текстологический фундамент. В книге и в других печатных работах Л. П. Жуковская продемонстрировала действительность своего лингвотекстологического метода. Так, она разъяснила историю сложения Архангельского евангелия 1092 г. и адекватно объяснила благодаря текстологии чисто языковые приметы рукописи. Эта рукопись представляет собой краткий апракос, поэтому ее следует отнести к так называемой старославянской редакции, однако исследователи книги многократно обращали внимание на то, что для второго почерка типично преобладание русских особенностей и даже живой разговорной струи. М. А. Соколова, в свое время тщательно обследовавшая источник, указывает, что если первый писец «употребляет исключительно местоимение «терь», второй с первого до последнего листа — местоимение «къмы». Первый пользуется словом «соукамина(ѣ), второй — «смоковина». ... Первый довольно часто употребляет аорист асимметрического типа, второй его

⁶ Л. П. Жуковская, Об объеме первой славянской книги, переведенной с греческого Кириллом и Мефодием, ВСЯ, 7, М., 1963, стр. 78; е е же, Памятники письменности традиционного содержания как лингвистический источник (их значение и методика исследования), сб. «Исследования по лингвистическому источниковедению», М., 1963, стр. 29; е е же, Лингвистические данные в текстологических исследованиях, сб. «Изучение русского языка и источниковедение», М., 1969, стр. 4; е е же, Памятники русской и славянской письменности XI—XIV вв. в книгохранилищах СССР, «Советское славяноведение», 1969, 1, стр. 60.

⁷ В выступлении на защите Л. П. Жуковской докторской диссертации — в феврале 1970 г. в ЛГУ.

не употребляет совсем»⁸; в качестве примеров разговорного стиля М. А. Соколова указывает *почто* (вм. *чего ради*), *видать* (вм. *оувзрять*), *роука цѣла* (вм. *сѣдрава*), *облажотъ* (вм. *областатъ*) и др.⁹ Л. П. Жуковская текстологически доказала, что часть рукописи Архангельского евангелия 1092 г., написанная вторым писцом (лл. 77—177), копировалась не с краткого апракоса, а с полного (с протографа мстиславовского подтипа)¹⁰. Поскольку полный апракос мстиславовского подтипа манифестирует древнерусскую редакцию славянского евангельского текста, русизмам во втором почерке не следует удивляться. Если М. А. Соколова полагала, что второй писец отразил в рукописи особенности своей индивидуальной речи, то Л. П. Жуковская доказала, что, имея перед собой другой источник, второй писец копировал языковые черты, свойственные полным апракосам, — первый писец отражал старославянскую, а второй — древнерусскую редакцию. Примечательно, что М. А. Соколова, выступившая на докторском диспуте Л. П. Жуковской в качестве официального оппонента, согласилась с выводами соискательницы и приняла новую интерпретацию.

Итак, после размышлений Л. П. Жуковской каждый палеославист, анализирующий евангельские тексты, должен считаться с ее подходом. Вывод исследовательницы о «невозможности... и о полной ненаучности вообще привлечения из них материалов для решения языковых вопросов вне текстологической соотнесенности используемых рукописных данных» (стр. 129) излишне категоричен¹¹, но в общем справедлив. Л. П. Жуковская опровергла бытовавшее в определенной лингвистической среде мнение о единообразии славянского Евангелия в текстологическом и лексическом отношениях, предложив в то же время действенный метод анализа —

⁸ М. А. Соколова, К истории русского языка в XI веке, ИОРЯС, III, 1, 1930, стр. 80.

⁹ Там же, стр. 131.

¹⁰ Л. П. Жуковская, Новые данные об оригиналах русской рукописи 1092 г., сб. «Источниковедение и история русского языка», М., 1964.

¹¹ На наш взгляд, исследование языка отдельных рукописей, независимо от их текстологических связей с другими рукописями, возможно и в каком-то отношении целесообразно. Такой «изолированный» подход к рукописи не отрицает и ни в коем случае не заменяет более трудоемкого подхода — лингвотекстологического, но может ему предшествовать. См. ранние работы Л. П. Жуковской по особенностям Галичского 1357 г., Остромирова и Мстиславова евангелий, выполненные как описание языковых особенностей отдельно взятого памятника.

«снятие языковых пластов путем предвзятельного лингвотекстологического исследования всех сохранившихся списков XI — начала XV вв.» (стр. 354). Л. П. Жуковская вводит и новый прием, который позволяет ей наглядно представить множество языковых фактов в их совокупности и в то же время с точной фиксацией реализации каждого языкового явления в той или иной рукописи. Например, на схеме № 4 (стр. 75—83) «Общее и различное в синтонических текстах...» приведено более 8500 языковых фактов по 97 рукописям. Применен прием обозначения слова или словосочетания принятыми в точных науках условными знаками. Этот прием позволял автору компактно и наглядно изобразить сходное и различное по всем 43 рядам противопоставлений, позволял, не теряя индивидуального, сравнительно легко увидеть общность соответствующих рукописей. В аналогично построенной схеме № 3 (стр. 52—55) «Текст Мт. VI 24 по 150 рукописям X—XV вв.» в 150 строках книги представлено 3750 языковых фактов, относящихся к реализации в списках Евангелия 25 фрагментов текста (большей частью это — отдельные слова). Словесный материал рукописей, воспроизведенный здесь же только для 20 фрагментов текста, занял 18 страниц книги, и хотя он, будучи выраженным в привычной словесной форме, понятнее лингвисту, исследователь, с другой стороны, не имеет возможности быстро выявления общего и различного в рукописях. К этой новой методике автор подводит читателя постепенно на примере материала и схем 1 и 2, что облегчает ее понимание.

Таковы в общих чертах концепция, методология и суть¹² объемистой и изобилующей богатых и новым материалом книги Л. П. Жуковской. Логичность и последовательность доводов заставляют читателя в большинстве случаев соглашаться с автором. Спорных или малоаргументированных положений или примеров очень мало. Остановимся на некоторых из них.

К сожалению, в книге лексические варианты, — а им посвящены целые разделы в первой и второй главах, — как правило, не снабжаются греческими эквивалентами. Несмотря на замечание автора о том, что «нет никаких оснований то или иное расхождение в передаче текста славянских рукописей непременно связывать с греческими источниками» (стр. 87), предпринятый ею анализ греческого текста (он занимает лишь две страницы — 86

¹² Содержание книги не исчерпывается изложенным нами. В ней имеются разделы и даже главы (например, глава II о повторяющихся текстах Мстислава евангелия), посвященные разбору конкретных рукописей, — эти материалы обычно иллюстрируют общие положения.

и 87) никак не может стать серьезной базой для принципиального отказа от греческих параллелей. Такие параллели важны для анализа лексических вариантов, потому что повторяющиеся чтения в апраксах и синолитические чтения в тетрах ясно показывают, что славянские слова варьировались не относительно друг друга (как во время бытования текста), а относительно греческого исходного слова, — не одно славянское слово заменяло другое, а одно и то же греческое слово с самого начала переводилось в двух актах перевода по-разному¹³. Кстати, своим отказом от греческих соответствий Л. П. Жуковская включилась в возникшую в нашей среде традицию игнорирования греческого исходного текста¹⁴, которую не следовало бы поддерживать.

На стр. 127 Л. П. Жуковская с полным, на наш взгляд, основанием приводит выписку из значительного исследования А. В. Михайлова: «Возможно большее число примеров из рукописного материала ... для науки гораздо важнее самих выводов автора, которые на основании того же материала, но при ином освещении, иной оценке, серьезная критика может изменить к лучшему». Итак, список с указанием источников ценнее выводов, сделанных из него. Тем более, что некоторые выводы спорны, а судить о них по единичным примерам трудно. Так, например, не совсем ясно, по какому принципу или на каком основании делается вывод такого рода: «Можно предположить такую принадлежность некоторых слов: *лицальникъ*, вероятно, — восточнославянским, если не восточноболгарское слово; *свиръць*, скорее, — западноболгарское; *съльць* — первичное» (стр. 92). А между тем известно, что в сербском *пѣштати* «свистеть; играть на дудочке, свистульке; пѣщать, вязжать», *пѣштаница*, *пѣшталька* «дудка, свистулька, свисток», *пѣштале* «игра на дудке, свистульке; свист, визг, писк», *свирац* «вольтыжник», *свирати* «играть на музыкальном инструменте; гудеть, свистеть», *свирач* «музыкант», *свирка* «музыка, игра» и т. п. Едва ли можно считать «безусловным болгаризмом» (стр. 98) написание *пѣть* вместо *пѣть*. Скорее это описка писца. Этот пример с условиями среднеболгарской мены

юсов не имеет ничего общего. Полагаем также, что *съсѣдъ* и *соусѣдъ* — это не «лексические варианты, возникшие из слов, различающихся отдельными фонемами» типа *братъ/братръ*, а слова, имеющие этимологически разные приставки **sъ* и **sp* (затем на русской почве *o > u*) (стр. 104).

Укажем еще и на нежелательность переноса современной семантики в язык предшествующих эпох даже при полном совпадении соответствующих лексем. Так, не стоит говорить о древнем различении значений слов *вомя* — *ароматы* (стр. 105): в Старославянском словаре Чехословацкой академии наук значение «дурной запах» для *вомя* не отмечается, а в Словаре русского языка XI—XVII вв. первая фиксация такого значения дается только под 1609 г. (а для раннего времени указано значение «приятный запах» или просто «запах»). Тем более того не следовало делать применительно к паре *животъ* — *жизнь* («в одних диалектах оно обозначало определенную часть тела, в других слово *животъ* выражало только понятие „жизнь“», стр. 106).

Наконец, последнее наше замечание представляет собой, по сути дела, сомнение. Подводя итоги, Л. П. Жуковская делает весьма ответственное заявление о том, что «древнерусские деятели культуры решались даже на самостоятельное перераспределение текстов богослужебных книг» (стр. 353). Материал, способный подтвердить эту мысль, приводится, в частности, на стр. 215—217. Здесь говорится о перекомпоновке составного евангельского чтения, положенного на вечерне Великого ятѣка (кстати, Л. П. Жуковская ошибочно посчитала его литургийным чтением¹⁵). Как в греческих¹⁶, так и в славянских апраксах (например, в Архангельском) наблюдается такой состав: 1) Мф 27, 1—38; 2) Лк 23, 39—43; 3) Мф 27, 39—54; 4) Ин 19, 31—37; 5) Мф 27, 55—61. В группе иных славянских списков компоновка составного текста немного другая: третий компонент разделен на два (Мф 27, 39—43 и остаток) и первая половина компонента присоединена к первому. Какова история возникновения этой последней компоновки, нужно специально исследовать; первая же ком-

¹³ См. об этом подробнее: Е. М. В е р е щ а г и н, Из истории возникновения первого литературного языка славян. К проблеме греческо-славянских лексических и грамматических вариантов в древнейших славянских переводах (Доклад на VII Международном съезде славистов), М., 1972.

¹⁴ Отмечаем с удовольствием, что в своей недавно вышедшей книге «Лексика старославянского языка» (М., 1977) Р. М. Цейтлин вернулась к старому праву подачи греческих соответствий.

¹⁵ В Уставе Саввы Освященного содержится прямое запрещение править литургию в Великий ятѣк (разве что он придется на Благовещение): *яко приятожь еъ палестинѣ въ сей стѣ|и день великаго ятѣка не творити преждешекиню, ниже пакы совершению литургию*. Н. А. Мещерский, в устном выступлении на защите, обратил внимание автора на эту неточность, однако она сохранилась в книге (см. еще разбор состава чтений рукописи из собр. Хлудова № 117 на стр. 245).

¹⁶ Ср., например: *θεῖοι καὶ ἱερὸν Εὐγγέλιον*. *Ἐ* Βενετία, 1879, σελ. 173—175.

позиция является вполне обычной, она сохраняется с XI в., между прочим, и в современной практике. Однако Л. П. Жуковская (без специальной аргументации) модифицированную (во всяком случае, необычную) композицию посчитала основной, исходной. Ей показалось, что последний состав несколько «нелогичен» (перебивается повествование о сораспаятых разбойниках), и она решила поставить себя на место славянского книжника: «Естественно, что у славянских книжников, переписывавших эти композиционно разрозненные в кратком апракосе отрывки, возникло желание их перекомпоновать и соединить все, относящееся к сюжету о разбойниках. Отсюда возникла передвинка стихов Л. XXIII, 39—43 вперед и присоединение их непосредственно к тексту Мт. XXVII, 38» (стр. 217). Поскольку текст с «логичной» последовательностью компонентов представлен в греческих апракосах, — а о влиянии славянских богослужебных книг на греческие в XI—XIV вв. нельзя думать, — может быть, и допустимо говорить о возникшей на славянской земле «ошибке» в необычной композиции, но о славянском совершенствовании текста, точно соответствующего греческому, конечно, говорить не приходится. Л. П. Жуковская, впрочем, предполагает, что «редакционная работа... была проведена еще на византийской поч-

ве» (стр. 217). Если бы она обратилась к греческим апракосам, то история обеих композиций представилась бы ей совсем иначе, и во всяком случае обычную, основную, фактически греческую композицию она не отнесла бы к числу достижений «древнерусских деятелей культуры». Дополнительный вывод из сказанного таков: текстология и типология славянского Евангелия без текстологии и типологии того же греческого памятника традиционного содержания — невозможны.

Остается пожалеть, что в монографии нет словоуказателя.

Сделанные замечания носят частный характер. А перечень положительных сторон книги Л. П. Жуковской, основанной на многолетних, терпеливых и последовательных наблюдениях, можно было бы значительно увеличить. Итоговая монография Л. П. Жуковской представляет собой серьезный труд, способный открыть своим выходом в свет новый этап в изучении славянского письменного наследия древней поры, а тем самым дать многое и для таких дисциплин, как история русского языка, история русского литературного языка, история русской культуры и история древнеславянского (церковнославянского) языка.

Верещагин Е. М., Толстой Н. И.

К. В. Ломтатидзе. Историко-сравнительный анализ абхазского и абазинского языков. Фонологическая система и фонологические процессы. — Тбилиси, «Мецниереба», 1976, 344 стр.

Прежде чем перейти к рассмотрению рецензируемого труда, следует сказать несколько слов об основных строевых чертах абхазско-адыгских (западнокавказских) языков. Абхазско-адыгские языки характеризуются своеобразием единиц разных языковых уровней и сложностью их соотношений. Субъектно-объектное полиперсонное (многоличное) спряжение, структура глагола, включающего морфологические показатели каузатива, союзности, совместности, возвратности, возможности действия, версииные аффиксы, многочисленные локальные и направительные превербы и многие другие аффиксальные морфемы создают чрезвычайно большую глубину словоформы, нередкоходящую до 15 и более значимых единиц (морфем). Наличие классно-личного (в абхазском и абазинском) и личного спряжения (в адыгейском, кабардино-черкесском и убыхском), совмещающего (типологически) разные принципы строения парадигматических рядов глагола, сочетаются с тем, что глагол изменяется одновременно по лицам субъекта и объекта, причём в его состав может входить несколько

классно-личных или личных аффиксов, синтаксически связанных с разными членами предложения — подлежащим, сказуемым и дополнением. Структура глагола, стоящего в центре морфологии, осложняется также морфологической дифференциацией динамических и статических, финитных и инфинитных форм. Что касается фонологических систем абхазско-адыгских языков, то их главная специфика состоит не только в резком противопоставлении чрезвычайно многообразного (многочленного) консонантизма довольно малочисленному по своему составу вокализму, но — что более важно — в особенностях их соотношения, в характере иерархии единиц каждой подсистемы. Достаточно сказать, что число согласных в некоторых диалектах и языках (например, в убыхском) доходит до 80 самостоятельных фонем, а отдельные консонантные ряды (например, в западных диалектах адыгейского языка) обладают четырёхчленными оппозициями типа «звонкий — придыхательный — абруптивный — преруптивный». С системой вокализма, с его составом, поведением гласных связано

строение основы и морфемы, их грамматические и морфологические функции. Все это делает материал абхазско-адыгских языков весьма ценным для разработки общетюркических проблем языковедения. Не случаен интерес специалистов к абхазско-адыгским языкам в связи с типологическим обоснованием решения некоторых кардинальных вопросов реконструкции праязыковых состояний, в том числе индоевропейского¹.

В рецензируемой монографии освещаются фонологические системы и фонетические процессы абхазского и абазинского языков. Данная монография является не только обобщением результатов прежних многолетних изысканий автора, но по сути дела новым исследованием, в котором научные поиски велись в двух направлениях: автор, с одной стороны, анализирует фонологическую систему, фонетические процессы абхазского и абазинского языков в их синхронном состоянии, с другой — прослеживает историю фонологической системы, реконструирует структуру корня, основы и некоторых формантов.

В первой главе — «Взаимоотношение абхазского и абазинского языков и их диалектный состав» — К. В. Ломтатидзе подчеркивает особую близость абхазского и абазинского языков, наблюдаемую в грамматическом строе. Абхазский язык представлен абжуйским и бамбским диалектами, абазинский язык — ашхарским и тапантским, причем ашхарский диалект по своим особенностям ближе стоит к абхазским диалектам.

Во второй главе дается краткая история возникновения и развития абхазского и абазинского литературных языков.

В специальной литературе (как отечественной, так и зарубежной) спорным является вопрос о составе вокализма в абхазско-адыгских языках. Особенно это касается так называемого иррационального гласного *э*, фонемность которого многими исследователями берется под сомнение. Вопросу о составе вокализма посвящена третья глава монографии. Появление гласного *э* в названных языках К. В. Ломтатидзе объясняет действием литеисивного нефиксированного ударения. Как отмечается в монографии, с одной стороны, *э* восходит к *а* в позициях интерконсонантной и в конце слова (*а* в начале слова не переходит в *э*), с другой стороны, *э* (обычно безударный) появляется как слогаобразующий элемент при стечении согласных в одном слове после двух согласных на грани третьего. Стечение же согласных, по мнению К. В. Ломтатидзе, произошло под действием итгенсивного ударения: в корневых и аффиксальных морфемах, имевших в исходе

структуру *CV*, при словообразовании и формообразовании согласные, объединившись, теряли безударную огласовку. К. В. Ломтатидзе доказывает наличие *э* как фонемы в современной фонологической системе абхазского и абазинского языков, исторически же — фонема *э*, по мнению автора, производна и имеет позиционное происхождение.

Гласные *е*, *о*, *и* — вторичные и являются результатом комбинаторных фонетических процессов. В основу их образования легли звуки: для *е*, *е* — *а* в соседстве с полугласным *ј*, *w*: *ajllja* → *e*, *awllwa* → *о*; для *и*, *и* — дифтонги *ajllja*, *wallaw*. Их фонематическая функция ограничена. Автор полагает, что исторически исследуемые языки характеризовались моновокалической системой, причем любая морфема имела строение *C + а*, где вокалический элемент *а* не имел фонематической функции и был лишен самостоятельной реализации. Звук *а* как фонема, по предположению К. В. Ломтатидзе, возник под действием процесса редукции, а иногда и метатезы, из дифтонга *ja/la*, обладавшего определенной морфологической функцией.

Как отмечает К. В. Ломтатидзе, система консонантизма абхазского и абазинского языков в своей основе такая же, как и во многих иберийско-кавказских языках, а именно: одинарный характер сонантов, парность спирантов и троечность смычных. Однако основная система консонантизма значительно осложнилась новообразованиями. В этой связи следует заметить, что осложнение исходной системы согласных фонем является общей тенденцией развития абхазско-адыгских языков. Так, последние наблюдения дают основания предположить, что в адыгских языках преруптивы (полуабруптивы) *pp*, *tt*, *cc*, *сс^о*, *дд*, *кк^о* и др., составляющие четвертый член смычных в западных диалектах (бжедугском и шапсугском), относятся, по-видимому, к поздним диалектным инновациям, т. е. являются вторичными согласными, возникшими на адыгской почве.

В абхазском и абазинском языках под действием различных фонетических процессов появились лабиализованные, палатализованные, веларизованные фонемы, делабиллизованные варианты лабиализованных фонем и т. д., причем в фонологической системе диалектов наблюдаются существенные расхождения. Так, лабиализованные дентальные *д^л*, *т^л* существуют лишь в абхазских диалектах, в ашхарском им соответствуют делабиллизованные варианты *д*, *т*, *ф*, в тапантском — свистящие и шипящие лабиализованные (*д^лll^л*, *с^лll^л*, *т^лll^л*) и делабиллизованные аффрикаты (*д^ло*, *т^ло*, *ф^ло*). Из этих диалектных вариантов, по предположению К. В. Ломтатидзе, наиболее древними являются лабиализованные дентальные *д^л*, *т^л*, *ф^л*,

¹ См. подробнее об этом: М. А. Куриков, Теория моновокализма и западнокавказские языки, ВЯ, 1973, 6.

которые также в свою очередь были получены из комплекса «дентальной + губно-губной». Наличие сибиллянтов свистяще-шипящего ряда z', s', z', c', c' в бзыбском диалекте, лабиализованных шипящих спирантов z^o, s^o во всех диалектах, свистяще-шипящих лабиализованных спирантов z^o, s^o в бзыбском диалекте, лабиализованных свистящих аффрикат z^o, c^o, z^o во всех диалектах, шипящих лабиализованных аффрикат z^o, c^o, z^o в тапантамском диалекте, делабиализованных рефлексов свистящих и геминированных шипящих аффрикат $z, c, c // z^o, s^o, z^o$ в тапантамском диалекте, а также учет фонетики заимствованной лексики позволяет восстановить стройную картину эволюции указанных фонем. Из перечисленных рядов наиболее древним автор считает ряд свистяще-шипящих фонем (z', s', z', c', c'), который встречался во всех абхазско-абазинских диалектах. Этот ряд в комплексе с лабиализованной фонемой дает лабиализованный свистяще-шипящий ряд, последний затем изменяется в шипящий и свистящий варианты z^o, s^o, z^o, c^o, z^o и z^o, c^o, z^o . Шипящие лабиализованные аффрикаты оказались менее устойчивыми фонемами, они нередко встречаются в делабиализованном виде. Фарингальный ряд во всех абхазско-абазинских диалектах представлен абруптивом q , придыхательный q имеется лишь в абазинских диалектах, звонкого фарингального вообще нет в исследуемых ею языках. По мнению К. В. Ломтатидзе, звонкий и придыхательный фарингальные звуки подверглись спирантизации и дали рефлексы: придыхательный $q \rightarrow x$ (бзыбское) $\rightarrow x$ (абжуйское), звонкий $q \rightarrow \gamma$ (геминированное (бзыбское) $\rightarrow \gamma$ (абжуйское)). Абруптив q дает варианты q (который в тапантамском диалекте получил статус фонемы) и долгий \bar{q} .

Как и в других родственных языках, система спирантов в абхазском и абазинском диалектах: она представлена звонким и придыхательным рядами. Однако исключения составляют губно-зубные спиранты: в абжуйском и апшарском диалектах их три — звонкий v , придыхательный f и абруптив f . Факт наличия здесь трех фонем, естественно, требует объяснения. В этой связи обращает на себя внимание степень функциональной нагрузки этих фонем в различных диалектах. Звонкая фонема v встречается в абжуйском, бзыбском и апшарском диалектах в слове *avara* «бок» и в производных от него словах; абруптивная фонема f — в абжуйском и апшарском диалектах в одном варианте одного лишь слова *ara* «тонкий» — *afa*. Использование придыхательной фонемы f сравнительно шире и встречается она во всех диалектах. Характерно, с одной стороны, также противопоставление тапантамского диалекта всем остальным по использованной тройке губно-зубных спирантов: в тех основах, в которых имеются согласные

v, f, f , в тапантамском диалекте свистящие аффрикаты z, c, c . По предположению К. В. Ломтатидзе, появление трех губно-зубных фонем в системе спирантов — явление позднее. Исходным для них были лабиализованные свистящие аффрикаты $*z^o, *c^o, *c^o$, которые, делабиализовавшись, в тапантамском диалекте дали рефлексы z, c, c , во всех остальных диалектах — v, f, f ; в первом случае сохранена основная артикуляция фонем, во втором — их лабиализованный элемент. Положение о том, что в основе этой тройки лежат троечные смычные, доказывается методом внутренней реконструкции (в абхазском языке сохранились слова, в которых представлены лабиализованные аффрикаты: *afallamac'az* «молния»). Факт образования f имеет принципиальное значение, — пишет К. В. Ломтатидзе, — для выяснения одного из вопросов фонологии, выясняется, что на основе спонтанного фонетического процесса возникла новая фонема (не просто фонетический вариант) и в то же время сохранилась исходная фонема» (стр. 180). Наличие придыхательной фонемы f во всех диалектах в словах с общим корнем и в абжуйском, бзыбском, апшарском диалектах в словах, в которых в тапантамском диалекте вместо f функционирует c^o , послужили основой для обоснования положения о гетерогенности происхождения придыхательного f : один f является принадлежностью тройки губно-зубных и восходит к лабиализованной придыхательной аффрикате c^o , другой f — более раннего происхождения, восходит к сложному лабиализованному звуку.

П. К. Услар, Н. Я. Марр, А. Н. Генко и др. отмечали интензивность и подвижность абхазско-абазинского ударения, а также его словоразличительную и форморазличительную функцию. К. В. Ломтатидзе в главе «Ударение» дает исчерпывающий анализ ударения, закономерностей его передвижения, устанавливает взаимозависимость характера ударения и структуры основы, фонетические процессы, обусловленные акцентуационными особенностями, что способствует реконструкции исходных форм. Акцентуационная модель слова тесно связана со слоговым строением морфемы. Место ударения определяется структурой корневой морфемы и ее окружением. Многоморфемность слова порождает разные типы передвижения ударения. Акцентный рисунок слова является также одной из основных причин процесса редукции: редуктируется оказавшийся вне ударной позиции гласный, но с последним нередко выпадает и согласный, образующий с ним один слог. Динамический и нефиксированный характер абхазско-абазинского ударения существенно изменил исходную структуру основы: из полногласной она превратилась в основу со стечением согласных, тем самым создаются и консонантные группы.

Анализ фонологической системы, выявление основных фонетических процессов и природы ударения, восстановление исходной структуры корневых и аффиксальных морфем дали возможность К. В. Ломтатидае установить причину появления звуковых комплексов — действие интенсивного нефиксированного ударения, которое разрушило полиогласный исход сложных основ. Однако действуют и другие тенденции, например, закон «двух согласных». Автор разграничивает звуковые комплексы на первичные и вторичные. Первичные комплексы в любых условиях остаются без изменения. К ним относятся сочетания, первый компонент которых представлен губно-губным звуком — *ps*, *pʒ*, *pʒʰ*, *px*, *ph*, *pɕ*, *bx*, *bɕ*... Сложнее оказалось восстановить исходную форму комплексов, первым компонентом которых является дентальный согласный. Эти комплексы оказались менее устойчивыми. Анализ консонантных групп заставляет пересмотреть этимологию многих слов, способствует улучшению методики выявления материальной общности в абхазско-адыгских языках.

Структура аффиксальных и корневых морфем на современном этапе развития абхазского и абазинского языков очень разнообразна. Корень, как и формант, может быть представлен одной фонемой — гласной или согласной, двумя — согласной, гласной и стечением фонем. Все современные типы стечения корневых и аффиксальных морфем автор возводит исторически к одной модели *CV*, где вокалический элемент (*a*) имеет фонетическое значение. В монографии высказывается точка зрения, согласно которой гласному *a* в корне или в форманте в прошлом предшествовал или согласный, или чаще полугласный *j*.

К. В. Ломтатидае исторически выделяет в глагольных основах ряд грамматических категорий, префиксы косвенного отношения, посессивности и т. д., которые в абхазском и абазинском претерпели значительные изменения, а в ряде случаев исчезли.

Несколько слов о материале исследования. Автор монографии с 1935 г. изучает абхазский и абазинский языки, их диалекты в разных аспектах — диахроническом и синхроническом, с охватом разных языковых уровней — фонетического, фонологического, грамматического и лексического. К. В. Ломтатидае учитывает точчайшие особенности не только территориальных диалектов, но и различных возрастных групп, что приобретает существенное значение для решения общих проблем социальной дифференциации языка². Диалектологический материал

(в том числе тексты произведений различных жанров устно-поэтического творчества и т. д.) имеет особую ценность, поскольку по прошествии нескольких десятков лет сохраняет многие языковые явления, утраченные уже современными диалектами.

Значительное по содержанию и богатое по материалу монографическое исследование К. В. Ломтатидае, естественно, не лишено (как, впрочем, и любой труд большого и обобщающего характера) некоторых спорных положений. Общеизвестно, что методика реконструкции является весьма существенной частью сравнительно-исторических исследований. Одной из главных целей (если не самой главной) реконструкции является выяснение как сложных процессов дивергенции и конвергенции тесетически родственных языков, так и архаических черт и новообразований при учете принципов относительной хронологии. Подобная реконструкция наиболее надежным образом обеспечивается при сочетании приемов внутренней и сравнительной реконструкции. Следует подчеркнуть, что К. В. Ломтатидае выдвигает целый ряд важных положений, основанных на убедительной реконструкции фонетических и фонологических явлений, что дает возможность объяснять последовательные трансформации фонологической системы абхазского и абазинского языков. Опираясь на данные исследуемых языков, сравнивая их различные фонетические и фонологические подсистемы, используя остаточные формы, архаизмы и тенденции развития, заложенные в общабхазско-адыгском состоянии, автор умело, с глубоким знанием материала применяет к данным языкам приемы внутренней реконструкции. Это позволяет проецировать в прошлое многие отличительные особенности фонетики и фонологии абхазского и абазинского языков. В монографии также используются данные сравнительной реконструкции, т. е. в целях восстановления исходных единиц привлекается материал других родственных языков. Однако более широкое привлечение данных сравнительной реконструкции, т. е. реконструкции с учетом фактов других западнокавказских языков, на наш взгляд, еще усилило бы эффективность и оперативность приемов внутренней реконструкции.

В отличие от некоторых исследователей, отрицающих существование гласных фонем в современных абхазско-адыгских языках³, К. В. Ломтатидае справедливо

тива, «Вопросы социальной лингвистики», Л., 1969.

³ На этой точке зрения особенно упорно продолжает настаивать голландский кавказовед А. Койперс. См.: A. Kuyper's, *Phoneme and Morpheme in Ka-*

² См., например: К. В. Л о м т а т и д а е, К вопросу о звуковых соответствиях в речи мельчайшего языкового коллек-

подчеркивает наличие противопоставления гласных и согласных фонем в абхазском и абазинском. В этой связи автор пишет: «В современных абхазско-абазинских языках существуют два основных гласных — краткий гласный *a* и еще более краткий, т. н. иррациональный гласный *ə* (вопреки утверждению о моновокализме этих языков)» (стр. 294). Однако К. В. Ломтатидзе считает, что исторически в абхазском и абазинском отсутствовало противопоставление гласных и согласных фонем. «Отдельно гласные (*a*, *ə*) не были носителями самостоятельной функции, ими сопровождалась согласная, следовательно, отдельно без огласовки и согласные не были носителями функции» (стр. 210). Иными словами, вместо согласных и гласных фонем для эпохи абхазско-абазинского праязыкового состояния постулируется наличие только слоговой фонемы (модель «согласный + гласный *a*»). Нельзя сказать, что точка зрения автора является неубедительной. Напротив, в пользу этого положения в монографии приводятся немало интересных фактов. Вместе с тем было бы преждевременным полагать, что этот вопрос является окончательно решенным. Следует заметить, что К. В. Ломтатидзе не навязывает свою точку зрения, не считает ее единственно возможной, а предлагает свое — причем оригинальное — решение вопроса. Более того, выводы, касающиеся истории вокализма, сформулированы ею очень осторожно, с учетом невыясненных проблем праязыкового состояния. Так, в отношении генезиса гласного *ə* К. В. Ломтатидзе отмечает, что, хотя во многих случаях удается установить происхождение этого гласного, «окончательное решение этого вопроса на уровне абхазско-абазинского единства все-таки затруднительно» (стр. 301).

Положение об отсутствии гласных фонем в эпоху абхазско-абазинского языкового единства, по мнению одного из авторов этих строк, наталкивается на некоторые трудности, связанные с дан-

ными сравнительной реконструкции⁴. Во всех современных западнокавказских языках (абхазском, абазинском, убыхском, адыгейском, кабардинском), в их общем материальном фонде, представлены основные гласные фонемы *a*, *ə*, причем последние без натяжек реконструируются как для абхазского (адыгейско-кабардинского), так и для праубыхского языка. Наличие гласных *a*, *ə* во всех современных западнокавказских языках и диалектах можно объяснить либо тем, что они, как уже отмечалось в литературе, унаследованы от эпохи их языкового единства⁵, либо параллельным развитием (возникновением) этих гласных во всех языках и диалектах данной языковой группы в поздний хронологический период, т. е. в эпоху их самостоятельного существования, что согласуется с мнением К. В. Ломтатидзе.

Не приходится отрицать, что надежность реконструкции определяется как объемом фактического материала, так и соблюдением правил процедуры самой реконструкции. В соответствии с этим реконструированные единицы различны по степени надежности и обоснованности. Какая из указанных двух гипотез является наиболее вероятной и надежной, покажет дальнейшее исследование западнокавказских языков. На данном же этапе изученности всей группы западнокавказских языков, не имеющих давних письменных традиций, по отдельным вопросам их исторического развития (в том числе и вокализма) представляется возможным существование разных точек зрения.

Еще одно пожелание: фонологическое рассмотрение материала целесообразно было бы дополнить анализом по дифференциальным признакам.

В целом монография К. В. Ломтатидзе заслуживает очень высокой оценки. Она является значительным вкладом в историко-сравнительное изучение западнокавказских (и не только западнокавказских) языков. С точки зрения материала, новизны решения и постановки вопросов рецензируемый труд бесспорно имеет широкий выход в общую типологию языков и социолингвистику, а также представляет несомненный интерес для теоретической фонологии.

Кумаков М. А., Чакава Л. П.

bardian (Eastern Adyge), 's-Gravenhage, 1960; его же, Unique Types and Typological Universals, «Pratidānam: Indian, Iranian and Indo-European Studies Presented to F. B. J. Kuiper», The Hague, 1968; его же, Typologically salient features of some North-West Caucasian languages, «Studia Caucasica», III, The Peter de Ridder Press, 1976.

⁴ М. А. Кумаков, указ. соч., стр. 64—65.

⁵ Там же.

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ
«ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ» В 1978 г.
(№№ 1—6)

СТАТЬИ

Белодед И. К.— Конституция СССР и язык (Социолингвистический аспект)	5
✓ Будагов Р. А.— Система и антисистема в науке о языке	4
Горшков А. И.— О предмете истории русского литературного языка	6
✓ Домашнев А. И.— О границах литературного и национального языка	2
Иванов В. В.— Русский язык в жизни народов и языков Советского Союза	3
Кумахова З. Ю., Кумахов М. А.— К проблеме классификации функциональных стилей в языках различных типов	1
Ширалиев М. Ш.— Процессы развития азербайджанского литературного языка на современном этапе	3

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

✓ Абаев В. И. Armeno-ossetica. Типологические встречи	6
Аманжолов А. С.— К генеалогии тюркских рун	2
Андреев Н. Д.— Рандиевропейские корни с велярными спирантами	5
Аниченко В. В.— Развитие белорусского литературного языка в XVIII в.	4
Ахманова О. С., Магидова И. М.— Прагматическая лингвистика, прагмалингвистика и лингвистическая прагматика	3
✓ Ахманова О. С., Авдукова А. М.— Объективность существования морфологических оппозиций	5
Ахунзянов Э. М.— О разграничении интерференции и трансференции в условиях языковых контактов	5
Баскаков Н. А.— Механизм агглютинации и процессы грамматикализации самостоятельных слов в тюркских языках	6
Брагина А. А.— Синонимы и их истолкование	6
Гельгардт Р. Р.— Теоретические принципы разработки исторического словаря русского языка	6
✓ Герценберг Л. Г.— Реконструкция индоевропейских слоговых акцентов	6
Горбачевич К. С.— Словарь и цитата	5
Григорьева А. Д.— К вопросу об анализе языка поэтического текста	3
Десницкая А. В.— О ранних балкано-восточнославянских лексических связях	2
Дубяго А. И.— Н. Г. Чернышевский и русский литературный язык	5
Еремина Л. И.— Графические средства в художественной системе Льва Толстого	5
Золотова Г. А.— К типологии простого предложения	3
Климов Г. А.— Общеиндоевропейский и картвельский	4
Курмацбаев Н. М.— К проблеме происхождения морфологических формантов	3
Лаптева О. А.— Современная русская публичная речь в свете теории стиля	1
✓ Лопатин В. В., Улуханов И. С.— Теория грамматики и практика грамматического описания	1
✓ Мурьянов М. Ф.— Время (понятие и слово)	2
Небиеридзе Г. С.— Трансформационная генеративная фонология и ее отношение к классическим фонологическим теориям	2
Палмайтис М. Л.— Праязык — генетическая или контактная общность?	1
Серкова Н. И.— Предпосылки членения текста на сверхфразовом уровне	3
Солнцев В. М.— Типология и тип языка	2
Сороколетов Ф. П.— Традиции русской советской лексикографии	3
Торопова Н. А.— К исследованию логических частей	5

Трубачев О. Н.— Этимологические исследования восточнославянских языков: словаря	3
Трубачев О. Н.— Из работы над русским Фасмером. К вопросам теории и практики перевода	6
Филин Ф. П.— О специальных теориях в языковедении	2
Холл Р. А. мл.— Критика теории Хомского	5
Шенфельд Г.— Некоторые аспекты и проблемы языковой коммуникации в сфере социалистического промышленного производства	4
Щербак А. М.— О способах и исторической глубине образования морфологических элементов в тюркских языках	4

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Авакесов Р. И.— О фонологическом статусе долгих согласных в белорусском языке	1
Алпатов В. М.— Об особенностях японской лингвистической традиции	4
Безбородько Н. И.— Ученая латынь на Украине	6
Борисова Е. Н.— О некоторых проблемах становления и развития словарного состава русского языка конца XVI—XVIII вв.	5
Веденина Л. Г.— Функциональное направление в современном зарубежном языковедении	6
Вейлерт А. А.— О некоторых факторах, определяющих частоту слова в тексте	2
Вертель В. А., Вертель Е. В., Рогожникова Р. П.— К вопросу об автоматизации лексикографических работ	2
Виноградова В. Л.— О методике лексикологического изучения текста «Слова о полку Игореве»	6
Вишнякова О. В.— О проблемах паронимии	4
Глonti А. А., Ошани А. Л., Сарджвеладзе З. А.— Вопросы изучения грузинской топонимии	2
Гринбаум Н. С.— Из истории формирования древнегреческого литературного языка	4
Задоянко Т. П.— Акустическая разномощность гласных звуков и проблема акцентного соотношения слогов по интенсивности	2
Комлев Н. Г.— О критериях правильности высказываний	1
Кузнецова О. Д.— О понятии лексикализации. Лексикализация фонетических явлений в говорах	2
Кузьмин В. В.— Проблема синтаксической соотносительности	4
Маковский М. М.— Текстология и лексико-семасиологические исследования	3
Меликишвили Д. Н.— К становлению грузинской философской терминологии	5
Мурьянов М. Ф.— К интерпретации старославянских цветообозначений	5
Нерознак В. П.— Словарь Гесихия как источник для изучения древних реликтовых индоевропейских языков	4
Никонов В. А.— Длина слова	6
Партенадзе М. X.— О природе слов с пометой «областное»	1
Паулини Э.— Дифференциальные признаки гласных словацкого языка	1
Паулини Э.— Модель языковой коммуникации и соотношение фонемы и звука	4
Санжеев Г. Д.— Об аллофонах долгих гласных фонем в монгольских языках	1
Смолицкая Г. П.— Топонимический ареал и вопросы реконструкции лексической системы языка	4
Тот И. X.— Кирилло-мефодиевские традиции в средневековой Венгрии	5
Филиппов А. В.— К проблеме лексической коннотации	1
Цыбин А. М.— К вопросу о классификации русских словарей	1
Шанидзе А. Г.— К этимологии слов <i>Kartli-t</i> («Грузия») и <i>kartvel-t</i> («грузины»)	4
Эдельман Д. И.— К теории языкового союза	3

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

Бондарко Л. В., Лилич Г. А., Николаева Т. М.— Чехословацкие языковеды о Л. В. Щербе	3
Земская Е. А., Кубрякова Е. С.— Проблемы словообразования на современном этапе (в связи с XII Международным конгрессом лингвистов).	6
Кодохов В. И.— Издание белорусских языковедов	4
Сквородников А. П.— О соотношении понятий «шарцелляция» и «присоединение»	1

Рецензии

Агеева Р. А. — «Ономастика»	1
Арзикулов Х. — Р. Г. Пиотровский. Текст, машина, человек	3
Бакару В. И., Чинчлей Г. С. — А. И. Чобану. Синтаксис полусвязочных глаголов в молдавском языке	2
Баскаков Н. А., Добродомов И. Г. — Е. Н. Шилова. Словарь тюркизмов в русском языке	1
Бибин М. Т., Надькин Д. Т. — А. П. Феокистов. Очерки по истории формирования мордовских письменнo-литературных языков	5
Брайт П., Цюллиг М. — Аннотированная библиография по славянской социолингвистике	5
Будагов Р. А. — Ф. де Соссюр. Труды по языкознанию	2
Верещагин Е. М. — «Methodiana»	2
Верещагин Е. М., Толстой Н. И. — Л. П. Жуковская. Текстология и язык древнейших славянских памятников	6
Граудина Л. К. — Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров. Язык и культура	2
Джудуков У. — Ж. Ш. — Г. Ц. Пюрбеев. Грамматика калмыцкого языка	3
Журавлев В. К. — Н. Birnbaum. Common Slavic	3
Исаев М. И. — Л. В. Никольский. Синхронная социолингвистика	2
Колесов В. В. — С. А. Высотский. Средневековые надписи Софии Киевской	1
Крюčkова Т. Б. — «Sprache und Ideologie»	3
Кумахов М. А., Чнадуа Л. П. — К. В. Ломташвзе. Историко-сравнительный анализ абхазского и абазинского языков. Фонологическая система и фонологические процессы	6
Лыткин В. И. — «Suomen kielen etymologinen Sanakirja»	3
Маковский М. М. — G. M. Piel, D. Kremer. Hispano-Gotisches Namenbuch	1
Маковский М. М. — Р. А. Будагов. Что такое развитие и совершенствование языка?	4
Максимов В. И. — «Словарь синонимов. Справочное пособие»	1
Мельничу А. С. — В. З. Панфилов. Философские проблемы языкознания	4
Мокленко В. М. — Р. Н. Попов. Фразеологизмы современного русского языка с архаичными значениями и формами слов	5
Морковкин В. В., Новиков Л. А. — Ю. Н. Караулов. Общая и русская идеография	5
Никольский Л. Б. — «Социально-лингвистические исследования»	3
Никольский Л. Б. — А. Д. Швейцер. Современная социолингвистика	5
Новикова К. А. — А. В. Романова, А. Н. Мыреева, П. П. Барашков. Взаимовлияние эвенкийского и якутского языков	1
Протченко И. Ф., Черемисина Н. В. — «Русский язык — язык межнационального общения и единения народов СССР»	4
Протченко И. Ф., Черемисина Н. В. — «Культура русской речи на Украине»	4
Русановский В. М. — «Русский язык — язык межнационального общения народов СССР»	1
Сажеев Г. Д. — Х. Лувсанбалдан. Тод усэг, тууний дурсгалууд	5
Скредина Л. М. — В. Ф. Шишмарев. Романские поселения на юге России	2
Татар В. — «Частотный словарь русского языка»	2
Тодаева В. Х., Пюрбеев Г. Ц. — «Калмыцко-русский словарь»	5
Туркин В. Н. — В. А. Ларин. Лекции по истории русского литературного языка	1
Чесноков П. В. — А. Л. Пумпянский. Информационная роль порядка слов в научной и технической литературе	3
Швейцер А. Д. — «Социальная и функциональная дифференциация литературных языков»	6
Шубик С. А. — «Satzstruktur und Genus verbi»	6

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Львов А. С. — Письмо в редакцию	3
Хроникальные заметки	2-6
<u>Б. Гавранек</u>	5
<u>Ю. Курялович</u>	5

CONTENTS

Articles: Gorškov A. I. (Moscow). On the subject-matter of the history of the Russian literary language; **Discussions:** Trubačev O. N. (Moscow). Notes on the Russian translation of M. Vasmer's «Russisches etymologisches Wörterbuch»; G el g a r d t R. R. (Kalinin). Theoretical principles of a historical dictionary of the Russian language; G e r c e n b e r g L. G. (Leningrad). Reconstruction of Indo-European syllabic accents; A b a e v V. I. (Moscow). Armeno-ossetica. Typological convergences; B a s k a k o v N. A. (Moscow). Mechanism of agglutination and the process of grammaticalisation of words in the Turkic languages; B r a g i n a A. A. (Moscow). Synonyms and their interpretation; **Materials and notices:** V e d e n i n a L. G. (Moscow). The functional school in modern linguistics abroad; B e z b o r o d k o N. I. (Vinnitsa). Scholastic Latin in the Ukraine; V i n o g r a d o v a V. L. (Moscow). On the method of lexicological study of the «Igor Tales»; N i k o n o v V. A. (Moscow). Word-length; **Reviews; Scientific life.**

SOMMAIRE

Articles: Gorškov A. I. (Moscou). Sur l'objet d'étude de l'histoire de la langue littéraire russe; **Discussions:** Trubačev O. N. (Moscou). Remarques sur la traduction russe de «Russisches etymologisches Wörterbuch» de M. Vasmer; G e l g a r d t R. R., (Kalinine). Principes théoriques d'un dictionnaire historique de la langue russe; G e r c e n b e r g (Léningrad). Reconstruction des accents syllabiques indo-européens; A b a e v V. I. (Moscou). Armeno-ossetica. Convergences typologiques; B a s k a k o v N. A. (Moscou). Mécanisme de l'agglutination et le procès de grammaticalisation des mots autonomes dans les langues turques; B r a g i n a A. A. (Moscou). Synonymes et leur interprétation; **Matériaux et notices:** V e d e n i n a L. G. (Moscou). L'école fonctionnelle dans la linguistique moderne étrangère; B e z b o r o d' k o N. I. (Vinnitsa). Le latin scholastique en Ukraine; V i n o g r a d o v a V. L. (Moscou). Sur une méthode d'étude lexicologique du «Conte d'Igor»; N i k o n o v V. A. (Moscou). Longueur du mot; **Comptes rendus; Vie scientifique.**

Технический редактор *Т. Н. Сенченко*

Сдано в набор 29.08.78. | Подписано к печати 1.10.78 г. Т-18846 | Формат бумаги 70x108¹/₄.
Высокая печать | Усл. печ. л. 12,6 | Уч.-изд. л. 4,5 | Бум. л. 4,5 | Тираж 7105 экз. | Зак. 863

Издательство «Наука». 103717 ГСП, Москва, К-62 Подосенский пер., 21.
2-я типография издательства «Наука», 121099, Москва, Шубинский пер., 10

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

1. Авторам публикуемых статей направляется копия наборного экземпляра, который является окончательным вариантом сдаваемого в набор материал; корректура авторам высылаться не будет.

2. Рукописи должны представляться в двух экземплярах; текст и подстрочные примечания обязательно должны быть напечатаны на машинке через два интервала. После подписи указываются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность, ученая степень, домашний адрес, телефон.

3. Объем статьи не должен превышать 24 стр., объем рецензии — 10 стр. машинописи.

4. Все цитаты и ссылки в статье должны быть тщательно выверены по первоисточникам.

5. При ссылках (в тексте и сносках) необходимо придерживаться порядка: автор, название книги или статья, название издания (для статьи), заключенное в кавычки, место издания, год издания, страницы. (Страницы, определяющие границы статьи в издании, указываются лишь в критико-библиографических обзорах).

6. Все примеры на иностранных языках должны быть снабжены переводами. Примеры в журнале принято давать курсивом (подчеркивать в рукописи волнистой чертой), а значения их в кавычках.

7. Все формулы и буквенные обозначения величин должны быть четко, выполнены чернилами (следует делать ясное различие между заглавными и строчными буквами).

8. Рисунки должны быть тщательно выполнены тушью: чертежи, сделанные карандашом, не принимаются. Не рекомендуется загромождать рисунок ненужными деталями, все надписи должны быть вынесены в подпись, а на рисунке заменены цифрами или буквами. На полях рукописи указывается место рисунка, а в тексте делается на него ссылка. Фотографии принимаются в двух экземплярах (второй для редакции и ретушера в качестве контрольного). При изготовлении клише величина оригинала уменьшается в два-три раза, поэтому фотографии должны быть четкими и контрастными. Фотографии, выполненные в малом размере и нечетко, не принимаются. На обороте каждого рисунка должны быть проставлены фамилия автора, заглавие статьи и номер рисунка. Статью не следует перегружать графическим материалом.

9. Непринятые рукописи, как правило, не возвращаются.

10. Статьи, опубликованные или направленные в редакции других журналов, не принимаются (за исключением раздела «По страницам зарубежных журналов»).

11. Хроникальные заметки должны представляться в редакцию в течение двух месяцев с момента описываемого события в лингвистической жизни. Объем хроникальной заметки — 3—5 стр.